



УИЛЬЯМ  
ФОЛКНЕР  
ПИЛОН  
РОМАН

ИКСОТ

# Уильям Фолкнер

## Пилон

*Scan&OCR Ustas, ReadCheck Marina\_Ch*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=155209](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=155209)*

*Фолкнер У., Пилон: Роман: Пер. с англ. Л.Мотылев: Текст; М.; 2002*

*ISBN 5-7516-0307-9*

### Аннотация

Одно из немногих произведений классика американской литературы, лауреата Нобелевской премии Уильяма Фолкнера (1897-1962), неизвестных до сих пор российскому читателю. «Пилон» был написан в 1935 году. Вместе с его героем, репортером местной газеты, писатель пытается понять, есть ли в современной ему действительности место таким старомодным понятиям, как любовь, преданность, честность.

# Содержание

АЭРОПОРТ. ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ	4
НЬЮ-ВАЛУА. ВЕЧЕР	46
НОЧЬ ВО ФРАНЦУЗСКОМ КВАРТАЛЕ	89
ЗАВТРА	131
И новое завтра	196
ПЕСНЬ ЛЮБВИ ДЖ. А. ПРУФРОКА[27]	280
МУСОРЩИКИ	338

# Уильям Фолкнер

## Пилон

### АЭРОПОРТ. ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ

Минуту, не меньше Джиггс простоял у витрины в отошало осевших, как отработанная пена, подвитринных наносах вчерашнего конфетти, легко утвердясь на носках своих заляпанных грязью теннисных туфель, глядя на сапоги. Безупречным и нерушимым воплощением лошади и шпоры, всадника в гордой позе, рекламирующего загородный клуб на журнальном снимке, покоились они в косых бликах отграничивающего стекла на деревянном пьедестале подле мольбертоподобной картонной афиши из тех, какими, наряду с пурпурно-золотыми бумажными гирляндами, затоптанным конфетти и рваным серпантинном, город разукрасился за одну ночь, – один и тот же шрифт, одни и те же фотографии подтянуто-зловредно-хрупких самолетов и облокотившихся на них в несоразмерно гигантской безотносительности летчиков, словно самолеты принадлежали к некоему виду эзотерических и губительных зверей и не были ни выдрессированы, ни приручены, а лишь на мгновение замерли над ак-

кратким лаконичным текстом: имя, фамилия, достижение – или, может быть, никакого достижения, просто надежда.

Он вошел в магазин, с глухим увесистым шуршанием чаша резиновыми подошвами сначала по тротуару, потом по железу порога, потом по кафельному полу этого музея стеклянных ящичков, освещенного некой неземной, дневного оттенка субстанцией, в которой шляпы, галстуки и рубашки, ременные пряжки, запонки и носовые платки, курительные трубки в форме клюшек для гольфа, питейные принадлежности в форме сапог и домашних птиц, побрякушки для ношения на галстуках и жилетных цепочках в форме лошадиных мундштуков и шпор напоминали биологические образцы, сразу – еще до первого вдоха – опущенные в девственно чистый формалин.

– Сапоги? – переспросил продавец. – Те, что на витрине?

– Да, – сказал Джиггс. – Сколько они?

Но продавец даже не пошевелился. Он стоял спиной к прилавку, прислонясь к нему поясницей и глядя сверху вниз на простецкое, крепкое, со скошенным подбородком, голубоватое от бритья, с длинной нитью едва переставшего кровоточить бритвенного пореза лицо, на котором сияли горячие карие вертучие глаза – глаза мальчугана, впервые в жизни увидевшего воздушные колеса, звезды и змей поздне-вечернего карнавала; на залихватски посаженную набекрень грязную кепку, на коренастое, непомерно мускулистое тело, напоминающее фотографию прошлогоднего или поза-

прошлогоднего чемпиона сухопутных или военно-морских сил в первом среднем весе; на дешевые бриджи, которые вообще-то должны сверху пузыриться, но на нем сидели в обтяжку, словно они, как и их обладатель, некоторое время назад безнадежно вымокли под сильным дождем; на короткие налитые быстрые, как у пони для поло, ноги, просунутые в отрезанные от всего остального сапожные голенища, которые снизу были упрятаны под подъемы теннисных туфель и держались на месте благодаря приклепанным штрипкам.

– Двадцать два пятьдесят, – сказал продавец.

– Годится. Я их беру. Когда вы вечером закрываетесь?

– В шесть.

– Черт. Я еще не вернусь из аэропорта. В городе буду в семь, раньше не получится. Вот тогда бы их и забрать.

Подошел еще один служащий магазина – дежурный администратор.

– То есть прямо сейчас они вам не нужны? – спросил продавец.

– Нет, – сказал Джиггс. – А вот в семь я бы их взял.

– О чем речь? – спросил администратор.

– Говорит, хочет купить сапоги. А из аэропорта сможет вернуться в семь, не раньше.

Администратор посмотрел на Джиггса.

– Летчик?

– Ага, – сказал Джиггс. – Слушайте, пусть он задержится. К семи я вернусь. Мне они понадобятся сегодня вечером.

Взгляд администратора спустился к ногам Джиггса.

– Может, стоило бы взять их сейчас?

На это Джиггс не ответил. Только сказал:

– Что ж, видно, придется обождать до завтра.

– Если не сможете вернуться до шести, – уточнил администратор.

– Ладно, – сказал Джиггс. – Так и быть, мистер. Сколько хотите задатка?

Теперь они посмотрели на него оба – на его лицо, в жаркие глаза, на всю его фигуру, красноречиво и отчетливо, как верительные грамоты, говорившую о беспечной и непоправимой несостоятельности.

– Чтобы вы их для меня попридержали. Ту пару, что на витрине.

Администратор перевел взгляд на продавца:

– Какой у него размер?

– Насчет этого не беспокойтесь, – сказал Джиггс. – Так сколько?

– Десять долларов, и мы оставим их для вас до завтра, – ответил администратор, опять посмотрев на Джиггса.

– Десять долларов? Шутите, мистер. Вы хотели сказать – десять процентов. Мне самолет продадут, если я десять процентов в задаток дам.

– Вы хотите заплатить десять процентов вперед?

– Да. Десять. Если успею из аэропорта – заберу их сегодня же.

– Это будет два двадцать пять, – сказал администратор.

Когда Джиггс засунул руку в карман бриджей, они смогли проследить, вплоть до суставов и ногтей, за ее движением вниз по всей длине кармана, словно это была не рука, а, скажем, будильник, заглываемый страусом в рисованном фильме. Рука выползла наружу в виде кулака и, разжавшись, явила смятый доллар и монеты разного калибра. Джиггс положил купюру в ладонь продавца и начал отсчитывать мелочь в ту же ладонь.

– Пятьдесят, – сказал он. – Семьдесят пять. Еще пятнадцать – всего девяносто, еще двадцать пять... – Он осекся и застыл, в левой руке держа монету в двадцать пять центов, а на правой ладони – полдоллара и четыре пятицентовика. – Дайте сообразить. Я дал девяносто, если двадцать пять еще – это будет...

– Два доллара десять центов, – сказал администратор. – Заберите у него десять центов и дайте ему двадцать пять.

– Два десять, – сказал Джиггс. – Может, сойдемся на этом?

– Сами же предложили десять процентов.

– Ничего поделать не могу. Ну что, два десять – и по рукам?

– Возьми у него, – сказал администратор. Продавец взял деньги и ушел. И опять администратор смог проследить за движением Джиггсовой ладони вдоль ноги – а потом даже увидел на дне кармана очертания двух монет, выступивших двумя грязноматерчатыми кругляками.



– Откуда у вас тут идет автобус в аэропорт? – спросил Джиггс. Администратор объяснил. Вернулся продавец, держа квиток с загадочными письменами, и теперь вновь они оба глянули в жаркое вопрошание Джиггсовых глаз.

– Придете – будут ваши, – сказал администратор.

– Ясно. Но заберите их с витрины.

– Хотите пощупать?

– Нет. Просто хочу увидеть, как их оттуда заберут.

Опять снаружи, за витринным стеклом, – под резиновыми подошвами невесомый разбрызг конфетти, более бесприютный, чем разбрызганная краска, потому что ни тяжести нет, ни маслянистой цепкости, чтобы удержаться хоть где-то, истончавшийся все то время, что Джиггс провел в магазине, убывавший частица за частицей в небытие, как пена, – стоял он, пока по ту сторону стекла не появилась рука и не взяла сапоги. Потом пошел дальше, частя коротконогой своей, с подскоком, странно негнущейся в коленях походкой. Свернув на Гранльё-стрит, посмотрел на уличные часы – впрочем, он и так уже спешил или, скорее, просто равномерно перемещался на быстрых твердых ногах, как механическая игрушка, имеющая только одну скорость, – и заметил время, хотя часы были на теневой стороне улицы и весь солнечный свет, какой там имелся, по-прежнему висел высоко, мягко преломляясь и увязая в густом, тяжелом, насыщенном испарениями болот и речных рукавов воздухе. Здесь тоже было вдоволь и конфетти, и рваного серпантина – вдоль стен,

аккуратными наметенными ветром валиками, повторявшими углы, и по краям сточных желобов, в слегка вулканизированном виде из-за рассветных извержений пожарных гидрантов; подхваченная наверху и пришпиленная шифрованно-символическими значками к дверям и фонарным столбам, пурпурно-золотая гирлянда змеилась над ним, пока он шел, не обрываясь, наподобие трамвайного провода. Наконец она повернула под прямым углом, чтобы пересечь улицу – точнее, встретиться посреди улицы с другой такой же гирляндой, идущей по противоположной стороне и тоже повернувшей под прямым углом к середине, образовав вместе с первой некий воздушный и дырявый, все тех же королевских цветов звериный парашют, подвешенный над землей на высоте второго этажа; к нему, в свою очередь, было подвешено глядящее наружу тканево-буквенное запрещение, которое Джиггс, чуть замедлив шаг и обернувшись, прочел на ходу:

«Гранльё-стрит ЗАКРЫТА для транспорта с 8 вечера до полуночи».

Теперь он уже видел у тротуара на остановке – там, куда ему было сказано идти, – автобус с прикрепленным всеми четырьмя углами к его широкому гузну полотнищем, чтобы полоскалось и хлопало во время езды, и рядом на тротуаре – деревянный двусторонний рекламный щит:

«Блюхаунд» в аэропорт Фейнмана – 75 центов».

Стоявший у открытой двери водитель, в свой черед, проводил взглядом костяшки Джиггсовых пальцев, проделавших путь вниз по карману.

– В аэропорт? – спросил Джиггс.

– Да, – сказал водитель. – Билет есть?

– Я плачу семьдесят пять центов. Что еще надо?

– Билет в аэропорт. Или рабочее удостоверение. Пассажиры ходят с двенадцати дня.

Джиггс посмотрел на водителя все с тем же жарким доброжелательным вопрошанием – а сам тем временем вытаскивал руку из кармана, придерживая бриджи другой рукой.

– Работаешь там? – спросил водитель.

– А как же, – сказал Джиггс. – Конечно. Я механик у Роджера Шумана. Лицензию показать?

– Да не надо. Залезай давай.

На водительском сиденье лежала сложенная газета – цветная бумага, один из тех розовых или зеленых экстренных выпусков, чья первая страница всегда полна картинок и густо, щедро, черно нашлепанных заголовков с восклицательными знаками. Джиггс замешкался, наклонился, обернулся.

– Можно, друг, на газету твою взглянуть? – спросил он. Но водитель не ответил. Джиггс взял газету, сел на ближайшее сиденье, вытащил из кармана рубашки сплюснутую си-

гаретную пачку, поставил ее на ладонь стоямя, вытряс из нее два окурка, положил тот, что подлиннее, обратно в измятую пачку и вновь засунул ее в карман. Потом зажег короткий, отодвинув его губами подальше от лица и наклонив голову набок, чтобы не подпалить пламенем спички нос. В автобус вошли еще трое мужчин – двое в комбинезонах и один в фуражке, похожей на фуражку носильщика, обтянутой полосатой пурпурнозолотой тканью или попросту из нее сшитой. Потом вошел водитель и сел на свое сиденье боком.

– Твоя машина сегодня участвует? – спросил он.

– Да, – сказал Джиггс. – В классе триста семьдесят пять кубических дюймов.

– Ну и как? Думаешь, есть шанс?

– Был бы, если бы нам позволили с двухсоткубовыми, – сказал Джиггс. Он трижды быстро затянулся, словно тыкал палкой в змею, и выкинул окурочек в еще не закрытую дверь, как будто это и вправду была змея или в лучшем случае паук; потом развернул газету. – Машина – старье. Два года назад еще быстрая считалась машина, но то было два года назад. Вот если бы, как нашу сделали, с тех пор перестали делать новые – все было бы в ажуре. Кроме Шумана, никто даже допуска не смог бы на ней получить.

– Шуман классный пилот, да?

– Они все классные, – ответил Джиггс, глядя в газету. На бледно-зеленой поверхности – тяжелым черным стакакто: *«Экстренный выпуск. Торжественное открытие аэро-*

порта». В самом центре полосы фотография: пухлое, вкрадчивое, невинно-чувственное лицо левантинца под сидящей чуть набок шляпой, мягкое толстое туловище в туго прилегающем, застегнутом на все пуговицы светло-сером двубортном костюме с гвоздикой в петлице; снимок оправлен на манер медальона символическим венком со вплетенными в него изображениями крыльев и пропеллеров, обрамляющим еще и некое воспроизведенное пером подобие герба, чей отлитый в металле рельефный оригинал явно был где-то вывешен, с надписью готическим шрифтом:

АВИАТОРАМ АМЕРИКИ  
АЭРОПОРТ ФЕЙНМАНА  
НЬЮ-ВАЛУА, ШТАТ ФРАНСИАНА  
НАЗВАН В ЧЕСТЬ  
ПОЛКОВНИКА Х. А. ФЕЙНМАНА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПО КАНАЛИАЦИИ,  
человека, чьей безошибочной прозорливости, чьим  
неослабным усилиям обязан своим существованием  
этот сотворенный из бесплодности и запустения,  
отвоєванный у озера Рамбо аэропорт стоимостью в  
миллион долларов<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Фолкнер использовал в романе многие приметы Нового Орлеана, находящегося в штате Луизиана. В частности, Гранльё-стрит – это Канал-стрит. В феврале 1934 г., в дни масленичного карнавала, в Новом Орлеане состоялось торжественное открытие городского аэропорта, названного в честь полковника Шушана и построенного на насыпном грунте у озера Понтчартрейн. Открытие сопровождалось воздушным праздником. (*Здесь и далее прим. перев.*)

– Фейнман, значит, – сказал Джиггс. – Похоже, большой сукин сын.

– Сукин сын – это да, – сказал водитель. – И что большой, тоже, пожалуй, верно.

– Кто он там ни есть, ничего аэропорт он вам отгрохал, – сказал Джиггс.

– Отгрохал, – сказал водитель. – Кто-то отгрохал.

– Да, – сказал Джиггс. – Он, кто же еще. Там, я замечаю, на каждом шагу его фамилия.

– На каждом, – подтвердил водитель. – На обоих ангарах электрическими лампочками, на полу и на потолке зала, по четыре раза на всех фонарных столбах, и еще мне что один из тамошних сказал: маяк там тоже его фамилию высвечивает, но проверять я не проверял – азбуки Морзе не знаю.

– Дела, – сказал Джиггс.

Вдруг подвалила изрядная толпа мужчин, все либо в комбинезонах, либо в пурпурно-золотых фуражках, и люди дружно полезли в автобус, так что какое-то время происходящее напоминало комедию, когда целая армия погружается в одно такси и уезжает. Но места хватило для всех, и потом дверь захлопнулась, автобус тронулся и Джиггс, откинувшись на спинку сиденья, стал смотреть в окно. Автобус мигом свернул с Гранльё-стрит, и Джиггс теперь видел себя самого, летящего и ныряющего среди железных балконов, мимолетом заглядывающего в грязные мощеные дво-

ры при жутком грохоте автобуса, который мчался, казалось, с невероятной скоростью по булыжным улицам, выглядевшим узкими для такой машины, между низкими кирпичными стенами, словно бы источавшими плотный, тягучий, перенасыщенный запах рыбы, кофе и сахара, к которому приешивался еще и другой, глубокий, слабый и отчетливый, как от затхло́й священнической сутаны, – некий миазматический спартанский дух средневековых монастырей.

Потом, вырвавшись из всего этого, автобус поехал еще скорей – теперь длинной аллеей между рощами бородатых виргинских дубов, обрамленными рядами пальм. И вдруг Джигтс увидел, что дубы стоят не на земле, а в воде, такой неподвижной и густой, что в ней ничего не отражалось и казалось, будто ее налили под стволами, как цементный раствор, и дали схватиться. Внезапно по краю дороги замелькали хлипкие домишки, передом опирающиеся на ракушечный грунт дорожного полотна, а задом – на сваи, к которым были привязаны лодки и промеж которых сушились рыболовные сети, а крыты они были, как он успел увидеть, той самой дымного цвета порослью, что свисала с деревьев, но они уже промахнули все это и опять неслись под сводами дубовых веток, с которых мох свисал вертикально и безветренно, как бороды стариков, греющихся на солнышке.

– Ничего себе, – сказал Джигтс. – Здесь без лодки и по нужде не сходить.

– В первый раз в наших краях? – спросил водитель. – Сам-

то откуда?

– Да отовсюду, – ответил Джиггс. – Сейчас вот Канзас по мне плачет.

– Семья там?

– Семья. Двое детишек, а их мамаша мне жена пока еще, надо думать.

– А ты, значит, в бегах.

– Ага. Надо же, значить ничего, считай, не смог, туфли починить и то не хватило. А попробуй значь: где какая работа – я еще сказать не успел, что кончил, а она или шериф уже хозяина нашли и денежки утащили; бывало, прыгаешь с парашютом, так он не раскрылся еще, а она либо он уже бежит в город с монетой.

– Дела, – сказал водитель.

– Это точно, – сказал Джиггс, глядя в окно на несущиеся вспять деревья. – Этому Фейнману еще бы маленько здесь потратиться на лесную стрижку.

Автобус вместе с дорожным полотном без подъема выскочил из болота – никаким всхолмлением тут и не пахло; теперь он ехал по плоской равнине, поросшей зубчатой осокой и утыканной пнями от кипарисов и дубов, – по крапчатому запустению некоей жуткой, без всякой видимой пока что цели отвоєванной у озера земли, по которой ракушечная дорога бежала белесой обесцвеченной лентой к чему-то невысокому и неживому впереди – к чему-то невысокому и искусственному, чья химеричность не сразу позволя-



ла догадаться, что это строение, возведенное людьми, и возведенное не бесцельно. Густой влажный воздух теперь наполнился запахом еще более густым и влажным, хотя воды еще не было видно; была только эта мягко-бледно-отчетливая химера, над которой на фоне некой более дальней дремотной безбрежности – скорее всего, водной, говорил ум – реяли остроконечные флажки, на взгляд отделенная от плоской земли некой миражной чертой, так что, теперь уже оформившаяся как двукрылое здание, она, казалось, легко парила в воздухе, как те сказочные города с башенками и зубчатыми стенами в цветных воскресных приложениях, где в сводчатых чертогах, лишенных порогов и полов, люди с желтой и голубой плотью ходят туда-сюда во множестве, в бесцельности и в невесомости. Автобус повернул, и взору во всю длину явилось невысокое раскидистое главное здание с двумя крыльями ангаров, модернистское, с зубчатыми орнаментами, с фасадом слегка мавританским или калифорнийским по стилю, поверх которого развевались на ветру, дувшем точно уже с воды, пурпурно-золотые флажки, придавая строению некое воздушно-водное качество, делая его гигантским вокзалом для неких еще невиданных завтрашних машин, которым что воздух, что земля, что вода – все будет едино. В окно автобуса была видна площадь перед фасадом, засаженная неправдоподобно красивой травой и расчерченная бетонными подъездными дорожками, в рисунке которых Джиггс лишь два-три дня спустя распознает миниатюрную

копию рисунка бетонных взлетно-посадочных полос летного поля, образывавших математическую монограмму из двух заглавных «F», которые располагались точно по сторонам света, взятым по компасу. Въехав на одну из этих миниатюрных «F», автобус затормозил между бескровными виноградинами фонарных шаров на бронзовых столбах; выйдя, Джиггс приостановился взглянуть на четыре «F», вделанные в основание столба по четырем сторонам, и пошел дальше.

Обойдя главное здание, он двинулся узким канавообразным проходом, кончавшимся слепой дверью без ручки; он толкнул ее, приложив среди разнообразных масляных отпечатков и свою руку, и оказался в узком помещении, отгороженном стеллажами с аккуратно рассортированными и пронумерованными инструментами от негромкого и глубокого, как под сводами пещеры, гула. Здесь были еще умывальная раковина и ряд крючков, на которых висела одежда – обычные рубашки и пиджаки, пара брюк с болтающимися подтяжками и рабочие комбинезоны с пятнами машинного масла; в один из них Джиггс, сняв его с крючка, шагнул и облачился весь единым легким движением, уже направляясь к следующей двери, сделанной главным образом из провололочной сетки, сквозь которую он уже видел стеклянно-стальной грот ангара и стоящие там гоночные самолеты. С осиными талиями, по-осиному легкие, спокойные, аккуратные, зловредные, маленькие и неподвижные, они, казалось, парили, лишённые всякого веса, словно были склеены из бума-

ги с единственной целью – покоиться на плечах у одетых в комбинезоны людей вокруг них. В фильтрованно-стальном свете ангара, умерявшем мягко-яркие тона их краски, окруженные механиками, чьи манипуляции носили столь технически частный и тонкий характер, что для непосвященных были незаметны, они все, казалось, пребывали в непорухенной целостности – все, кроме одного. Со снятым капотом, являя взгляду худощавое свое нутро коленчатой хрупкостью идущих поверху и понизу шатунов и клапанных коромысел, самой своей утонченной множественностью говоривших о невесомой и ужасающей скорости, любая мгновенная запинка в которой равнозначна непоправимому переходу движения в простую материю, он производил впечатление более глубокой заброшенности, чем полуобглоданный остов оленя в глухом лесу.

Джиггс помедлил, все еще застегивая горло комбинезона и глядя через ангар на тех троих, что занимались этой машиной; двое были одного роста, третий повыше и все в одинаковых комбинезонах, – правда, из менее рослой пары одна голова была увенчана свирепым ворохом волос цвета кукурузной муки, которые даже с такого расстояния нельзя было принять за мужские. Джиггс подошел не сразу; все еще возясь с пуговицами, поглядел по сторонам и наконец увидел у другого самолета маленького светловолосого мальчика в мешковатом комбинезоне защитного цвета, повторявшем одежду взрослых в миниатюре, вплоть до масляных пя-

тен. «Надо же, – подумал Джиггс. – Замаслил уже. Лаверна шкуру с него спустит». Он приблизился на коротких своих подскакивающих ногах; еще издали ему был слышен голос мальчика – громкий, самонадеянный, далеко разносящийся голос не привыкшего скромничать неслуха со среднезападным выговором. Джиггс подошел и взъерошил волосы мальчика задубелой, тупой, темноватой от вьевшегося масла ладонью.

– Не надо, – сказал мальчик. Потом поинтересовался: – Где ты пропадал? Лаверна и Роджер... – Джиггс взъерошил ему волосы еще раз и присел на корточки, подняв кулаки к лицу и втянув голову в плечи в шутовской пантомиме. Но мальчик посмотрел на него, и только. – Лаверна и Роджер... – повторил он.

– Кто твой папаша сегодня, дитяtko? – спросил Джиггс. И тут мальчик зашевелился. Сохраняя абсолютно то же выражение лица, он пригнул голову, бросился на Джиггса и стал дубасить его кулаками. Джиггс мотал головой и делал нырки, принимая удары и уклоняясь от них, а мальчик лупил и лупил его с тщедушной и смертельной целеустремленностью; уже все повернулись и уставились на них, опустив руки с гачными ключами и деталями моторов. – Кто твой папаша, а? – повторил Джиггс, руками удерживая мальчика на расстоянии, потом поднял его в воздух и подержал на весу подальше от себя, а он по-прежнему молотил кулаками, метя в голову Джиггса все с той же мрачной и тщедушной целеустремлен-

ностью. – Хватит, хорош! – крикнул Джиггс.

Он поставил мальчика, продолжая удерживать его на расстоянии, нырять и уклоняться, но уже вслепую, потому что кепка съехала ему на глаза и легкие твердые маленькие кулачки теперь барабанили по кепке.

– Хорош! Хорош! – крикнул Джиггс. – Сдаюсь! Беру слова назад! – Он отступил и поднял с глаз кепку, и тут ему стало ясно, почему мальчик перестал: и он, и все взрослые с пришедшими в неподвижность инструментами, с контровочной проволокой и частями моторов в руках теперь смотрели на нечто, явно выползшее из какого-то медицинского логова и, как есть, в казенной одежде усыпленного эфиrom пациента из благотворительной палаты, проникшее в мир живых людей. Джиггс увидел существо, в котором, стой оно прямо, росту было бы шесть футов с лишним при весе всего около девяноста пяти фунтов, одетое в лишенный возраста и цвета, словно бы сотканный из воздуха и лишь пропитанный, как полотняное крыло самолета аэролаком, отверделыми выделениями, образовавшимися от соприкосновения жизни с мимо несущейся землей, костюм, который невесомо и беспрепятственно, как воздушный шар, колыхался вокруг скелетоподобного каркаса, словно костюм и его хозяин раскачивались на одной бельевой веревке; существо шарнирно-разболтанное, неумное, натягивающее поводок, как незрелый породистый сеттер, теперь присевшее перед мальчиком на корточки и тоже поднявшее кулаки к лицу с видом куда

более шутовским, чем у Джиггса, потому что в данном случае шутовство явно было непреднамеренным.

– Ну, давай, Демпси<sup>2</sup>, – сказал пришедший. – Кто – кого, ставка – порция мороженого. Ну?

Мальчик не двигался. Ему было не больше шести, но он смотрел на выросшее перед ним привидение с изумленной молчаливой неподвижностью взрослого.

– Ну так как? – спросил мужчина. Но мальчик по-прежнему не шевелился.

– Спроси, кто его папаша, – посоветовал Джиггс. Пришедший перевел на него взгляд.

– В смысле, где его папаша? – переспросил он.

– Нет. Кто его папаша.

Теперь уже привидение смотрело с некой потрясенной неподвижностью – смотрело на Джиггса. «Кто его папаша?» – повторил пришедший. Он все еще смотрел на Джиггса, когда мальчик кинулся на него и стал, как Джиггса, лупить его кулачками с выражением угрюмой, трезвой готовности убить на маленьком личике. Избываемый продолжал смотреть на Джиггса, не вставая с корточек, и Джиггсу, как и остальным, слышалось, что кулачки мальчика выстукивают негромкую барабанную дробь словно бы по дереву, как будто и костюм, и кожа этого человека просто висели на спинке стула; а он все смотрел на Джиггса, делая нырки,

---

<sup>2</sup> Джек Демпси (1895-1983) – знаменитый американский профессиональный боксер, чемпион мира в тяжелом весе в 1919-1926 гг.

уклоняясь вправо-влево и оберегая лицо, но при этом не спускал с Джиггса глаз, уставясь на него изумленным взглядом черепа и все повторяя: «Кто его папаша? *Кто его папаша?*»

Когда Джиггс наконец добрался до самолета со снятым капотом, двое мужчин уже отсоединили и вытащили нагнетатель.

– Где тебя носило? Прабабушку, что ли, хоронил? – спросил тот, что повыше.

– С Джеком играл, – сказал Джиггс. – Ты меня не увидел, потому что по сторонам не глядел, а не глядел потому, что здесь женщины ни одной нет.

– Ни одной? – спросил тот.

– Ага, – сказал Джиггс. – Где серповидный ключ, который мы в Канзас-сити купили?

Ключ был в руке у женщины; она дала его Джиггсу и провела по лбу тыльной стороной ладони, оставив полосу машинного масла, косо уходящую под бледные жесткие волосы цвета грубой кукурузной муки, цвета айовских початков. Он сразу ушел в работу, хоть и оглянулся чуть погодя и увидел мальчика теперь уже на плечах у привидения, увидел склонившимся над головами и промасленными спинами тех, кто опять вовсю колдовал над другим самолетом, а когда они с Шуманом вновь подсоединили нагнетатель к мотору, он опять оглянулся и увидел, как тот мужчина, по-прежнему держа мальчика на плечах, выходит из ворот ангара к бетонированной площадке. Потом они поставили на место капот,

Шуман повернул пропеллер горизонтально, и Джиггс легко поднял хвост самолета, сразу поворачивая машину так, чтобы она прошла в ворота, а женщина, отступив, чтобы они не задели ее крылом, сама теперь окинула взглядом ангар.

– Куда Джек подевался? – спросила она.

– На предангарную пошел, – сказал Джиггс. – С тем типом.

– С каким типом?

– С длинным. Говорит, репортер. А посмотришь на него, кажется, что он с кладбища ночью встал и пошел гулять, да так загулялся, что не успел утром до закрытия ворот.

Самолет миновал ее, вновь поворачиваясь и выезжая на неяркое солнце, – высоко задранный и невесомый на вид хвост лежал на плече у Джиггса, его короткие ноги внизу двигались тугими плотными поршневыми толчками, Шуман и тот, что повыше, вели крылья.

– Подождите, – сказала женщина. Но ждать они не стали, поэтому она нагнала и обошла движущуюся хвостовую часть, затем, запустив руку в открытый люк кабины, достала оттуда сверток, туго замотанный в черный свитер, и отошла в сторону. Самолет двигался дальше; служители в пурпурно-золотых фуражках уже опускали канат, ограждавший предангарную площадку; заиграл оркестр, слышимый дважды: во-первых – слабым, легоньким, почти воздушным *там-там-там* самих духовых инструментов, блестящих растрабами на солнце на возвышении перед секцией



зрительской трибуны с нумерованными местами, во-вторых – громким, резким, развоплощенным, металлическим наяриванием репродуктора, вещавшего в сторону заграждения. Она повернулась и вновь вошла в ангар, посторонившись, чтобы пропустить следующий самолет с командой; одного из мужчин она спросила:

– Этот, с кем Джек вышел, кто он такой – не знаешь, Арт?

– Скелет, что ли? – отозвался мужчина. – Они пошли покупать мороженое. Назвался репортером.

Она пересекла ангар и, открыв проволочную дверь, вошла в инструментальную, где на крючках висели пиджаки и рубашки, а теперь еще и жесткий льняной воротничок и галстук, какие можно видеть на крючке в парикмахерской, когда там бреют проповедника, и которые, она поняла, принадлежали похожему на разъездного священника человеку в стальных очках, два месяца назад выигравшему в Майами гонку на кубок Грейвза. Как и на второй двери, в которую вошел Джиггс, совершенно слепой и пустой, если не считать масляных отпечатков рук, на проволочной не было ни крючка, ни задвижки. Меньше секунды она стояла в неподвижности, глядя на вторую дверь, лишь ладонью быстро, поглаживающе провела по косяку там, где обычно бывает крючок или задвижка. Пауза длилась секунду, даже меньше; потом, перейдя в угол, где были раковина с подтеками машинного масла, с запекшимся подобием лавы и металлический ящик для бумажных полотенец, она аккуратно положи-

ла сверток на пол к стене, где было почище, выпрямилась и опять посмотрела на дверь, приостановившись меньше чем на секунду, — женщина не высокая и не тоненькая, выглядевшая в замасленном комбинезоне почти как мужчина, с бледными жесткими грубыми разлохматившимися волосами, более темными, а не более светлыми там, где на них чаще падало солнце, с крупным подбородком и загорелым лицом, в котором глаза казались фарфоровыми округлыми вставками. Остановки, можно считать, и не было вовсе; она закатала рукава, потрясла руками, чтобы складки стали свободнее и шире, расстегнула комбинезон на шее и повела плечами, чтобы он на них тоже висел свободнее, как вокруг рук, с очевидной целью — сделать так, чтобы как можно меньше пришлось касаться грязной ткани. Потом она потерла лицо, шею и руки ниже локтей грубым мылом, ополоснула их водой и вытерла, а после этого, наклонившись и держа руки на порядочном расстоянии от комбинезона, развернула на полу скатанный свитер. Внутри лежали расческа, дешевый косметический набор в металлическом футляре и чулки, завернутые, в свою очередь, в чистую белую мужскую рубашку и поношенную шерстяную юбку. Она причесалась перед зеркальцем косметического набора и еще раз наклонилась к раковине смыть со лба масляную полосу. Затем расстегнула рубашку, расправила юбку, расстелила на раковине бумажные полотенца, положила на них одежду открытой стороной вверх и к себе и, держа борта расстегнутого спереди комби-

незона между двумя другими бумажными полотенцами, помедлила и опять посмотрела на дверь – взглядом, спокойным и холодным, в котором не было ни колебания, ни беспокойства, ни сожаления, в то время как слабые звуки оркестра доносились даже сюда приглушенными толчками и возгласами труб. Потом, став к двери чуть больше спиной, она взяла юбку и тем же движением высвободилась из комбинезона, после чего на мгновение осталась только в коричневых туфлях на низком каблуке, купленных давно и задешево, и тонких мужских хлопчатобумажных трусах.

Бухнула первая стартовая бомба – глухо-отрывистый хлопок, а за ним негромкое зловредное эхо, словно один взрыв породил в пустом теперь ангаре и в круглом зале другой, меньший. Единичный отзвук в стальном купольном вакууме раздробился под сводчатым потолком на множество верхних и вездесущих, подобных неземным крылатым существам пока еще невиданного завтра, механическим, а не костно-кровоаво-мясным, сообщающимся между собой зловредными пронзительными восклицаниями, словно стоваривающимися о нападении на что-то внизу. В круглом зале тоже был установлен репродуктор, и благодаря ему в конце каждого витка гонки шум от самолетов, огибающих пилон<sup>3</sup> на поле аэродрома, наполнял и круглый зал, и ресторан, где женщина и репортер сидели, дожидаясь, пока мальчик доест

---

<sup>3</sup> Здесь пилонами называются вышки, которые служат концами отрезка воздушной гонки.

вторую порцию мороженого. Поверх шороха шагов толпящихся, толкущихся, просачивающихся через ворота людей репродуктор наполнял круглый зал и ресторан низким, резким, развоплощенно-мужским голосом комментатора. Рык и рев самолетов, приближающихся, набирающих на подходе высоту, закладывающих вираж и вновь удаляющихся, накачивал в конце каждого витка, а затем утихал, вновь делая слышимыми стук каблуков по кафельному полу, шарканье подошв и голос комментатора, гулкий и звучный в этой перевернутой раковине из стекла и металла, – голос, чьего беспрерывного вещания о ходе событий не слушал, казалось, никто, как будто он был просто неким неизбежным и необъяснимым явлением природы, подобным ветру или эрозии. Потом снова вступал оркестр, хотя оттеснявший и подминавший его звуки комментаторский голос делал их слабыми и пустячными, словно голос и вправду был явлением природы, сдувавшим и сметавшим, точно листья, все шумы, чьим источником был человек. Потом опять бомба – несильное неистовое бах-бах-бах – и звук моторов, такой же пустячный и бессмысленный, как музыка оркестра, как будто и они, и оркестр были всего лишь несущественным подспорьем, которое голос использовал ради вящего эффекта, как фокусник использует платок или волшебную палочку:

– ...завершился второй номер программы – гонка в классе двести кубических дюймов, точное время победителя я сообщу вам, как только поступят сведения от судей. Пока

мы ждем этих сведений, я кратко пройдуся по программе второй половины дня ради тех, кто опоздал к началу или забыл приобрести программку, которую, кстати, можно купить за двадцать пять центов у любого из служащих в пурпурно-золотых праздничных фуражках, надетых по случаю Марди-Гра...<sup>4</sup>

– У меня она есть, – сказал репортер. Программку, наряду с большим количеством чистой желтоватой бумаги и сложенной утренней газетой, он извлек из необъятного кармана своего древнего пиджака; брошюрку явно уже открывали и складывали по-всякому, наружу смотрел бледно отпечатанный на мимеографе текст:

Четверг (День торжественного открытия)

14.30 Прыжок с парашютом на точность приземления. Призовая сумма – 25 долл.

15.00 200 куб. дюймов. Гонка. Квалификационная скорость – 100 миль в час. Призовая сумма – 150 долл.: (1) 45%, (2) 30%, (3) 15%, (4) 10%.

15.30 Воздушная акробатика. Жюль Деппен (Франция), лейтенант Фрэнк Горем (США).

16.30 375 куб. дюймов. Скоростная гонка. Квалификационная скорость – 160 миль в час. Призовая сумма – 325 долл.: (1) 45%, (2) 30%, (3) 15%, (4) 10%.

---

<sup>4</sup> Марди-Гра (вторник на неделе перед Великим постом, от французского Mardi Gras) – народный праздник с карнавалом, шумно отмечаемый в Новом Орлеане.

17.00 Затяжной прыжок с парашютом.

20.00 Специальный вечерний праздничный номер.

Самолет-ракета. Лейтенант Фрэнк Горем.

– Возьмите, – сказал репортер. – Мне она не нужна.

– Спасибо, – сказала женщина. – Не надо, я и так знаю, что когда. – Она посмотрела на мальчика. – Кончай давай. Много съел, сейчас давиться начнешь.

Репортер, в трупобразности своей по-прежнему неумный и натягивающий поводок, тоже повернулся к мальчику, подавшись вперед на хрупком стуле в позе инертной и вместе с тем сомнительной и легковесной, словно бы намекающей на возможность мгновенного, неистового и безвозвратного отлета, – ни дать ни взять воронье пугало в зимнем поле.

– Кроме как угостить, я ничего для него не могу, – сказал он. – Идти с ним смотреть воздушные гонки – все равно что вести жеребчика на прогулку в Вашингтон-парк. Вы сами из Айовы, Шуман родился в Огайо, а он родился в Калифорнии и четыре раза уже пересек Соединенные Штаты с Канадой и Мексикой в придачу. Бог ты мой, это ему меня водить и все мне показывать.

Но женщина смотрела на мальчика; казалось, она не слушала вовсе.

– Закопался, – сказала она. – Доедай или оставляй.

– А заедим конфетиной, – сказал репортер. – Будешь, Демпси?

– Не надо, – сказала женщина. – Хватит ему уже.

– Но можно же взять про запас, – сказал репортер.

Теперь она посмотрела на него: бледный взгляд без любопытства, совершенно серьезный, совершенно пустой, в то время как он, сухой и порывистый, шарнирно-невесомо-внезапный и длинный как жердина, в древнем своем костюме, колышущемся даже в здешнем кондиционированном безветрии на манер воздушного шарика, встал и направился к кондитерскому прилавку. Поверх топота и шарканья по полу вестибюля, поверх стука ножей и вилок по ресторанной посуде усиленный репродуктором голос непрерывно вещал, нутряной и самодвижущийся, словно он был голосом самого этого хромированно-стального мавзолея, говоря о существах, наделенных даром движения, но лишенных жизни и непостижимых для хилого, еле ползущего, опутиненного болью земного шарика, неспособных к страданию, выношенных и рожденных разом и в окончательном виде, во всей их хитросмертельной сложности, в некоей слепой железной летучемышинной пещере земной первоосновы:

– ...воздушный праздник по случаю торжественного открытия аэропорта Фейнмана стоимостью в миллион долларов близ Нью-Валуа, штат Франсиана, проводится под официальным патронажем Американской воздухоплавательной ассоциации. Вот официальное время победителей гонки в классе двести кубических дюймов, которую вы только что видели...

Теперь им надо было преодолевать медленное встречное течение; служители у входа (у них не только фуражки, но и кители были пурпурно-золотые) не пропустили их, потому что у женщины и мальчика не было билетов. Поэтому, чтобы добраться до предангарной площадки, им пришлось вернуться, выйти наружу, обогнуть здание и пройти через ангар. Там голос встретил их вновь, – точнее, он не переставал вещать; они просто вступили в него, не слыша его и не чувствуя, как в солнечную полосу из тени; в голос, почти так же разлитой и лишенный источника, как свет. На предангарной площадке бухнула третья бомба, и, посмотрев на дальний край площадки, Джиггс с того места, где он стоял вместе с другими механиками у самолетов, ожидавших следующей гонки, увидел всех троих – женщину в позе невнимательного, невосприимчивого слушания, мужчину, похожего на воронье пугало и, как Джиггс различал даже оттуда, говорившего не закрывая рта и даже время от времени принимавшего жестикулировать, и, наконец, на плечах у него – маленькое, защитного цвета пятно комбинезончика и ладошку с едва надкушенной шоколадкой, застывшую в некой статической пресыщенности. Они двигались дальше, но Джиггс увидел их еще дважды; во второй раз тень, отбрасываемая головами мужчин и мальчика, протянулась по предангарной площадке на невообразимое расстояние с запада на восток. Но тут ему махнул рукой тот, что повыше, и пять самолетов, участвующих в очередной гонке, двинулись к стартовой ли-



нии с высоко задранными хвостами на плечах у людей.

Когда Джиггс и тот, что повыше, вернулись на площадку, оркестр еще играл. Репродукторы, установленные вдоль площадки через равные промежутки и направленные на ярко сияющие трибуны, которые окаймляла колышущаяся на фоне неба вереница пурпурно-золотых остроконечных флажков, издавали выхваченно-громкие, призрачно-вездесущие возгласы, которые, когда Джиггс и его товарищ шли от репродуктора к репродуктору, замирали и подхватывались без ощутимой потери ритма и без особого выигрыша по части смысла или мелодии. За репродукторами и предангарной площадкой лежал плоский насыпной треугольник изнасилованной земли, извлеченной с медленным механическим зверством в мир воздуха и чередующейся свето-темноты, – устрично-креветочно-ракушечная щербина в гладкой поверхности оскорбленного озера с двумя безупречными, сцепившимися в жестких объятиях заглавными «F» бетонных взлетно-посадочных полос, на одной из которых покоились, как пять неподвижных ос, пять самолетов, поблескивая в косых лучах солнца выкрашенными мягко-яркой краской бортами и размытыми кругами вращающихся пропеллеров. Оркестр умолк; вновь расцвела на бледном небе бомба и сразу начала таять, еще до того, как послышались большой глухо-отрывистый хлопок и мелкая злобредная дробь отзвуков; и опять голос, усиленный и вездесущий, перекрывающий даже рокот и рев пяти самолетов, которые, рваной линией

поднявшись в воздух, начали удаляться, сходясь, сбиваясь в стаю, в направлении дальнего пилона, стоящего в озере:

– ...четвертый номер программы, скоростная гонка в классе триста семьдесят пять кубических дюймов, двадцать пять миль, пять раз туда и обратно, призовая сумма – триста двадцать пять долларов. Я перечислю участников в том порядке, в каком они, по мнению ребят – то есть других пилотов, стоящих здесь, рядом со мной, – должны финишировать. Первые два места займут Эл Майерс и Боб Буллит, номера соответственно тридцать второй и пятый. Кто из них победит – решайте сами, тут ваша догадка будет не хуже нашей; оба они прекрасные летчики – в декабре в Майами Буллит в яростной борьбе завоевал кубок Грейвза, – и оба летят на «Чанс-спешиалз». Все решит мастерство пилота, и я не намерен ни того, ни другого обижать своими предположениями...

Ты там был, Шарли?<sup>5</sup> Я хотел сказать – миссис Буллит. Другие пилоты тоже хороши, но у Майерса и Буллита более быстрые машины. Так что вот мой прогноз: Джимми Отт – третий, а Роджер Шуман и Джо Грант останутся позади, потому что, как я уже сказал, их машины уступают машинам соперников... Вот они уже, возвращаются после поворота, и... да, впереди либо Майерс, либо Буллит, Отт держится за ними вплотную, а Шуман и Грант уже изрядно отстали.

---

<sup>5</sup> Фраза, часто употреблявшаяся в 30-е годы в комических радиопередачах актером, который выступал под псевдонимом Барон Мюнхгаузен.

Итак, лидеры приближаются к пилоу на поле аэродрома...

Голос звучал твердо, приятно, уверенно; его обладатель славился по всей Америке комментированием воздушных праздников и соревнований, подобно обладателям других голосов, специализирующимся на футбольных матчах, музыкальных концертах или профессиональном боксе. Комментатор, сам пилот-профессионал, говорил в микрофон, стоя на оркестровой платформе перед нумерованными местами, возвышаясь над фуражками и трубами музыкантов на половину своего роста, с непокрытой головой, в чуть-чуть даже слишком щегольском твидовом пиджаке, ассоциирующемся скорее с образами Голливуда, чем с рекламными картинками Мэдисон-авеню<sup>6</sup>, с крылышками неброского значка славной, солидной авиаторской организации на лацкане, немного повернувшись, чтобы зрители, сидевшие в ложах, видели его лицо, – а самолеты тем временем приблизились с нарастающим ревом, обогнули ближний пилон и вновь растаяли нестройной вереницей.

– Вон он, Фейнман, – сказал Джиггс. – За желто-голубым барьерчиком. В сером пиджаке, с цветком. С женщинами – видишь? А сала-то на нем, сала.

– Это точно, – сказал тот, что повыше. – Смотри. Роджер его обойдет на этом пилоне.

Хотя Джиггс повернулся не сразу, голос встрепенулся мгновенно, чуть ли не опередив слова Джиггсова собеседни-

---

<sup>6</sup> Мэдисон-авеню в Нью-Йорке – символ американского рекламного бизнеса.

ка, как будто обладал неким даром всеведения, превосходящим зрение:

– Ну-ка, ну-ка, друзья, события принимают неожиданный оборот. Кажется, Роджер Шуман собрался опровергнуть наши прогнозы. На вираже вокруг дальнего пилона он вышел на третье место; там, над озером, он обогнал Отта. Посмотрим, что будет сейчас; где-то здесь, среди зрителей, находится миссис Шуман; может быть, она знает, что за сюрприз приготовил нам всем сегодня Роджер. После первого пилона он было всего лишь четвертым и, казалось, безнадежно отстал, но вот на третьем витке он уже третий – так, так, так, видели, как он взял этот пилон? Были бы мы на ферме, я бы не удержался и сказал, что кто-то ему подложил колючку под... ну, сами понимаете, подо что; может быть, миссис Шуман ее подложила? Молодчина, Роджер! Надо только не пропустить вперед Отта, потому что у Отта, друзья, не буду скрывать, машина более быстроходная... Ну-ка; э-э-э-э... Друзья, он пытается достать Буллита – ну же, ну – ох, как он взял этот пилон! На этом вираже он отыграл у Буллита добрых триста футов... Так, посмотрим, он, думаю, попытается обойти Буллита на следующем пилоне – так, так, так – смотрите, СМОТРИТЕ на него. Он делает их на виражах, друзья, ведь он знает, что на прямых участках у него нет шансов, – ну же, ну же – вот, смотрите на него, четыре с половиной витка позади, был четвертым, а теперь он обойдет Буллита, если только не своротит себе крыло о последний пилон...

Приближаются – ну же, ну же – где-то здесь в толпе миссис Шуман; похоже, она строго-настрого запретила Роджеру возвращаться домой без призовых денег... Вот она, развязка, друзья, вот она: Майерс первый, *но кто же второй* – Шуман или Буллит, Шуман или... Шуман, друзья, занимает второе место, великолепно проведя гонку...

– Отлегло, – сказал Джиггс. – Вовремя он денежки хватанул. А то сидеть бы нам сегодня вечером на вокзале и брюхами тосковать: где там жратва, горло, что ли, перерезано? Ладно, пошли. Помогу тебе с парашютами.

Но тот, что повыше, смотрел на предангарную площадку. Джиггс тоже приостановился и увидел детский защитный комбинезон, плывущий высоко над людскими головами под оркестровой платформой, хотя женщины видно не было. Пять самолетов, которые в течение шести минут летали вперед-назад друг за другом на одной высоте и в почти неизменном порядке, похожие на бусины на нитке, теперь рассредоточились по ближнему небу в радиусе двух-трех миль, заходя на посадку, как будто последний пилон развеял их, словно клочки бумаги.

– Кто этот тип? – спросил тот, что повыше. – Который около Лаверны вьется.

– Лазарь, что ли? – отозвался Джиггс. – Боже ты мой, я бы на его месте боялся себя употреблять. Из постели бы и то вылезать боялся, как вот если бы я был разводным ключом из чистого хрусталя. Пошли, слушай. Твой уже разогрелся и

бьет копытом.

Тот, что повыше, еще секунду хмуро смотрел через площадку, потом повернулся:

– Сходи за парашютами и найди кого-нибудь принести мешок; встретимся...

– Они у машины уже, – сказал Джиггс. – Я их притащил. Идем, что ли.

Тот уже двигался, но теперь остановился как вкопанный. Посмотрел на Джиггса сверху вниз, обратив к нему хмурое красивое лицо с правильными, брутально-отважными чертами, выражавшее смышленость без особенного ума, без особенной силы. Легкие потемнения под глазами, намекавшие на разгульную жизнь, были, казалось, нанесены гримером. Губы под узенькими усиками выглядели гораздо более нежными и даже женскими, чем губы женщины, которую они с Джиггсом называли Лаверной.

– Что? – спросил он. – Ты принес к машине парашюты и мешок с мукой? Ты лично?

Но Джиггс не стал останавливаться.

– Твоя ведь очередь. Ты прыгать будешь, нет? Тебе не кажется, что уже вечерет? Чего ты телишься? Ждешь, чтобы зажгли пограничные огни, а то и прожекторы? Или, может, ты по маяку собрался приземляться?

Тот двинулся дальше вслед за Джиггсом по предангарной площадке к самолету обычного, негоночного типа, который стоял у самого заграждения с работающим мотором.

– Надо думать, ты и в контору уже сбегал и мои двадцать пять долларов забрал, чтобы побольше сберечь моего времени, – сказал он.

– Хорошо, я их заберу, – сказал Джиггс. – Ну давай, давай. Он жжет без толку горючее; шевелись, а то он шесть долларов с тебя слупит вместо пяти.

Пилот дожидавшегося их самолета уже сидел в своей кабине; свет довольно низко опустившегося солнца, преломляемый невидимыми лопастями пропеллера, мерцал вокруг носа машины размытым, медного цвета нимбом. Рядом лежали на бетоне два парашюта и мешок с мукой. Джиггс поднимал парашюты по одному и держал их, пока его товарищ, стоя спиной, продевал руки в лямки; потом Джиггс наклонился и белкой засуетился среди ремней и застежек, не переставая болтать:

– Хватанул, хватанул. Я, выходит, тоже сегодня разживусь маленько. Боже ты мой, я дальше двух долларов и считать уже разучился.

– Только не вздумай учиться на моих двадцати пяти, – сказал тот. – Просто возьми и держи, пока я не вернусь.

– Да на кой мне они, твои двадцать пять? – сказал Джиггс. – Роджер только что выиграл тридцать процентов от трехсот двадцати пяти, леший знает, сколько там это в точности, но все равно сравни: его выигрыш – и твои двадцать пять.

– И сравнивать нечего, – заметил второй. – Выигрыш Роджера – его деньги, а эти двадцать пять – мои. Знаешь-ка что,

не бери их лучше. Я сам их возьму.

– Ага, – сказал Джиггс, всюду трудясь над застежками запасного парашюта, чуть не подпрыгивая на коротких сильных ногах. – Да, у нас теперь полный порядок. Пошамаем сегодня, поспим... готово.

Он отступил на шаг, и его товарищ вразвалку, на деревянных ногах двинулся к самолету. Появился учетчик с блокнотом, записал фамилии и номер самолета, затем отошел.

– Где будешь приземляться? – спросил пилот.

– Без разницы, – ответил парашютист. – В любом месте Соединенных Штатов, кроме этого озера.

– Если увидишь, что падаешь в озеро, – сказал Джиггс, – сразу разворачивайся, вертайся в самолет и прыгай заново.

Но они его не слушали. Они оба смотрели назад и вверх – туда, где в высокой сонной лазури уже отчетливо обозначался вечер.

– Думаю, там безветрие или почти, – сказал пилот. – Давай кину тебя на крыши ангаров, а там выруливай куда хочешь.

– Хорошо, – сказал парашютист. – Давай, пора уже.

С помощью Джиггса, толкавшего его снизу, он залез на крыло, а оттуда в переднюю кабину. Джиггс подал ему мешок с мукой, и парашютист, приняв его, положил его себе на колени, как младенца. С его нахмуренным, красивым, лишенным даже намека на смех лицом он выглядел в точности как молодой холостяк из комического фильма, которому соблазненная им юная особа, поймав его на перекрестке, толь-



ко что вручила неведомый сверток. Самолет двинулся вперед; Джиггс отступил, а парашютист, высунувшись из кабины, крикнул ему:

– Не бери эти деньги, понял меня?!

– Понял, понял, – сказал Джиггс. Самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу, повернул и остановился; и опять бомба, мягкий медленный луковицеобразный ком ваты, расцветший на фоне нежной, неочерченной озерной дымки, в которой, казалось, ждал чего-то, не спеша опускаться, вечер. И опять звук – толчок-хлопок, отдавшийся от трибун дважды, словно звуку нужен был один лишний рикошет, чтобы стать эхом. Джиггс повернулся, как будто и он ждал этого сигнала, и почти одновременно он и самолет начали двигаться – мужчина, коренастый и целеустремленный, и машина, уже задирающая носовую часть, затем отрывающаяся от полосы и закладывающая длинный взлетный вираж. Самолет уже поднялся на две тысячи футов, когда Джиггс протолкнулся мимо пурпурно-золотых служителей у главного входа и сквозь толпу, забившую проход под нумерованными местами трибуны. Кто-то дернул его за рукав комбинезона.

– Когда он из парашюта выпрыгнет?

– Когда приземлится, не раньше, – ответил Джиггс, прокладывая себе путь мимо очередных пурпурно-золотых людей в круглый зал, но нельзя сказать, что еще и в репродукторный голос, потому что он не выходил из этого голоса ни

на секунду:

– ...все еще набирает высоту; ему еще долго ее набирать. А потом вы увидите, как живой человек, похожий на вас, – я бы сказал, на половину из вас отдаленно похожий, а на взгляд другой половины, очень-очень пригожий – кинется в бездну и пролетит без малого четыре мили, прежде чем дернуть кольцо парашюта; это кольцо находится на конце вытяжного троса, который...

Войдя, Джиггс приостановился и стал торопливо оглядываться по сторонам, теперь уже неподвижностью рассекая сравнительно слабый сейчас, но по-прежнему ощутимый поток в сторону предангарной площадки, переговаривающийся сам с собой голосами растерянными, озадаченными, изумленными:

– Что там теперь? Что у них там происходит?

– Там человек собрался выпрыгнуть из парашюта и пролететь десять миль.

– Вам бы поторопиться, – заметил Джиггс. – Он может открыться до того, как человек выпрыгнет.

Круглый зал, наполнившийся сумерками, был теперь освещен мягкой, лишённой источника, размытой субстанцией, неземной по цвету и по составу, не отбрасывавшей теней; всеохватной, вкрадчивой, звучной, монастырской субстанцией, в которой стенной рельеф – фреска – нечто из бронзы и хрома, искусно изборожденное тенями, – являло неистово-неподвижную легендарную повесть о том, что че-

ловек стал называть покорением безгранично-непроницаемого воздуха. Высоко над головой на лазурно-стеклянном куполе мозаичное двойное «F», повторяя рисунок взлетно-посадочных полос, откликалось на ярко отполированное, сияющее, вделанное в кафельный пол латунное двойное «F», которое, казалось, многократно отражалось по всему залу, находя последовательное беззвучно замирающее эхо в монограмме, украшающей бронзовую решетку над окошками касс и справочных и во фризоподобных вставках в плитусы и карнизы из искусственного камня.

– Да-а, – сказал Джиггс. – Миллион запросто... А вы, случаем, не знаете, где здесь администрация?

Служитель сказал ему; он направился к маленькой не приметной двери, притаившейся в нише, и, войдя, на короткое время оказался вне голоса, который, однако, был тут как тут, когда минуту спустя он вышел:

– ...по-прежнему набирает высоту. Стоящие здесь летчики не могут сказать совершенно точно, на какой он высоте, но мне кажется, что уже вот-вот. Это может произойти в любую секунду; вначале вы увидите муку, а потом живого человека на конце мучной ленты, живого человека, летящего сквозь пространство со скоростью четыреста футов в секунду...

Когда Джиггс опять вышел на предангарную площадку (у него тоже не было билета, и поэтому, хотя он мог беспрепятственно проходить с площадки в круглый зал, обратно

на площадку он мог вернуться только кружным путем, через ангар), самолет был всего-навсего малозаметным, незначительным пятнышком, висевшим, казалось, без всякого звука и движения на небе, теперь уже определенно вечером. Но Джиггс на небо не смотрел. Он проталкивался сквозь гущу неподвижных тел с задранными головами и добрался до заграждения как раз в тот момент, когда с поля вкатывали один из гоночных самолетов. Он остановил одного из обслуживающей команды, уже держа в руке купюру:

– Монк, будь другом, отдай Джексону. За полет с парашютистом. Увидит – поймет.

Он вернулся в ангар, двигаясь уже очень быстро, и начал расстегивать комбинезон, еще даже не доходя до проволочной двери. Сняв комбинезон, он повесил его на крючок и лишь секунду помедлил, глядя на свои руки. «Ладно, в городе вымою», – решил он. Уже зажглись первые огни аэропорта; он пересек площадь перед фасадом, минуя бескровно расцветшие виноградины на литых столбах, на чьих квадратных основаниях учетверенные «F» были хорошо видны даже в сумерки. Автобус тоже был освещен, но пассажиры, которых уже набрался полный комплект, не сидели в салоне. Все они – и водитель тоже – стояли рядом с машиной и смотрели в небо, а голос репродуктора, апокрифический, лишенный источника, нечеловеческий, вездесущий, не ведающий усталости, вещал и вещал:

– ...высота набрана; теперь в любой момент... Так. Так.

Крыло идет вниз; он уменьшил скорость... ну, ну, ну... Вот он, друзья; мука, мука...

Мука была бледным пятном на небе, начавшим разматываться, как легкая ленивая лента, а потом они увидели в голове у нее падающую точку, еле заметную, растущую, становящуюся крохотным тельцем, которое недвижно-стремительно двигалось к единому долговому замершему вдоху всей человеческой массы, разрешившемуся наконец при виде парашютного цветка. Колыхаясь, он распускался на фоне полноценного уже, неистребимого вечера; под куполом парашютист медленно раскачивался, неспешно приближаясь к полю аэродрома. Пограничные огни и огни на сооружениях теперь тоже уже горели; он плыл вниз словно бы из беззвучной и бездыханной пустоты к яркому ожерелью аэродромных огней и к высвеченному электричеством на крышах ангаров имени. В этот миг зеленый огонь над маяком на сигнальной башне тоже начал мигать и вспыхивать: точка-точка-тире-точка<sup>7</sup>. Точка-точка-тире-точка, точка-точка-тире-точка поверх окаймленного темнотой озера. Джиггс тронул водителя за рукав.

– Ну что, друг, погнажи? – сказал он. – Мне к шести успеть бы на Гранльё-стрит.

---

<sup>7</sup> Буква «F» в коде Морзе.

# НЬЮ-ВАЛУА. ВЕЧЕР

В круг подабажурного света настольной лампы попали ноги и бедра репортера; редактору, сидящему за столом в отделе городских новостей, осталась часть туловища показалась смутной каланчой, уходящей в невозможную высь, где в пыльном верховом мраке комнаты плавало, испуская зеленую мертвенность, настолько же сродную своему источнику, как рыбе – вода, трупное лицо. Он разглядел шляпу, сдвинутую набок и древнюю, как и костюм, в котором кто-то посторонний, казалось, только что выспался, с осевшим от листов желтоватой бумаги одним карманом, с торчащим из другого холодным, сложенным, яростным, не просохшим еще

НИК: ПЕРВАЯ  
СГОРЕЛ ЗА

Весь его облик, вся повадка ассоциировались с последней бодрой стадией того, что люди постарше называют скоротечной чахоткой. Редактор полагал (и уж точно надеялся), что этот человек не женат, – полагал не благодаря каким-либо сведениям, а лишь на основании неких эманации его, репортера, живого бытия; родителей у этого существа, по всей ви-

димости, тоже никогда не было, как не было детства и не будет старости, словно оно в готовом, бесповоротно зрелом виде возникло в результате какой-то яростно-мгновенной эволюции. Если бы, к примеру, выяснилось, что у него есть брат, удивления или тепла это породило бы не больше, чем обнаружение пары к выброшенному в мусорный бак ботинку. Редактору передавали слова девицы из борделя на Баррикейд-стрит, сказавшей о нем, что это было бы все равно как взять входную плату с призрака, который явился на спиритическом сеансе в арендованном зале ресторана.

На редакторском столе, под прямым прицелом настольной лампы, оно тоже лежало – черное, жирное, непросохшее -

ВОЗДУШНЫЙ ПРАЗДНИК:  
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА  
АВИАТОР СГОРЕЛ ЗАЖИВО

Редактор в одной рубашке, откинувшийся на спинку кресла, лысый и тоже мертвенно подсвеченный выше зеленого надглазного козырька, смотрел на репортера с раздражением.

– У вас нюх, что ли, какой-то на события, – сказал он. – Очутись вы в зале, где набилась сотня незнакомых людей, из которых одному суждено застрелить другого, вы кинулись бы к ним, как ворона к падали, вы были бы на месте заблаговременно; да чего там, вы побежали бы на угол к полицей-

скому и позаимствовали бы у него пистолет для этой их перестрелки. А приносить не приносите ничегошеньки – информацию, и только. Ну, с ней-то порядок – от других газет мы вроде бы не отстаем, что они печатают, то и мы, и в суд нас никто пока что не тягал, и конечно же большего за пять центов никто от нас не ждет, да и не заслуживает. Но живое-то дыхание новостей – где оно, где? Одна информация. Вы и добратся сюда с ней не успели, а она уже померла и протухла.

Репортер неподвижно высился над жестким световым радиусом лампы, глядя на редактора внимательно и напряженно, с видом собаки, натягивающей поводок.

– Как будто на чужом языке читаешь. Да, вы чувствуете: здесь, на этом месте. Может, даже точно знаете и место, и время. Но – и только. Как будто по несчастной какой-то случайности вы, сами того не сознавая, слушать и смотреть приучились на одном языке, а писать, если это можно назвать писанием, на другом. Вы перечитывать-то пробовали? Как это вам?

– Перечитывать что? – спросил репортер. Потом со стула напротив дослушивал редакторскую ругань. На стул этот он рухнул с шарнирно разболтанным грохотом вороньего пугала, сухим – точно костями по дереву, – после чего сидел, подавшись вперед через стол, неумный, по виду не только находящийся на пороге могилы, но и вглядывающийся уже в то, что делается по другую сторону Стикса, – в кабаки, где



никогда не трещал кассовый аппарат и не щелкал выдвижной денежный ящичек, в тот золочено-злачный район, где благовонно блещут и лоснятся от душистых масел безымянные небесные груди вечного и дармового блаженства. – Почему вы раньше мне не сказали? – вскинулся он. – Почему раньше не сказали, что нужно именно это? Я зайцем ношусь восемь дней кряду каждую неделю, ищу материал, нахожу, пишу – а рекламодателей и подписчиков даже восьми тысяч нет. Но не важно. Потому что слушайте.

Он сдернул с головы шляпу и кинул на стол, но редактор мигом смахнул ее репортеру на колени, как на пикнике смахивают со скатерти облепленную муравьями хлебную корку.

– Слушайте, – сказал репортер. – Она там, в аэропорту. У нее мальчонка, но только вот двое их у нее – этих, что водят махонькие машины, на комаров похожие. Нет – водит один, другой совершает затяжные прыжки с парашютом – ну, вы поняли, пятидесятифунтовый мешок муки в руках, и падает с неба, как рождественское или не знаю там какое привидение. Да, да – у них пацаненок маленький, с этот телефон, не больше, но в комбинезончике в точности как у...

– Стойте! – крикнул редактор. – У кого пацаненок?

– Вот-вот. Не знают они. В комбинезончике точь-в-точь как у взрослых; сегодня утром, когда я пришел в ангар, он был у малыша еще чистенький, – может, потому, что первый день воздушного праздника у них за понедельник идет; но он возил палкой по полу, где разлилось машинное масло, и

мазал комбинезон, чтобы выглядеть как они... Да, двое их: этот ее Шуман взял сегодня второй приз, поднявшись с четвертого места на развалюхе, про которую там все, кто вроде бы понимает что к чему, в один голос сказали, что ей не место даже в четверке. Она жена его – то есть ее фамилия Шуман, и малец тоже считается Шуман; сегодня утром в ангаре на ней был комбинезон как на всех, в руках тьма ключей и всяких деталей, в губах пучком зажаты чеки таким же манером, каким в старину, говорят, женщины зажимали булавки, пока за шитье дамских нарядов не взялась фирма «Дженерал моторс»; волосы как у Джин Харлоу<sup>8</sup>, за них в Голливуде ей отвалили бы денег, и полоса машинного масла на лбу, где она отвела их рукой. Она жена его; жена, считай, с тех пор, как шесть лет тому в калифорнийском ангаре родился мальчонка. Ну вот, а Шуман тогда сел у какого-то там городишки в Айове, или в Индиане, или где там она училась в десятом классе, пока не изобрели авиапочту, чтобы фермеры переставали пахать и принимались глазеть на небо; она вышла прогуляться на переменке и, наверно, поэтому была без головного убора, и в таком вот виде она забралась на переднее сиденье одной из этих «дженни»<sup>9</sup>, какие армия распродавала за гашеные марки или не знаю там за что. Может,

---

<sup>8</sup> Джин Харлоу (1911-1937) – американская киноактриса с очень светлыми волосами.

<sup>9</sup> «Дженни» – обиходное название тренировочного самолета, использовавшегося американской армией во время Первой мировой войны.

она и отправила открытку со следующего коровьего выгона, где они сели, тетушке или еще кому, кто ждал ее домой к обеду, если у таких вообще есть родня, если они рождаются от людей. В общем, он стал учить ее прыгать с парашютом. Потому что они не нашего племени, не людского; будь у них человеческая кровь и нормальные органы чувств, они не могли бы так облетать эти пилоны.

Они не хотели бы или не смели бы этого, имей они просто человеческие мозги. Жгите их, как этого сегодняшнего, и они из огня даже голоса не подадут; шмякнись такой на всем лету, и вы даже крови не увидите, когда его вытащат, – одно цилиндрическое масло, как в картере мотора. И слушайте: двое их, двое; сегодня утром вхожу в ангар, где они готовят машины, и вижу мальчонку с каким-то типом, на лошадь маленькую похожим, – в боксерской стойке оба, кулаки подняты, а остальные глазают на них со всякими там ключами в опущенных руках, потом вижу – малец на него кидается, кулачками машет, а тот уклоняется, поднимает его в воздух, держит от себя подальше, другие смотрят, он ставит его, я подхожу, сам тоже в стойку с поднятыми кулаками и говорю: «Ну что, Демпси, давай – я на новенького», но пацаненок не реагирует, только смотрит на меня, а лошадиный тогда говорит: «Спроси его, кто его папаша», но мне почудилось, он сказал: «Где его папаша», и я переспросил: «Где его папаша?», но он мне: «Нет. *Кто* его папаша», и я спросил мальчика, и тогда он уже на меня летит с кулаками, и будь он

хотя бы вполовину такой большой, каким хотел тогда быть, он точно измордовал бы меня как миленького. Ну, я тогда спросил их, и они мне рассказали.

Он умолк – иссякли слова или, возможно, дыхание, но не так, как иссякает жидкость в сосуде, а мгновенной чуткой приостановкой наподобие невесомой движимой ветром игрушки, скажем целлулоидной детской вертушки на палочке. Через стол, по-прежнему откинувшись назад, сжимая подлокотники кресла, редактор глазел на него с гневным изумлением.

– Что?! – вскричал он. – Одна жена с ребенком на двоих?

– Точно. Третий, лошадиный, у них за механика, он не муж даже и, само собой, не пилот. Да, Шуман, значит, приземлился где-то там в Айове или Индиане, а она тут как раз выходит из школы и книжки даже не удосужилась отправить с кем-нибудь из подружек домой, и они лёту оттуда, может, только с открывалкой для консервов да одеялом, чтобы спать под крылом, когда очень уж сильный дождь; а потом второй нагрянул, парашютист, с неба, видно, упал со своим мучным мешком, пролетев мили две-три, прежде чем дернуть кольцо. Не люди они, понятно вам? Уз никаких; нет на земле такого места, где бы ты родился и куда бы возвращался время от времени хотя бы для того только, чтобы денек-другой вволю и всласть поненавидеть чертову эту дыру. От одного побережья к другому, летом – Канада, зимой – Мексика, с одним чемоданом на всех и с одной открывалкой, потому что

трое могут обходиться одной с таким же успехом, как один человек или дюжина... В любое место, где только достаточно наберется людей, чтобы авансом оплатить перелет, а потом добавить на бензин. Потому что деньги-то им без надобности; не за деньгами они гонятся, не за деньгами и не за славой, ведь слава хорошо если длится до следующей гонки, а то и до завтра не дотягивает. Не нужны им деньги, разве только изредка, когда приходится якшаться с человеческим племенем, – ну, в гостинице иногда, чтобы поесть-поспать, или в магазине купить юбку да штаны, чтобы полиция не приставала. Потому что деньги куда проще добываются, денег там и нет вообще – в четырнадцать с половиной футах от земли, когда ты с почти девяностоградусным креном идешь на вираж вокруг стального столба на скорости двести или триста миль в час в треклятой мошке летучей, собранной как швейцарские часики, у которой потолок скорости – это не просто цифирки под круглым стеклышком, а такая штука, когда ты сжигаешь мотор или у тебя отваливаются к чертовой матери крылья и шасси. Пируэт вокруг ближнего пилона на кончике крыла, полотно трепещет как невеста, драндулет стоимостью в четыре тысячи хорош, может, всего часов пятьдесят, хотя протянул ли так долго хоть один из них – большой вопрос, в гонке их участвует пять штук, главный приз аж двести тридцать восемь долларов пятьдесят два центика минус штрафы, взносы комиссионные и взятки. А прочие все – жены там, дети, механики – замерли на предангарной площад-

ке, как будто их выкрали из магазинной витрины и одели в промасленные защитные робы, и смотрят, и даже думать не думают ни про счет в городской гостинице, ни про то, как мы прокормимся, если не выиграем, ни про то, как будем добираться до места следующего воздушного праздника, если мотор расплавится и вытечет ко всем чертям в выхлопную трубу. А Шуман даже не владелец машины; она сказала мне, что Вик Чанс хочет собрать для него машину и они тоже хотят, чтобы он ее собрал, да только ни у Вика Чанса, ни у них нет пока на это денег. Так что он просто летает на всем подряд, на чем только может получить допуск. На котором он сегодня схватил приз, он летает по соглашению с хозяином; по скорости этот самолет был предпоследним в сегодняшней гонке, и все говорили, что шансов у него никаких, но Шуман наверстывал на пилонах. А когда он не выигрывает, они живут за счет парашютиста – у этого-то как раз дела ничего, он получает почти столько же, сколько говорун-микрофонщик, причем тот полдня должен распинаться, а парашютист подышит всего несколько секунд, пока промахнет свои десять – двенадцать тысяч футов, летящей в лицо мукой, потом дернет за кольцо, и привет. А малец, значит, родился на раскатанном парашюте в ангаре где-то в Калифорнии; можно сказать, вывалился из фюзеляжа и сразу побежал, как жеребчик или теленок, хорошо еще, было на что вывалиться, потому что нашлось место, где приземлиться и откуда снова потом взлететь. Попробовал я представить его себе по-

обычному: линия предков, всякие там рай и ады, как у всех у нас, родовые муки, из которых мы произрастаем, чтобы идти по земле, обжав голову согнутой в локте рукой и уворачиваясь вправо-влево, пока наконец не выьем очко и не ляжем обратно, откуда встали... Вдруг я вообразил его оснащенным парой-тройкой выводков дедов-бабок, дядюшек-тетушек, двоюродных братишек-сестричек – и вроде как помер на месте. Пришлось остановиться, прислониться к стене ангара и вдоволь высмеяться. Что там непорочные ваши зачатия; родился на раскатанном парашюте в калифорнийском ангаре – и все дела; врач потом подходит к двери, подзывает Шумана с парашютистом. Парашютист вынимает игральные кости и говорит ей: «Ну что, кинешь?» А она ему: «Кидай сам». Он кинул, и выпало Шуману, и в тот же день доставили мирового судью, подбросили на бензовозе, и ее фамилия, как и ребенка, стала Шуман. И еще мне тамошние сказали, что не они начали мальчика спрашивать: «Кто твой папаша?» Это она начала, а когда пацаненок кидается на нее с кулаками, она крепкое свое мальчишеское лицо, голову, которая так выглядит, словно волосы ей, когда нужно, первый попавшийся из четверых подрезает карманным ножичком, наклоняет к нему, чтобы он мог достать, и только приговаривает: «Вмажь мне. А ну вмажь. Еще сильнее. Вмажь как следует». Ну, и что вы об этом думаете?

Он снова умолк. Редактор опять откинулся на спинку вращающегося кресла и глубоко, полновесно, неспешно вздох-

нул, глядя на репортера, подавшегося вперед над столом и похожего на беспутный и неумный скелет или на изможденно-мечтательно-яростного Дон-Кихота.

– Думаю – пишите об этом, – сказал редактор. Репортер почти полминуты смотрел на него, не шевелясь.

– Думаю – пишите... – пробормотал он. – Думаю – пишите...

Его голос самозабвенно сошел на нет; он взирал на редактора сверху вниз в бестелесной экзальтации, а тот отвечал взглядом, полным холодного и мстительного ожидания.

– Да. Валите домой и пишите.

– Валите домой и... Домой, где меня никто не... где я смогу... О Господи, Господи, Господи! Шеф, где я был всю вашу жизнь, где вы были всю мою?

– Да, – сказал редактор. Он так и не шевельнулся. – Валите домой, там запирайтесь, ключ выбросьте в окно и пишите. – Он смотрел на изможденное экзатическое лицо, маячившее перед ним в тускло-мертвенном свечении зеленого абажура. – А потом подожгите комнату.

Лицо репортера медленно отплыло назад, как неторопливо отводимая маска на палке у мальчугана на Хэллоуин. После этого довольно долго он тоже не двигался, только губы слегка пошевеливались, как будто он пробовал что-то очень вкусное или очень невкусное. Затем он встал – медленно, под пристальным взглядом редактора; казалось, он собирает и вновь составляет себя кость за костью, сустав за суставом.



На столе лежала пачка сигарет. Он потянулся к ней; не сводя глаз с репортера, редактор схватил пачку таким же быстрым движением, каким он кинул обратно шляпу. Репортер поднял древнюю свою шляпу с пола и теперь стоял, глядя на нее в задумчивой сосредоточенности, словно собирался тянуть из нее жребий.

– Послушайте меня, – сказал редактор; в голосе его зазвучало терпение, почти ласковость. – Люди, которые владеют этой газетой, которые определяют ее линию, в общем, люди, которые платят нам с вами деньги, не зачислили в штат – не возьмусь сказать, к счастью или к несчастью, – ни одного Льюиса, ни одного Хемингуэя и даже ни одного Чехова; причина, и весьма серьезная, заключается, без сомнения, в том, что они им без надобности, поскольку им нужны не романы, пусть даже достойные Нобелевской премии, а новости.

– Вы хотите сказать, вы не верите? – спросил репортер. – Об этой... об этих людях?

– Я вам больше скажу: мне дела никакого нет. Если предполагаемые постельные обычаи этой женщины даже для ее законного, как вы говорите, мужа отнюдь не новость, какие в них новости для газеты?

– Я думал, постельные обычаи женщин – это всегда новости для газеты, – сказал репортер.

– Вы думали? Вы думали? Да вы послушайте меня минуту! Если один или другой сядет в свой самолет или наденет свой парашют и прикончит ее вместе с ребенком на глазах

у зрителей – тогда это будут новости. Но пока этого не случилось, я не за то вам плачу, что вы там думаете о ком-то, и не за то, что вы слышали, и даже не за то, что вы видели; завтра вечером вы должны явиться сюда с точным отчетом обо всем случившемся там за день, что вызовет какую бы то ни было реакцию – возбуждение, раздражение – на сетчатке какого бы то ни было человеческого глаза; если вам тогда надо будет раздвоиться, растроиться или даже превратиться в полк, сделайте это. Теперь марш домой и ложитесь спать. И запомните. Зарубите себе на носу. Там будет человек, которого я попрошу сообщить домой мне лично точное время, когда вы войдете в ворота. И если это будет хоть на минуту позже десяти, вам, чтобы поймать в понедельник утром свое рабочее место, понадобится гоночный самолет. Идите домой. Слышите меня?

Репортер смотрел на него взглядом, лишенным всякого жара, совершенно пустым, как будто он несколько секунд назад не только перестал слушать, но и утратил самый дар слуха и теперь просто из вежливости наблюдал за губами редактора, чтобы увидеть по ним, когда он кончит.

– Ладно, шеф, – сказал он. – Раз вы такого мнения об этом.

– Да, я именно такого мнения об этом. Вам ясно?

– Да, конечно. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – ответил редактор. Репортер повернулся к выходу – повернулся молча, нахлобучивая шляпу в точности таким же движением, каким он кинул ее на редак-

торский стол, с которого она была затем сброшена, и вынимая из кармана, откуда торчала сложенная газета, смятую сигаретную пачку. Редактор смотрел, как он засовывает сигарету в рот, затем тянет шляпу набок, придавая ей этакий беспутный наклон, и выходит, чиркая по дороге спичкой о дверной косяк. Но первая спичка сломалась; второй он чиркнул о пластинку с кнопкой звонка, пока ждал лифта. Дверь открылась, затем с лязгом захлопнулась у него за спиной; он уже засовывал одну руку в карман, беря другой из тощей стопки на второй табуретке рядом с той, на которой сидел лифтер, верхнюю газету и заставляя при этом лежавшие сверху для веса циферблатом вниз дешевые часы съехать на следующую такую же, идентичную. Грубая, сдержанная чернота:

ВОЗДУШНЫЙ ПРАЗДНИК:

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА

АВИАТОР СГОРЕЛ ЗАЖИВО

Лейтенант Фрэнк Горем погиб в аварии самолета-ракеты

Он держал газету перед собой, склонив голову набок и щурия из-за сигаретного дыма глаза.

– «Шуман удивил зрителей, отодвинув Буллита на третье место», – прочел он. – Что вы насчет этого думаете?

– Что психи они все, – ответил лифтер. Он не смотрел больше на репортера. Не глядя взял у него монету той же ру-

кой, которой держал потухшую пятнистую кукурузную трубку. – И те, что это вытворяют, и те, что за свои деньги на них плятятся.

Репортер тоже не смотрел на собеседника.

– Удивил, это точно, – сказал он, не сводя глаз с газеты. Потом сложил ее и попытался запихнуть в карман, где уже лежала одна такая же и точно так же сложенная. – Это точно. А будь там у них на виток больше, он еще пуще бы их удивил, отодвинув Майерса на второе место. – Кабина остановилась. – Да уж, удивил... Который час?

Рукой, в которой, помимо трубки, теперь была еще и монета, лифтер взял лежавшие циферблатом вниз часы и показал репортеру. Он не произнес ни слова и даже не поднял на него глаз; просто сидел, держал часы и ждал с терпеливо-усталым видом гостя, демонстрирующего свой карманный хронометр последнему из нескольких детей.

– Две минуты одиннадцатого? – спросил репортер. – Только две одиннадцатого? Черт.

– Не стойте в дверях, – сказал лифтер. – Сквозняк.

Дверь позади репортера снова лязгнула; пересекая вестибюль, он опять попытался засунуть газету в карман к той, первой. Шутовское, обезьянничающее, его отражение в стеклянных уличных дверях глянуло и тут же исчезло. Улица была пуста, но даже здесь, в четырнадцати минутах ходьбы от Гранльё-стрит февральский мрак ослабленно рокотал отголосками приглушенного и упорядоченного столпо-

творения. Вверху, над кронами пальм, подернутое тучами небо слегка светилось, отражая этот заповедный сейчас, сияющий огнями каньон, заполненный дрейфующей взвесью конфетти и серпантина, сквозь которую карнавальные платформы с шутовски гримасничающими, кривляющимися ряжеными, карликообразными, мучнисто-белыми и бесприютными, проплывали, как сквозь ровно сеющийся дождь, под изумленными взглядами лицевой тротуарной массы, неподвижной и усыпанной конфетти. Он шел не то чтобы быстро, но с неким отвязанным и бесцельным проворством, словно стремясь к этим лицам, но не ради них самих, а лишь ради избавления от одиночества, или даже словно он действительно, как велел редактор, направлялся домой и уже помышлял о Гранльё-стрит, которую должен был каким-то образом пересечь. «М-да, – подумал он, – ему надо было отправить меня домой авиапочтой». Когда он переходил от фонаря к фонарю, его тень посреди шага переметнулась, увлекая его за собой, на тротуар и стену. В темной витрине, глядя вбок, он шел, сопровождаемый двойником; остановившись и повернувшись в тот момент, когда тень и отражение наложились друг на друга, он посмотрел на себя в упор, словно бы на подлинные плечи, согнувшиеся под призрачной ношей умершего дня, а сбоку увидел отраженные в той же витрине свитер, юбку и жесткие бледные волосы беспамятной архипрелюбодейки, рядом с которой он шел, неся на плечах архизачатого.

«Ну конечно, – подумал он, – проклятушая маленькая

желтоголовая дрянь... Теперь как раз, наверно, укладываются в постель – трое в одну, или, может, у них через ночь, или же ты просто кладешь на постель шляпу, занимая место, как в парикмахерской. – Он видел себя в темном стекле, длиннющего, шаткого и неопрятного, похожего на связку реек, обряженную в человеческую одежду. – Ну-ну, – подумал он, – поганая ты маленькая светловолосая сучонка».

Двинувшись было дальше, он отпрянул, едва не сбив с ног старика – лицо, палка, древний пиджак грязней, чем даже его собственный. Он дал ему монету и обе сложенные газеты.

– На, дядя, – сказал он. – Может, выручишь за них десять центов. купишь тогда себе большую пивка.

Добравшись до Гранльё-стрит, он увидел, что пересечь ее можно разве по воздуху; впрочем, он до сих пор не сделал еще необходимой паузы, чтобы решить, идет он домой или нет. Пусть бы даже не было полицейского запрета, достаточно было самой этой плечеголовой тротуарной массы, которая хаотически колышущимся темным силуэтом вырисовывалась на фоне ярких огней, конфетти-серпантинного дрейфа и проплывающих шутовских платформ. Но, не успев еще дойти до угла, он, как порывом ветра, был атакован кричащими подростками-газетчиками, настолько же, казалось, безразличными к смыслу и значению минуты, как птицы, чуткие и в то же время безразличные к человечеству, которое они задевают крыльями и на которое валится их помет. Крича, они завертелись вокруг него; в отсветах проплы-

вающих факелов знакомый черножирный шрифт и сильные вопли, чередуясь, вспыхивали быстрее, чем сознание могло определить орган чувств, воспринявший одно или другое:

– Гойем сгойел! **ВОЗДУШНЫЙ ПРАЗДНИК: ПЕРВАЯ** Почитайте, почитайте! Пейвая жейтва Майди-Гйа. **ЛЕЙТЕНАНТ ГОРЕМ ПОГИБ В АВИАКАТАСТРОФЕ**  
Гойем сгойел!

– А ну! – крикнул репортер. – Кыш отсюда! Если еще один идиот изжарился, стану я из-за этого бросать пятак в океан!..

«Ну конечно, – подумал он зловредно, свирепо, – даже им приходится сколько-то спать, просто чтобы провести равный отрезок темной половины того времени, что они живы. Не потому отдых, что завтра снова гонка, а потому, что воздух и пространство, как сейчас, летят мимо них недостаточно быстро, но время, наоборот, летит для них слишком быстро, чтобы они могли позволить себе отдых, кроме тех шести с половиной минут, за какие он покрывает двадцать пять миль, когда остальные стоят на предангарной площадке, точно магазинные манекены, потому что их, остальных, даже и нет там, словно это девчоночья школа, откуда одну, первую, только что умыкнули со всей элегантной одеждой в придачу. Да, живы только шесть с половиной минут в день, все в одном самолете. И каждую ночь спят в одной постели – так почему кому-нибудь из двоих или обоим сразу не войти дремотно, непробужденно в одну женскую дрему, да так, что ни одному из троих не ведомо кто, да и безразлично?.. Ладно,

– подумал он, – может, и вправду домой».

Тут он увидел человека-пони, пони-человека из прошедшего дня – Джиггса, который, резко отпрянув, угодил в сердцевину маленькой яростной периферийной заводи неподвижных обернувшихся лиц.

– По своим ногам топай, а не по чужим! – зарычал Джиггс.

– Виноват, – сказало одно из лиц. – Я не нарочно...

– Кто смотреть будет? – не унимался Джиггс. – Мне на моих до конца жизни надо доходить. А может, и там придется пехом чесать, пока добрая какая-нибудь душа не подвезет.

Репортер наблюдал, как он, поднимая сперва одну, потом другую ногу, по очереди вытирал обутые ступни кепкой, подставив дымному свету проплывающих факелов аккуратную, точно тонзура, плешь цвета седельной кожи. Затем, стоя бок о бок и глядя друг на друга, они стали напоминать пресловутую неразлучную комическую пару – жердину и коротышку; один был похож на труп из университетской анатомички, временно облаченный в костюм со склада вещей для пострадавших от наводнения, другой заполнял одежду туго-натуго, с аккуратно-зловредной экономией, как борец трико, не оставляя даже того небольшого избытка ткани, какой можно было бы зашипнуть двумя пальцами. И опять Джиггс подумал, потому что ему в тот еще раз понравилось: «Надо же. У них тут что, кладбища тоже только в полночь открываются?» Газетчики вились теперь вокруг обоих, крича:

– «Глоб-стейтсмен»! Гойем стойел!



– Точно, – сказал Джиггс. – Либо живьем горишь в четверг вечером, либо с голодухи мрешь в пятницу поутру. Значит, это и есть Модди-Гроу? Что я здесь забыл, ума не приложу.

Репортер по-прежнему тарасился на него в ярком изумлении.

– В отеле «Тербон»? – спросил он. – Она же сказала мне сегодня, что вы сняли какую-то комнатку во французском квартале. Вы что хотите сказать – что, выиграв сегодня капельку денег, он по этому случаю должен был срочно собраться и переселиться в отель в такую поздноту, когда ему уже час как надо бы лежать в постели и отсыпаться перед завтрашней гонкой?

– Да ничего я не хочу сказать, мистер, – отозвался Джиггс. – Я только сказал, что пять минут назад видел, как Роджер и Лаверна входили в этот самый отель – чуть по улице отсюда. Почему, я не спрашивал... Можно сигаретку?

Репортер дал ему одну из смятой пачки. За баррикадой голов и плеч, под непрекращающимся дождем конфетти платформы плыли с видом эзотерическим, почти сказочным, неподвижные в своей подвижности, как густонаселенный архипелаг, который подняло приливом и влечет в океан. Теперь другой газетчик – новое лицо, юное, лишенное возраста, зубы торчат вкривь и вкось, как будто он подбирал их на улицах по одному и прилаживал на протяжении лет, – швырнул им, как туза последней, отчаянной надежды, новый вы-

крик:

– Смеющийся Майчик – пятый в Вашингтон-пайке!

– Точно! – вскричал репортер, сияя глазами на Джиггса. – Потому что таким, как вы, и спать-то не надо. Вы же не люди. Для него самая лучшая подготовка к завтрашней гонке – развлекаться ночь напролет. К тому же – сколько это выходит? – тридцать процентов от трехсот двадцати пяти долларов, которые он сегодня выиграл... Пойдем, – сказал он. – Тут улицу переходить не надо.

– Я думал, вы домой шли – так торопились, – заметил Джиггс.

– Да! – крикнул ему репортер через плечо; он не вклинивался в инертную людскую массу, а, казалось, просачивался сквозь нее, как призрак, нигде не деформируясь и не ужимаясь. Повернувшись теперь боком, чтобы Джиггсу было его слышно, гладко проходя между человеческими телами, как игральная карта, он кричал: – Мне надо ночью спать – я не воздушный гонщик; у меня нет самолета, чтобы в нем выспаться; я не могу двадцать пять миль при скорости три мили в час спрессовать в шесть с половиной минут. Пошли, пошли.

Отель был недалеко, и хорошо освещенный боковой подъезд под учтивым навесом с надписью «Тербон» по загнутому вниз бордюру был сравнительно свободен. Выше с флагштока свисал клеенчатый четырехугольник, на котором краской было выведено: «Штаб-квартира Американской воздухопла-

вательной ассоциации. Воздушный праздник по случаю торжественного открытия аэропорта».

– Точно, – крикнул репортер, – здесь, где же еще. Сюда сходятся те, кто не собирается спать в отеле. Точно; одинаковые, нагроможденные ярусами клетушки, тысяча наемных единиц спанья. И если у тебя в кармане достаточно, чтобы продержаться ночь, можно даже и не ложиться.

– Что? – спросил Джиггс, уже выкарабкавшись к стене сбоку от входа. – А... Нагроможденные ярусами б...ушки. Это да; тысяча наемных ягодиц, если у тебя в кармане достаточно. Было бы в моем кармане достаточно – я бы ночь продержался. Хватило бы и на тысячу. Может, еще сигаретка найдется?

Репортер дал ему из смятой пачки еще одну. Джиггс прислонился к стене.

– Я здесь побуду, – сказал он.

– Пошли вместе, – сказал репортер. – Они должны быть тут. Небось только потом узнают, что Гранльё-стрит до полуночи была закрыта... Залихватские у вас сапожищи однако.

– Ага, – сказал Джиггс. Он снова посмотрел на свою правую ступню. – Хорошо, хоть не футболист в бутсах и не грузовик... Я здесь побуду. Кликните меня, если я Роджеру понадоблюсь.

Репортер двинулся дальше; Джиггс опять поднял правую ногу и, стоя на левой, стал тереть кепкой подъем сапога. «Городок, однако, – подумал он. – Здесь ходить – надо знак на

спине носить, что улица закрыта».

«Потому что я еще репортер – по крайней мере, до одной минуты одиннадцатого завтрашнего утра, – размышлял репортер, поднимаясь по пологой лестнице к вестибюлю. – И, думается, надо мне им оставаться вплоть до этого времени. Потому что даже если сейчас, в эту минуту, я уже уволен, все равно там нет и до полудня не будет никого, кому он мог бы дать поручение вычеркнуть меня из платежной ведомости. Поэтому можно будет ему сказать, что это совесть была. Позвонить ему отсюда и сказать, что совесть не позволила мне пойти домой и лечь спать». Он отпрянул, и здесь не застрахованный от столкновения с попугайской маской и бумажным оперением, и проводил взглядом компанию гуляк обоего пола, изрядно пропахших виски и джином и оставивших за собой уплотненные замызганные всхолмления затоптанного конфетти, рассредоточившиеся по кафельному полу перед снующими совками и метлами по-обезьяньи рукастых и гибких уборщиков, которым три ночи, считай, только этим и заниматься; весельчаки исчезли, на мгновение припритиснув репортера к одной из тех афиш-мольбертов, какими разукрасился город. Снимки летчиков у машин, а ниже – аккуратные подписи:

Мэтт Орд, Нью-Валуа. Владелец мирового рекорда скорости для самолетов, действующих с сухопутных аэродромов.

Эл Майерс. Калекско.

Джимми Отт. Калекско.

Р. К. Буллит. Победитель гонки на кубок Грейвза,  
Майами, Флорида.

Лейтенант Фрэнк Горем.

И здесь же подхваченные шифрованными значками (i n g i)<sup>10</sup> петли гирлянд, что придавали некую временность ненадолго разбитой палатки бесконечному, отделанному искусственным плюшем и синтетическим алебастром с позолотой коридору, идущему сквозь всю Америку от океана до океана меж анонимно-наемных помещений, альковов, меж безмянно-фаянсовых женских лиц за фаллическими шеренгами сигар, меж мягких стульев с личной охраной у каждого в виде плевательницы и пальмы в горшке, – коридору, стелющемся сообразной всему остальному красноковерной половицей под только что вычищенной и бездомной обувью и ведущему в зону неумолимой осмотрительности, где безмолвно, неявно и осторожно присутствуют, подразумеваются лизол и ванна; здесь – и афиша, и сцена, и декорации для тех, кто в старые развеселые деньки называл себя «барabanщиками», для символически-бездомного среди латунно-элегантных плевательниц и почтенно-укорененных пальм племени

---

<sup>10</sup> От латинского «Jesus Nazarenus, Rex iudaeorum» – «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Согласно Евангелию – надпись на кресте, на котором был распят Христос.

коммивояжеров – летучих незапамятных опор десяти миллионов субботних американских ночек, тех, чьи сметливые головы полны космических перемен завтрашнего дня в форме новых прейскурантов и телефонных номеров неудовлетворенных жен и старшеклассниц. «А потом на лифте наверх и дзинь коридорному насчет девочек, – подумал репортер. – Да, тысяча нагроможденных ярусами истертых, многожды бравшихся феникс-бастионов наемной женской межножностности».

Но в тот вечер вестибюль наполнился и другой публикой, которая в его глазах уже четко разделилась на две категории. Из обладателей медисон-авенюшных костюмов, что принадлежали к первой, кое-кто, возможно, имел в прошлом звание транспортного служащего такого-то разряда, а может быть, даже сохранил его за собой по сей день подобно тому, как промышленник, некогда бывший механиком или клерком, бережет в новом своем хромированно-геддесовском<sup>11</sup> святилище древний достопамятный клупп или мимеограф, с которого он начинал; у иных же имелись сейчас только скромные крылышки с буквами Q. V.<sup>12</sup>, посредством которых к пахучему лацкану была приколота неброская шелковая ленточка с надписью «Судья» или «Официальный представитель» без всякого намека на транспортный разряд, а у некоторых

---

<sup>11</sup> Норман Бел Геддес (1893-1958) – американский дизайнер и архитектор.

<sup>12</sup> Полностью – «Quiet Birdmen», т. е. «Тихие летуны». Так называлась организация авиаторов, членом которой был и Фолкнер.

и крылышек не было, только ленточка да твид дорогого костюма; другая категория состояла из людей трезвых и молчаливых – трезвых потому, что нельзя пить сегодня и лететь завтра, молчаливых потому, что к разговору надо иметь навык, – в костюмах из синего сержа, которые, казалось, были не просто выкроены из одного рулона, но еще и заутюжены одной машиной и взяты с одной полки, людей с четкими признаками транспортного разряда, находившихся здесь после выматывающего грохота чартерных перелетов с сотни мелких безымянных баз, известных только федеральному министерству торговли, людей, снаряжение каждого из которых составлял он сам, механик и выдавший виды самолет. Репортер двигался среди них, опять не столько проталкиваясь, сколько просачиваясь. «М-да, – думал он, – тут и глядеть не надо. Запаха достаточно – шельмецы пахнут не харрисовским твидом, а уютной машиной».

Потом он увидел ее, стоящую около посуды в испанском стиле, наполненной песком и усеянной окурками, обгорелыми спичками и сгустками жевательной резинки, в старой коричневой шляпке и грязноватом тренчкоте<sup>13</sup>, из кармана которого торчала сложенная газета. «Ну конечно, – подумал он, – ведь тренчокт сгодится кому угодно, так что они могут обойтись двумя – кто-то все равно должен сидеть дома с мальцом». Когда он двигался к ней, она миг смотрела на него в упор взглядом пустым и бледным, совершенно

---

<sup>13</sup> Тренчокт – пальто военного покроя с погончиками и манжетами.

неузнающим, потом отвела глаза, так что, пока он добирался до нее сквозь забитый людьми вестибюль и все последующие три часа, когда вначале он, она, Шуман и Джиггс, а затем те же плюс мальчик и парашютист теснились в такси и он следил за неумолимым цифровым нарастанием счетчика, он, казалось, шел, не перемещаясь, в холодном безлюдье некоего стального коридора, напоминая мошку, попавшую в ружейный ствол, думая: «Вишь ты, Хагуд велел мне идти домой, а я все в толк не мог взять, домой я иду или нет. Но Джиггс сказал мне, что она в отеле, а я не поверил этому во все»; думая (пока бесповоротные цифирки щелкали и щелкали под тусклой настырной лампочкой, пока малыш спал у него на жестких коленях, пока остальные четверо курили сигареты, которые он им купил, и такси катило по темной, пахнувшей болотом ракушечной дороге сначала в аэропорт, потом обратно в город) – думая, что он ведь не рассчитывал увидеть ее опять, потому что завтра не в счет и новое завтра тоже не в счет<sup>14</sup>, ведь то будет на поле, где воздух и земля полнятся рыком и ревом, где они даже не живы, потому что не людского племени. Но только не так, не в теперешней приодетой благопристойности, на которую полиция даже не взглянет, не в ночном людском мире половины одиннадцатого, затем одиннадцати, затем двенадцати; а затем за миллионом отдельных секретных закрытых дверок мы рассла-

---

<sup>14</sup> Отзвук шекспировского «Макбета» («Завтра, завтра, завтра» – акт V, сцена 5).



бимся глубоко и незащищенно на спинах, отверстия для глубокого неспания, для неотвратимой и повелительной плоти. Здесь, в двадцать две минуты одиннадцатого стоит она подле ночной посуды в пиренейском стиле, потому что один из ее мужей летал сегодня на развалюхе, которая три года назад была ничем, которая три года назад была настолько ничем, что потом всем остальным надо было действовать сообща, чтобы понятие «сопоставиться» сохраняло хоть какой-то смысл, так что теперь они не могут остановиться, ведь если они просто даже замедлят ход, собственное их потомство мигом настигнет их и уничтожит подобно тому, как на Борнео что-то там должно размножаться на бегу, чтобы не стать пищей для своего же отродья. «Ага, – думал он, – стоит и ждет, чтобы он мог поворачиваться здесь в своем синем сержевом и во втором тренкоте среди виски и твида, когда ему полагается быть дома, если это слово здесь уместно, и лежать в постели, – правда, они не людского племени и могут обходиться без сна»; размышляя дальше, что, кажется, способен вынести из них хоть кого, если только один на один. «Точно, – подумал он, – нагроможденные клетушки тысячи пустых безьягодичных ночей. Им поторопиться бы, чтобы хоть тот, хоть другой мог лечь с ней в постель», идя напрямик в бледный холодный пустой взгляд, пробудившийся лишь после того, как он протянул руку к карману ее пальто и вытащил сложенную газету.

– Демпси бай-бай уже, наверно? – спросил он, разворачи-

вая газету на странице, чьи заголовки он мог бы продекларировать не читая:

ГОРЕМ СГОРЕЛ  
ЖИТЕЛЬ НЬЮ-ВАЛУА ОТВЕРГАЕТ  
ОБВИНЕНИЕ В АДЮЛЬТЕРЕ  
МАЙЕРС ЛЕГКО ВЫИГРЫВАЕТ ГОНКУ В  
АЭРОПОРТУ ФЕЙНМАНА  
СМЕЮЩИЙСЯ МАЛЬЧИК – ПЯТЫЙ НА  
СКАЧКАХ В ВАШИНГТОН-ПАРКЕ

– Самые лучшие газетные новости – это когда новостей нет вообще, – сказал он, вновь складывая газету. – Демпси спит, поди?

– Да, – ответила она. – Оставьте себе. Я видела уже. – Его лицо все-таки, видимо, на нее подействовало. – А, вспомнила. Вы же сами из газеты. Из этой? Или вы мне говорили, а я забыла?

– Да, – сказал он. – Я вам говорил. Нет, не из этой.

Потом он тоже повернулся; она тем временем уже успела окончить фразу.

– Это тот самый, кто кормил сегодня Джека мороженым, – сказала она.

Шуман был в синем серже, но без тренчкота. На нем была новая серая фетровая шляпа, сдвинутая на затылок и сидевшая не набекрень, как на магазинных рекламных снимках, а

ровно, так что (невысокий, с голубыми глазами на простом, худощавом, предельно трезвом лице) он глядел не из-под нее, а из ее круга с откровенной и фатальной серьезностью, лишенной всякого юмора, как древний бритт, которому было сказано, что римский наместник примет его лишь в том случае, если он раздобудет и наденет центурионский шлем. Один немигающий миг он смотрел на репортера взглядом еще более пустым, чем только что женщина.

– Здорово вы сегодня отлетали, – сказал репортер.

– Да? – отозвался Шуман. Потом перевел взгляд на женщину. Репортер тоже посмотрел на нее. Она стояла как стояла, не пошевелилась, но в более полной теперь и какой-то ужасающей неподвижности, в покрытом пятнами тренкоте, с дымящейся сигаретой в задубелых пальцах с черной подноготной каймой, глядя на Шумана с оголенной, настойчивой сосредоточенностью. – Все, – сказал Шуман. – Пошли. – Но она не двинулась с места.

– Ты их не получил, – сказала она. – Тебе не...

– Нет. Выплата только в субботу вечером, – сказал Шуман. («М-да, – думал репортер в тот момент, когда за ним с герметическим щелчком, одновременно с которым автоматически вспыхнул плафон, захлопнулась дверь, – выстроенные шеренгой гробовые клетушки пустой породы; Великий Американец из миллиарда печатных экземпляров, прикованный к невольничьему столбу, борзо расписанный и растиражированный: заметки о бессмертном гальваническом

зуде и о вечно последней надежде».)

– Опустите, пожалуйста, пять центов за три минуты, – пропел нежный автоматический голос. Сжимая липко припотевший металлический стебель, получая обратно свое дыхание из гуттаперчевой чашечки, он нашаривал, отсчитывал, опускал – и слушал, как скромный шелк и дзинь поглощается глухим кабельным гудом.

– Пять, – проревел он. – Чуете их там? Пять по пять. А теперь не отключайте меня через триста восемьдесят одну секунду, а скажите... алло! – проревел он, горбясь, стискивая трубку, как будто висел, уцепившись за нее, на краю бассейна. – Слушайте меня. Это... Да. В отеле «Тербон»... Да, почти час ночи; я знаю. Слушайте. Шанс для газеты, будь она трижды, сделать что-то в конце концов, а не просто гонять нас как зайцев, чтобы в той половине, которая принадлежит евреям с Гранльё-стрит, печатать то, что они хотят видеть, а в нашей половине не печатать того, чего они не хотят видеть, да еще чтобы пустые места под девизом «Истолкователь мировых дел и ваятель народных помыслов» чем-то заполнять, ха-ха-ха-ха...

– Что? – вскричал редактор. – В отеле «Тербон»? Я же три часа назад, когда вы уходили, велел вам...

– Да, – сказал репортер, – почти три часа, только и всего. Всего-навсего поездка на такси сперва на ту сторону Гранльё-стрит, потом в аэропорт и обратно, потому что у них только сто спальных мест для иногородних летчиков и

все эти места позарез нужны генералу Брюхману для торжественного приема. Так что мы опять сюда, в отель, потому что здесь они все собрались, чтобы дружно его отшить до субботнего вечера, если только паразит не убьется завтра или в субботу днем. И скажите спасибо небесному за...нцу, какой там заседает и властвует над судьбами и прегрешениями этой конторы, за то, что я или хоть кто-то случайно забрел сюда в десять вечера, ведь здесь, где накачивается половина хозяев воздушного праздника и где уже накачался весь карнавал, довольно-таки смешное место, чтобы искать так называемые новости. А ему уже три часа как положено быть в постели, потому что завтра опять лететь, только он не может завтра лететь, потому что сейчас ему некуда лечь, а некуда потому, что у него нет постели, в которую лечь, потому что у них нет денег снять угол, где есть пол, потому что он всего-навсего выиграл сегодня тридцать процентов от трехсот двадцати пяти долларов, а это для хозяев воздушного праздника все равно что зонтик одолжить, не больше, а парашютист помочь ничем не может, потому что Джиггс забрал его двадцать долларов и...

– Что? К чему это все? Пьяный вы, что ли?

– Нет. Слушайте. Просто минуту помолчите и послушайте. Когда я увидел ее в аэропорту сегодня, они были на ночь устроены, я вам пытался это втолковать, но вы сказали, это не новости; в общем, сказали, спит человек или нет и если не спит, то почему, это не новости, а новости только то, что он

делает, когда не спит, если, конечно, люди, которые поставлены выбирать и решать, скажут, что это новости. Да, я пытался втолковать, но я всего-навсего жалкая дрянь, которая лезет куда не надо со своей вшивой помощью; я, считается, не могу распознать новости, когда их вижу, иначе мне платили бы не тридцать пять в неделю, а больше... На чем бишь я остановился? А, да. Была комната переночевать, потому что они здесь со среды и какое-то место надо им было иметь, где дверь запирается и где хоть что-то из одежды можно снять, по крайней мере тренчкот подстелить и самим улечься, потому что где-то же они брились: у Джиггса такой порез на щеке, какого тебе не сделают даже в парикмахерском училище. Так что они были устроены, только я не спросил где, в какой гостинице, потому что знал, что у нее нет названия, только вывеска на столбе под балконом, которую старик сделал однажды в субботу, когда радикулит чуток отпустил и он намылился в центр прошвырнуться, но она не пускала его, пока он не сделает вывеску и не прибудет; поэтому какой толк мне был спрашивать: «Где вы остановились? На какой улице?» – ведь я репортер, а не воздушный гонщик, ха-ха-ха, и, следовательно, название все равно ничего бы мне не сказало. Значит, были устроены, и сегодня он выиграл эти деньги, а я стоял там, держал мальчика на плечах, а она сказала: «Есть», одно это слово: «Есть». А потом я понял, что она не шевелилась все эти шесть с половиной минут или, может быть, шесть целых и четыре тысячи девятьсот пятьдесят две

десятитысячных или сколько там вышло; больше ничего не сказала, только это «Есть», и все вроде как было в порядке, даже когда он подрулил с летного поля и мы не могли найти Джиггса, чтобы тот помог завести машину в ангар; он сказал только: «За юбкой, наверно, дернул за какой-нибудь», и мы закатали машину, и он пошел в контору получать свои сто семь пятьдесят, а потом мы ждали парашютиста, когда он приземлится, и первым, что он спросил, вытирая глаза от муки, было: «Где Джиггс?» Она ему: «А что?» А он отвечает: «Он за деньгами моими пошел, вот что». И тут она: «О Господи...»

– Послушайте! Послушайте меня! – закричал редактор. – Послушайте!

– Механик он, механик. В бриджах, которым на «молнии» следовало быть и сниматься, как кожура с двух бананов, иначе непонятно, как он их стаскивает на ночь, в теннисных туфлях и в отрезанных сапожных голенищах, которые держатся на приклепанных штрипках. Пока парашютист, так сказать, возвращался с работы, он забрал причитавшиеся ему двадцать долларов, потому что парашютист получает двадцать пять за несколько секунд полета минус те пять, что он отдает пилоту транспортного самолета за доставку к месту службы, да еще мука восемь центов фунт, но сегодня за муку уже было заплачено, так что чистыми вышла двадцатка. Джиггс ее забрал и ходу, потому что они сколько-то ему были должны и он решил, что раз Шуман выиграл гонку,

он выиграл и живые деньги, как в программке сказано, и не только сможет заплатить за предыдущую ночевку в бардаке, где они...

– Вы слушать меня будете? Будете? А?

– Конечно, конечно. Я слушаю. Так что я выхожу на Гранльё-стрит, думая о том, что вы велели мне идти домой и пи... идти домой, и размышляя, каким, к чертовой матери, способом вы хотели перекинуть меня через Гранльё-стрит до полуночи, и тут вдруг слышу переполох и матюги, оказывается – Джиггсу кто-то наступил на ногу и оцарапал новенький сапог, только до меня не сразу дошло, что к чему. Он только сказал мне, что видел, как она и Шуман входят в отель «Тербон», потому что он сам только это и знал; думается, он не стал в аэропорту задерживаться, а как получил деньги парашютиста, так сразу с ними в город покупать сапоги, а потом, гуляя в них, дошел до того места, до отеля, куда они только-только добрались из аэропорта и где Шуман попытался получить свои сто семь пятьдесят, но получил шиш с маслом. А я все равно не мог перейти Гранльё-стрит, поэтому мы пошли с ним к отелю «Тербон», хотя это последнее место в городе, где репортеру может найтись дело после половины одиннадцатого вечера, потому что там весь воздушный праздник в это время наклюкивается, а половина Марди-Гра наклюкалась уже, – но не важно; это я повторяюсь. Приходим мы, но Джиггс внутрь не хочет, а я все еще не понимаю, что к чему, хотя сапоги-то заметил. Вхожу поэтому



один и вижу ее – стоит около мексиканского ночного горшка в вестибюле, где полным-полно поддатых личностей с ленточками на лацканах сильно небритых пиджаков, и все они поздравляют друг друга с тем, что, надо же, аэропорт обошелся в миллион долларов, и с тем, что, может, дня через три они придумают, как потратить второй миллион, чтобы первому не было скучно. И тут он подходит, Шуман, и она делается неподвижной того горшка и глядит на него, а он говорит – нет, не хотят платить до субботы, а она ему: «Ты старался? Старался?» В смысле, получить хоть часть из ста семи долларов, чтобы они смогли лечь спать, а ребенок – тот уже спал на диване у бордельной мадам, а парашютист остался с ним на случай, если он проснется. И вот они с Амбуаз-стрит отправились пешком в этот отель, идти-то всего ничего, и то и другое в черте города, чтобы взять хоть что-то из денег, которые он вообразил, будто выиграл, а я переспросил: «Амбуаз-стрит?» – потому что днем она сказала только, что у них комната во французском квартале, а теперь она сказала: «Амбуаз-стрит», глядя на меня и даже не сморгнув, а, если вам невдомек, какого сорта заведения на Амбуаз-стрит, спросите вашего сынка или еще кого-нибудь; вам предоставляют кровать и два полотенца, а чем покрыться или кого покрыть – ваше личное дело. Так что они отправились на Амбуаз-стрит и сняли там комнату; они всегда так делают, потому что на таких вот Амбуаз-стрит можно, ночь переночевав, расплатиться назавтра и шляха всегда найдет, куда при-

ткнуть мальчика в долг. Только вот они еще не рассчитались за прошлую ночь и поэтому с утра освободили комнату, чтобы не рисковать, а в городе ведь воздушный праздник, не говоря уже о Марди-Гра, желающих много. И вот они оставили ребенка спать на диване у мадам и пошли в отель, и Шуман сказал, деньги будут только в субботу, а я говорю: «Ничего страшного, со мной Джиггс, он у входа ждет», но они на меня даже не посмотрели. Потому что до меня еще не дошло, что Джиггс потратил деньги, вот какая штука; потом мы выходим брать такси, а Джиггс все стоит, подпирает стену, Шуман смотрит на него и говорит: «Ты тоже садись. Съесть я их все равно не съем, хоть и остался без обеда», и Джиггс идет к машине, но как-то странно, бочком, потом нырять в нее, точно в курятник, и примащивается на маленьком сиденьице, поджав под себя ноги, но я даже тогда еще не раскумекал, что к чему, даже когда Шуман ему сказал: «Ты там люк какой-нибудь присмотри и стой в нем, пока Джек не сядет в машину». Расселись мы, и Шуман говорит: «Мы и пешком могли бы», а я ему: «Как? На ту сторону Гранльё-стрит – это до самой Лэньер-авеню», и это были первые доллар восемьдесят, а, как мы приехали, расчистить себе выход из машины стоило труда; да, у них была там запарка; мы вошли и увидели мальчика, он уже проснулся и ел сэндвич, за которым мадам посылала девку, и там же сидели мадам, маленькая молоденькая шлюшка и шлюшкин толстяк в одной рубашке и штанах со спущенными подтяжками, сидели и играли с мальчиком,

толстяк порывался купить ему пива, а пацаненок знай себе рассиживал и разглагольствовал про то, как его папаша лучше всех в Америке взял пилон, а Джиггс – тот застрял в коридоре и все не входил, потом стал дергать меня за рукав, пока наконец я не расслышал, что он мне шепчет: «Слушай, друг. Найди мой мешок, развяжи – там теннисные туфли и сверток бумажный, в нем, если пощупать, лежит вроде как... ну... штука такая сапоги снимать, передай мне – слышишь?», а я ему: «Что? Что там лежит?» – и тут парашютист, который был в комнате, спрашивает: «Кто там еще стоит? Джиггс?» – и никто не отвечает, и парашютист говорит: «Иди сюда», и Джиггс подвинулся чуть поближе, так что парашютист только лицо его и мог видеть, а парашютист опять: «Иди сюда», и Джиггс подвигается еще чуть-чуть, а парашютист: «Ну иди же сюда», и Джиггс наконец появляется на свету, подбородок уперт между карманами рубашки, голова повернута на сторону, а парашютист медленно так оглядывает его с ног до головы и обратно, потом говорит: «Ну сукин сын», а мадам: «Совершенно с вами согласна. На такой покупке сорок центов не захотели скостить, евреи поганые», а парашютист ей: «Сорок центов?» Да, так оно и было. Сапоги были двадцать два пятьдесят. Джиггс уплатил за них вперед два десять и должен был отдать пять долларов легчику парашютиста, так что у него осталось ровно двадцать долларов даже при том, что он на автобусе проехал бесплатно, и поэтому ему пришлось занять сорок центов у мадам; из аэропорта он, значит,

выехал в пять тридцать и должен был успеть до шести, когда магазин закрывался; они уже дверь собирались захлопнуть, но он добежал и в последний момент туфлю свою теннисную поставил в проем. Мы расплатились с мадам, и это оказалось еще пять сорок, за комнату она взяла с них только трешку за прошлую ночь, потому что они перебрались в ее комнату и освободили ту, так что она смогла использовать ее для дела в самое горячее время перед полуночью, поэтому за ночлег она взяла только три доллара, а остальные два была плата за автобус. И теперь, значит, мы еще мальчика посадили и парашютиста, но шофер был не против, потому что в аэропорт ехать долго и выгодно. В программке было сказано, что там имеется сто мест для иногородних летчиков, а в вестибюле отеля «Тербон» если даже двоих-троих из них не хватало, то потому только, что они заблудились и еще не дошли, и к тому же вы пообещали меня уволить, если меня завтра с утра пораньше там не будет... точнее, сегодня уже... Было одиннадцать часов – считай, почти уже завтра, и к тому же для газеты экономия, за мой обратный путь на такси не платить. Вот, значит, как я рассудил, потому что, как и они, плохо понимал про воздушные праздники, и мы багаж весь вытащили, оба их чемодана и Джиггсов мешок, и вышли там, это встало еще в два доллара тридцать пять, а ребенок опять спал, так что один из долларов, может, был пульмановской надбавкой. Там толпища еще не рассосалась, все стояли и глазели в небо, туда, где пролетел этот Горем, и на жженую

ямину на поле, где он врезался, и мы не могли там оставаться, потому что у них только для сотни иногородних летчиков были места и полковнику Фейнману они все понадобились для приема. Вот оно как – для приема. Аэропорт отгрохал и теперь баб приемистых туда навез, выпивку поставил, двери все на замок, окошки информационные и билетные кассы позакрывал, и если они не пихают себе деньги под чулки, то это уже называется – прием. Выходит, переночевать там негде, так что мы обратно в город, и это еще два шестьдесят пять, потому что ту машину мы отпустили, а новую вызывать пришлось по телефону, телефон – десять центов, а двадцать из-за того сверх набежало, что мы не на Амбуаз-стрит, мы сюда, в отель, потому что они еще здесь и он может по новой к ним обратиться за своими деньгами, по-прежнему думая, что воздушные гонки – это такой спорт, такое занятие, каким руководят люди, способные на секунду остановиться, пусть даже в первом часу ночи, высчитать, сколько это будет – тридцать процентов от трехсот двадцати пяти, – и дать их ему по той единственной причине, что обещали дать, если он совершит то-то и то-то. Так что теперь шанс для истолкователя мировых дел и ваятеля народных помыслов что-то...

– Опустите, пожалуйста, пять центов за три минуты, – сказал нежный автоматический голос. В безвоздушной камерке репортер, стискивая липкую припотевшую трубку, шарил в поисках пятака, затем вновь скромный шелк и дзинь был поглощен мертвым кабельным гудом.

– Алло! Алло! – проревел он. – Вы меня отключили; верните мне мои... – Но вот на редакторском столе опять зазвенело; затем промежуток осатанело-апоплексического ожидания; затем из глухого кабельного гуда донесся полновзвучный щелк, предвеля лавинное, прорывающее дамбы.

– Уволен! Уволен! Уволен! Уволен! – завопил редактор. Он сидел, сорокапятиградусно нависая над столом, зеленовато подсвеченный теперь уже ниже надглазного козырька, и прижимал к себе аппарат и трубку, словно он их поймал, словно он – сшибленный наземь крайний защитник, остановивший мяч у самой зачетной черты; тогда как предыдущие пять минут, аккуратно положив трубку на рычаги и ожидая повторного звонка, он просидел в кресле неподвижно и совершенно прямо, белея костяшками стиснувших подлокотники пальцев и поблескивая зубами из полуоткрытого рта в оцепенелой ярости ожидания. – Вы меня слышите?! – прокричал он.

– Да, – сказал репортер. – Слушайте. С этим сукиным сыном Фейнманом я бы связываться не стал; нужный человек здесь, в вестибюле, позвать его, и все. Или слушайте. Даже этого не надо. Им до завтра хватит нескольких долларов на еду и ночлег; позвоните завтра в редакцию и скажите, чтобы позволили мне расплатиться за счет газеты; я тогда просто добавлю к одиннадцати восьмидесяти, которые я уже...

– Вы намерены меня слушать? – спросил редактор. – Вы. Намерены?

– ...потратил на поездку туда и... Что? Конечно. Конечно, шеф. Валяйте.

Редактор снова собрался с силами; он, казалось, вытянулся в длину и нависал теперь над столом еще дальше и плотнее подобно тому, как защитник, уже спасший команду от гола, сбитый на землю и придавленный, пытается выгадать еще дюйм-другой; теперь он даже перестал дрожать.

– Нет, – сказал он; медленно и отчетливо сказал: – Нет. Понимаете меня? НЕТ.

Теперь и он слышал только мертвый кабельный гуд, как будто другой конец провода лежал за пределами атмосферы, в холодном космосе; словно ему вмятен был теперь глас из недр бесконечности, глас пустоты самой, наполненной холодным беспрестанным бормотанием негаснущих, обессиленных зонами звезд. Чья-то рука внесла в настольный круг света первый оттиск для завтрашнего номера – аккуратный непросохший ряд прямоугольников, лишенных, по обыкновению этой газеты, общей крупно набранной шапки и вследствие этого не несущих в себе, поскольку нового в них ничего не содержалось от века, ничего пугающе-сенсационного, – поперечный разрез пространства-времени, след светового луча, пойманного линзой лампы-вспышки на долю секунды меж бесконечностью и яростной тривиальностью праха:

ФЕРМЕРЫ  
ОТКАЗЫВАЮТ

ОТВЕРГАЮТ  
БАСТУЮЩИЕ

БАНКИРЫ  
ТРЕБУЮТ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ЯХТА ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ  
СНИЖАЮТСЯ ПЯТЕРО БЛИЗНЕЦОВ  
ПРИБАВЛЯЮТ В ВЕСЕ БЫВШИЙ СЕНАТОР РЕНО  
ПРАЗДНУЕТ ДЕСЯТУЮ ГОДОВЩИНУ СВОЕГО  
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Но вот кабельный гуд ожил.

– То есть вы не намерены... – сказал репортер. – Не хотите...

– Нет. Не хочу. И не буду даже пытаться объяснить вам, почему я не желаю или почему не могу. Теперь слушайте. Слушайте внимательно. Вы уволены. Вам понятно? Вы больше не работаете в этой газете. И вы не будете работать ни в одном из известных этой газете мест. Если я завтра узнаю, что вы в такое место устроились, я с Божьей помощью собственноручно выдеру из газеты их рекламу. У вас есть дома телефон?

– Нет. Но на углу есть будка; я...

– Тогда идите домой. И если вы в течение ночи еще хоть раз позвоните в этот отдел или в это здание, я позабочусь о том, чтобы вас привлекли за бродяжничество. Идите домой.

– Хорошо, шеф. Раз вы такого мнения об этом – ладно. Мы пойдем домой, завтра у нас гонка... Шеф! Шеф!

– Да?

– А мои одиннадцать восемьдесят? Я ведь еще работал у вас, когда их по...



# НОЧЬ ВО ФРАНЦУЗСКОМ КВАРТАЛЕ

Теперь им можно было пересечь Гранльё-стрит. Транспорт по ней уже ходил; на перекрестке по сигнальному световозвонку трамваи и автомобили с лязгом и фырком устремлялись вперед, тарашась фарами и взметая вялым дрейфокружением останки свирепо колесованного серпантина и затоптанного конфетти в руслах притротуарных желобов – этот ожидающий одетых в белое рассветных уборщиков мишурный навоз с проплывших, как вереница нильских ладей Момма<sup>15</sup>, потешных гремучих катафалков. По команде световозвонка, клейменные им, нагруженные двумя чемоданами из искусственной кожи и парусиновым мешком из-под муки, они могли теперь идти через улицу, но репортер, на которого смотрели остальные четверо, стоял, по-прежнему держа сонно привалившегося к его плечу мальчика, на самой кромке притротуарного желоба в колеблющейся предполетной неподвижности, как воронье пугало, долгим воздействием ветров расшатанное настолько, что оно вовсе уже лишилось придававшей ему прямоту и устойчивость связи с землей и готово было при первом же случайном легком дуно-

---

<sup>15</sup> Мом – в древнегреческой мифологии сын Никты (Ночи), олицетворение насмешки, порицания и злословия.

вении взмыть и развеяться без следа. Вдруг он пустился в некий размашистый галоп, мигом набрав перед остальными, не успели они двинуться с места, фору футов в пятнадцать – двадцать, двигаясь поперек слепящего противостояния автомобильных фар словно бы без всякого соприкосновения с землей, подобно одному из тех сказочных существ летуче-мышьиной породы, чьих гнезд или жилищ никто никогда не видывал, которых можно лишь мгновенно засечь световым лучом посреди пикирующего броска из ниоткуда в никуда.

– Джека, кто-нибудь, у него возьмите, – сказала женщина.  
– Я бо...

– Ничего, ничего, – сказал парашютист, который нес один из чемоданов, другой рукой придерживая ее под локоть. – На него не скорей кто-нибудь наедет, чем на стеклянный столб. Или чем на бумажный пакет с пустыми пивными бутылками.

– Он, правда, может повалиться и ребенка собой надвое разрезать, – сказал Джиггс. Потом добавил (что хорошо, то хорошо, ему и на третий раз нравилось не меньше): – Или, как перейдет на ту сторону, смекнет, что кладбище, наверно, тоже открыли, а Джеку это зачем?

Передав свой мешок Шуману, он упруго и словно с подскоком, поблескивая сапогами в напряженной неподвижности параллельно выстроившихся фар, зачастил короткими ногами, опередил женщину с парашютистом и, догнав репортера, потянулся к мальчику снизу вверх.

– Дай-ка, – сказал он.

Репортер, не замедляя шага, уставился на него чудным тускло-остекленелым взглядом мало спавшего человека.

– Я держу, – сказал он. – Он не тяжелый.

– Это да, – сказал Джиггс, стаскивая, как рулон парусины с полки, спящего мальчика с плеча репортера в тот момент, когда они одновременно ступили на противоположный тротуар. – Но тебе, чтобы до дому дойти и не заблудиться, лучше башку ничем другим не занимать.

– Точно! – крикнул ему репортер.

Они приостановились, оборачиваясь, поджидая отставших; репортер все так же чудно, все так же ошеломленно пялился на Джиггса, который держал мальчика, прилагая не больше видимых усилий, чем когда нес хвост аэроплана, и теперь тоже полуобернувшись, пребывая в равновесии легонько воткнутых в стол коротких портновских ножниц, чуть подавшись вперед, как оброненный охотничий нож. Остальные все еще переходили проезжую часть – женщина, которая каким-то образом даже юбку ухитрилась носить под бесполым тренчком так, как носил бы ее любой из троих мужчин; высокий парашютист с подернутым теперь угрюмой задумчивостью красивым лицом; позади них Шуман в опрятном сержевом костюме и новой шляпе, которая даже сейчас казалась в точности такой же, какой ее сработала и снабдила клеймом машина, и нахлобученной не на голову, а на магазинную болванку; причем все трое видом своим выражали то самое, что, в случае Джиггса бу-

дучи лишь рассеянной и беззаботной несостоятельностью, в них приняло форму непоправимой бездомности троих иммигрантов, спускающихся по сходням с океанского судна в толпе пассажиров четвертого класса. Когда женщина и парашютист ступили на тротуар, светозвонок вновь просигналил и, не успев отзвучать, был поглощен вздымающимся механическим гулом трогаящегося транспорта; Шуман вспрыгнул на тротуар с неожиданным и невероятным легкожестким негнушимся проворством, ни на йоту не изменив ни выражение лица, ни угол шляпы. И вновь, теперь позади них, из желобов одновременно с вяло тревожащими, подсасывающими порывами поднятого машинами ветра взметнулось дрейфокружение казненного серпантина и замученного конфетти. Репортер теперь уже на всех, собравшихся вместе, пялился ошеломленным своим, напряженным, требовательным взглядом.

– Ну сволочи! – крикнул он. – Ну сукины дети!

– Это точно, – сказал Джиггс. – Куда теперь?

Еще секунду репортер продолжал на них пялиться. Потом повернулся и направился, словно был приведен в движение не каким-либо произнесенным словом, а чистым тяготением их терпеливо-бездомной пассивности, в темное жерло улицы, чей тротуар был настолько узок, что им пришлось следовать за репортером гуськом под навесом балконов с невысокими железными решетками. Пустая и лишенная всякого освещения, если не считать отсветов с оставшейся поза-

ди Гранльё-стрит, улица пахла илистой слякотью и чем-то другим еще, насыщенно-безымянным, чем-то средним между кофейной гущей и бананами. Оглянувшись, Джиггс попытался разобрать название, истертой буквенной мозаикой впечатанное в тротуарную кромку, и не сразу понял, что беда не только в том, что он ни разу в жизни этого слова, этого имени не видал и не слышал, но и в том, что он смотрел на него не с той стороны. «Да-а, – подумал он, – назвать это улицей, да еще дать ей имя – на это только француз галантный и мог сподобиться». За ним, несшим на плече сонного мальчика, следовали цепочкой трое других, и все четверо бесшумно поспешали за торопящимся репортером, словно Гранльё-стрит с ее светодвижением была Летой, через которую они только что переправились, а они – четверкой теней, уже выхваченных из мира, где живут живые, и в тихой сумеречной бестревожности ведомых в окончательное забвение провожатым, который, казалось, не только обитает здесь достаточно долго, чтобы стать полноправным гражданином, тенью среди теней, но и, судя по всем внешним признакам, здесь рожден. Репортер по-прежнему разглагольствовал, но они, казалось, не слышали его, как будто не успели еще отлепить от ушей человеческую речь и слова провожатого до них не долетали. Вот он опять остановился, опять повернул к ним ярое, требовательное лицо. Еще один перекресток – два узких беспотолочных туннеля, похожих на обвалившиеся штольни и помеченных двумя бледными стрелками одно-

стороннего движения, которые, казалось, притянули к себе и удерживали в слабонасыщенно-взвешенном состоянии весь свет, какой там был. Потом Джиггс увидел на левой стороне улицы нечто наделенное светом и жизнью – вереницу машин, стоящих вдоль тротуара под электрической вывеской, названием, заставлявшим темную железную решетку вековечных балконов контрастно вырисовываться узкой невесомой кружевной лентой. На сей раз Джиггс сошел с тротуара и разобрал-таки название улицы. «Марсель-стрит, – прочел он. – Ага, точно, – подумал он. – Мамзель-стрит. Должно быть, наше вчерашнее жилье маленько заплутало по дороге домой». Поэтому поначалу он не слушал репортера, который теперь держал их в неподвижности живой картины, похожей (только шляпа Шумана мешала) на изображения городских анархистов в комиксах; подняв наконец глаза, Джиггс увидел, как он уже понесся к яркой вывеске. На худой длинный удаляющийся летучемышиный силуэт смотрели сейчас все четверо.

– Я не собираюсь ничего пить, – сказал Шуман. – Только спать.

Парашютист сунул руку к женщине в карман тренчкота и вытащил пачку сигарет, третью из тех, что репортер купил перед первым их выходом из отеля. Он зажег сигарету и с видом завзятого кутилы пустил дым из ноздрей.

– Ты и ему это говорил, – сказал он.

– Насчет выпивки, что ли? – спросил Джиггс. – Господи,

так он об этом разорвался все время?

Они смотрели на репортера, на его долговязый разболтанный бег в хлопающем пиджаке к веренице стоящих машин. Увидели газетчика, появившегося невесь откуда и уже протягивающего свой товар репортеру, который, беря и платя, почти не замедлил движения.

– Вторую уже за ночь покупает с тех пор, как мы его встретили, – сказал Шуман. – Я думал, он в какой-то из них работает.

Парашютист затянулся еще раз и вновь пустил две разгульные струи дыма.

– Может, его с души воротит читать свою собственную писанину, – сказал он. Женщина резко двинулась с места; подойдя к Джиггсу, она потянулась к мальчику.

– Дай возьму его пока, – сказала она. – Ты и этот, как его, весь вечер с ним ходите.

Но не успел Джиггс отдать ей ребенка, подошедший парашютист тоже протянул к спящему руки. Женщина посмотрела на него.

– Не лезь, Джек, – сказала она.

– Сама не лезь, – сказал парашютист. Он взял мальчика у них обоих, не мягко и не грубо. – Подержу, ничего страшного. Кормлю-пою, так и поносить тоже могу.

Он и женщина посмотрели друг на друга мимо спящего мальчика.

– Лаверна, – сказал Шуман, – дай-ка мне сигарету одну.

Женщина и парашютист всё смотрели друг на друга.

– Чего ты хочешь, не пойму? – спросила она. – Всю ночь шататься по улицам? Или посадить Роджера на вокзале, а завтра давай, выигрывай гонку? Хочешь, чтобы Джек...

– Разве я что сказал? – спросил парашютист. – Просто мне морда его не нравится. Но это ладно, Бог с ним. Мое личное дело. Но сказал я что-нибудь разве? А?

– Лаверна, – повторил Шуман, – дай мне сигарету.

Но единственным, кто пошевелился, был Джиггс; он подошел к парашютисту и взял у него ребенка.

– Дай ты мне его, господи, – сказал он. – Так до сих пор и не научился носить.

Откуда-то из мертвой тьмы узких улиц внезапным взрывом донесся шум кутежа – резкий, набухший, приглушенный стенами, словно бы идущий из низкого дверного проема или из пещеры – из какого-то безвоздушного, наполненного одним дымом помещения. Потом они увидели репортера. Он вырисовался под электрической вывеской, возникнув из совершенно пустой каверны с кафельным полом и кафельными стенами, похожей на недоделанную душевую при спортивном зале и обрамленной двумя рядами укромных занавешенных кабинок. Из одной несколько раньше вышел официант с лицом фавна и несколькими пнями гниющих зубов во рту – вышел и узнал его.

– Слушай, – сказал ему репортер. – Мне нужен галлон абсента – сам знаешь какого. Это для знакомых моих, но я тоже



буду пить, и они не из туристиков, что приезжают на Марди-Гра. Так Питу и скажи. Понял меня?

– А как же, – сказал официант.

Он повернулся и, двинувшись в глубь помещения, прошел на кухню, где на него поднял глаза-топазы, услышав от него фамилию репортера, мужчина в шелковой рубашке с копной курчавых черных волос, сидевший за оцинкованным железным столом и евший из громадного блюда.

– Говорит, ему настоящего, – сказал официант по-итальянски. – С ним друзья. Я думаю, я джину ему дам.

– Абсент? – спросил другой, тоже по-итальянски. – Ну, так сделай ему абсент. Почему нет?

– Он настоящего просил.

– Само собой. Дай ему. Позови мамашу.

Он вновь принялся за еду. Официант вышел в другую дверь и чуть погодя вернулся с галлоновой стеклянной бутылю чего-то бесцветного, сопровождаемый благопристойной увядшей старой дамой в безукоризненно чистом переднике. Официант поставил бутылю на край раковины, и старая дама вынула из кармана передника маленький флакон.

– Проверь – парегорик<sup>16</sup> это? – сказал сидевший за столом, не поднимая от еды глаз и не переставая жевать. Официант наклонился и посмотрел на флакон, из которого дама уже цедила жидкость в бутылю. Она налила примерно унцию; официант покачал бутылю и посмотрел на свет.

---

<sup>16</sup> Парегорик – камфарная настойка опия.

– Еще чуток, мадонна, – сказал он. – Цвет не совсем еще.

Он понес бутылку из кухни; затем репортер, держа ее в руках, возник под электрической вывеской; стоявшие на углу четверо смотрели, как он приближается разболтанным своим галопом, – казалось, на следующем шагу не упадет даже, а рассыплется совсем.

– Абсент! – вскричал он. – Настоящий нью-валуазийский абсент! Я же говорил – я с ними знаком. Абсент! Мы отправимся домой, я угощу вас настоящим нью-валуазийским, и к чертям собачьим всю ихнюю свору! – Он смотрел на них, сияя, жестикулируя теперь уже бутылку. – Ну гады! – воскликнул он. – Ну сукины дети!

– Осторожней! – крикнул ему Джиггс. – Чуть о столб не раскокал! – Он сунул мальчика Шуману. – На, понеси, – сказал он и, ринувшись вперед, протянул руку к бутылке. – Дайка я.

– Всё. Домой! – вскричал репортер. Держа бутылку с Джиггсом в две руки, он пялился на всех ярим, просветленным взглядом. – Хагуд не знал, что ему придется меня уволить, чтобы отправить домой. И вот что – слушайте! Я больше у него не работаю, поэтому он никогда не узнает, пошел я домой или нет!

Сам же редактор после того, как за ним лязгнула дверь лифта, нагнулся и взял часы, лежавшие циферблатом вниз на стопке газет, на этом таинственно-шифрованном и сухо-ритмично-отрывистом поперечном разрезе мига, кристаллизо-

вавшегося и уже два часа как мертвого, хотя смерть коснулась лишь временной стороны этого мига, тогда как сама его субстанция мало того что не умерла, не приобрела завершенности, но еще и была исполнена, заключая в себе всю неразрешимую загадку глупостей и заблуждений людских, трагически-тщетного бессмертия:

## ФЕРМЕРЫ БАНКИРЫ БАСТУЮЩИЕ ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОГОДА НАСЕЛЕНИЕ

Теперь уже лифтер спросил время.

– Полтретьего, – сказал редактор. Кладя часы обратно, он без какой-либо зримой задержки или расчета поместил их точнехонько в середину строки заголовков, так что теперь таинственно-шифрованная полоса оказалась ровно пополам разделена дешевым металлическим диском, являвшим собой слепую изнанку самой великой и самой неотвратимой загадки из всех. Кабина остановилась, выдвижная дверь отъехала. – Спокойной ночи, – сказал редактор.

– Спокойной ночи, мистер Хагуд, – сказал лифтер. Дверь за вышедшим лязгнула еще раз. В стеклянных уличных дверях, где пять часов назад увидел себя репортер, теперь отразился редактор – невысокий сидячего склада мужчина в поношенных брюках гольф из дешевой ткани под твид, в туфлях для гольфа на резиновом ходу, но при этом в шелковом шарфе и в недвусмысленно говорившем о деньгах пиджаке

из шотландской шерсти, из одного кармана которого выглядывали воротничок и галстук, снятые, вероятно, в некотором часу пополудни уже на второй или третьей метке для мяча; а поверх всего этого – лысая, как шар, голова, роговые очки, лицо умного аскетизма, обманутого в чаяниях и надеждах, лицо старшекурсника Йельского или, возможно, Корнеллского университета, застигнутого врасплох, возмущенного и ошеломленного внезапным и зловредным постарением; и человек этот ровным шагом шел теперь навстречу ему, пересекающему вестибюль, так что кто-то – он или отражение – должен был уступить дорогу, и в конце концов оно, как и перед репортером, метнулось в сторону и исчезло, а он спустился по двум пологим ступеням в холодок медлительного зимнего предрассвета. У тротуара стоял его «родстер», рядом ждал дежурный шофер-механик из работающего круглые сутки гаража, а из открытого кузова, слегка клонясь, аккуратно поблескивая и откликаясь на блеск хромированных частей, разбросанных по матово-серебристой поверхности машины, торчали клюшки для гольфа, отдаленно напоминающие акушерский инструментарий. Шофер открыл перед Хагудом дверцу, но редактор жестом пригласил его в машину.

– Мне надо во французский квартал, – сказал он. – Довезите меня до вашего угла.

Шофер скользнул, худощавый и быстрый, мимо мешка с клюшками и рукоятки скоростей к рулевому колесу. Ха-

гуд негибко, по-стариковски опустил на низенькое сиденье, и тут мешок с клюшками без всякого предупреждения, без всякого предостерегающего окрика стукнул его по голове и плечу с затаившимся и, казалось, рассчитанным зловредством, издав краткий сухой челюстной перестук, как будто некий взятый в людское жилье, но недоприрученный хищник – скажем, домашняя акула – скрежетнул зубами полушутливо-полусмертельно. Хагуд отпихнул мешок обратно и секунду спустя едва успел поймать его, чуть не получив повторный удар.

– Почему его назад было не положить, на откидное? – спросил он.

– Сейчас положу, – сказал шофер, открывая дверь.

– Теперь уже не важно, – сказал Хагуд. – Поехали. Мне, чтобы попасть домой, еще через весь город шпарить.

– Да, когда кончится этот Модди-Гроу, нам всем полегчает, – сказал шофер.

Автомобиль тронулся; он мягко взял с места и, подвижно зависнув, поплыл по переулку с опадающим механическим подвывом; затем, выехав на авеню, рванул, набирая скорость, – машина дорогостоящая, сложная, тонко устроенная и до мозга костей бесполезная, сработанная для удовлетворения некой неясной психической потребности нашего вида, если не расы, из девственных ресурсов континента, чтобы новоявленное безногое племя обрело в ней индивидуальные мышцы, скелет и органы, – рванул, выехав на пу-

стую авеню, обрамленную пурпурно-золотыми бумажными гирляндами, которые шли от столба к столбу, прикрепленные к ним шифрованными значками – символами смеха и веселья, теперь исчезнувших, сгинувших. Автомобиль мчался по темной безлюдной улице, концентрируя перемещение свое и выражаемую им денежную сумму в одном-единственном вкрадчиво освещенном маленьком круге, где, подбираясь к некоему еще не явленному крещендо окончательного триумфа, чьими единственными очевидцами суждено было стать бродягам, неуклонно росли ничего не значащие числа. Шофер сбавил скорость и затормозил так же мягко и мастерски, как тронулся с места; он выскользнул из машины еще до полной остановки.

– Ну вот, мистер Хагуд, – сказал он. – Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – отозвался Хагуд. Когда он пересаживался на водительское место, мешок с клюшками безмолвно изготовился ударить. На сей раз Хагуд с силой отшвырнул его подальше, в другой угол. Машина вновь поехала, но теперь это была другая машина. Она тронулась с яростным, принужденным, едва посильным креном, словно в момент остановки, помимо второго мужчины, более молодого, ее покинула какая-то важная часть механизма; затем покатила дальше и свернула на Гранльё-стрит, минуя бездействующий теперь светозвонок. На каждом из светофоров тускло и ровно маячил желтым средний глаз, и на четырех углах перекрестка теперь молочно били струи из пожарных гид-

рантов, подле которых высились, по одному у каждого, четверо неподвижных одинаковых мужчин в белом, похожих на пародийных врачей-интернов в комедиях, в то время как заплетенные косами потоки уносили по желобам мусорные конфетти-серпантинные останки скончавшегося вечера. Машина проплыла перекресток и углубилась в квартал узких каньонов, обвалившихся штолен, увешанных железным кружевом, теперь она пошла быстрее, теперь внизу был булыжник, вверху – низкое пасмурное небо, по сторонам – стены из густого, хриплого, невыносимого рева, как будто все былое эхо висело в этих узких улицах невидимым туманом и оглушительно, чудовищно пробуждалось даже этими пневматическими шинами и обтекаемым корпусом. Хагуд сбавил ход и остановился у жерла переулка, в котором сразу, едва выйдя из машины, увидел на плитах мостовой тень кружевного балкона в пятне падающего из окна второго этажа света, а затем в прямоугольнике окна тень руки, державшей, как ему было видно даже оттуда, тень стакана, – видно с первого же момента, когда он, хлопнув дверцей машины и наступив на впечатанное в тротуар выщербленное мозаичное слово «Утонувших», пошел по переулку, возмущенный, но не удивленный. Дойдя до окна, он увидел и саму руку, хотя задолго до этого ему уже стал слышен голос репортера. Теперь же ему только этот голос и был слышен, заглушая даже его собственный, когда он, стоя под балконом, кричал, потом вопил, пока вдруг, ни с того ни с сего, на балкон не вы-

скочил и не перегнулся через перила щегольски обутый коротышка с простецким лицом и тонзурой как у священника, что отметил про себя тарасившийся снизу Хагуд, думая с бессильным бешенством: «Да, он же мне говорил, что у них есть лошадка пони. Черт, черт, черт!»

– Ищете кого, дядя? – спросил вышедший на балкон.

– Да! – рявкнул Хагуд и вновь выкрикнул фамилию репортера.

– Как? – переспросил человек с балкона, чашечкой приложив ладонь к склоненному уху.

Хагуд проревел фамилию еще раз.

– Даже и не знаю такого, – проговорил стоявший на балконе; потом сказал: – Погодите. – Возможно, на него подействовало изумленное, возмущенное лицо Хагуда; он повернул голову и прокричал фамилию в комнату. – Есть такой? – спросил он. Голос репортера приумолк на секунду, не больше, потом грянул в прежнем тоне – в точности так, как он звучал в ушах Хагуда от самого устья переулка:

– Кому понадобилось? – Но еще до того, как человек с балкона смог ответить, голос зазвучал вновь: – Скажи, что его здесь нет. Что он переехал. Что женился. Что умер. – Потом голос взревел: – Скажи, что он ушел на работу!

Стоявший на балконе опять посмотрел вниз.

– Вот оно как, мистер, – сказал он. – Вы, наверно, слышали его не хуже, чем я.

– Не имеет значения, – сказал Хагуд. – Вниз спускайтесь.



– Я?

– Да! – крикнул Хагуд. – Вы, вы!

Стоя в переулке, он смотрел, как его собеседник возвращается с балкона в комнату, которой он, Хагуд, ни разу еще не видел. К тому, что репортер, работавший под его прямым началом уже двадцать месяцев, называл теперь своим домом, он никогда до сих пор не был ближе, чем стандартная анкета, которую тот заполнил при поступлении в газету. Выискав себе в этой части французского квартала Нью-Валуа жилье, комнату, которую он стал называть своей богемной берлогой, репортер затем с неумемной и извращенной увлеченностью мальчика, собирающего раскрашенные пасхальные яйца, предмет за предметом выискал и нагромоздил там всякую мебель. Помещение представляло собой длинную узкую полость, крытую так, как кроют амбар или сарай, с потертым, ободранным и местами даже гнилым дощатым полом, с чахоточными стенами, рассеченную на две неравные части – спальню и «студию» – старым театральным занавесом, забитую кое-как починенными и покрытыми крашеной тканью под батик бесполезными столами, на которых стояли сомнительного вида лампы, сделанные из бутылок, и разнообразные окислившиеся металлические предметы, чье исходное назначение вряд ли кому на свете было ведомо, и увешанную по стенам опять же батиком, фабричными «индейскими» одеялами и невнятными итало-религиозными барельефами-примитивами. Иссохшая и хрупкая ник-

чемность всего этого была родственна физическому бытию жильца, как будто он и эти вещи были зачаты в одной утробе и рождены одним пометом, – вещи, напоминавшие пожилых проституток своей отягощенностью тенями множества безымянных хозяев, из-за которой нынешний номинальный владелец был лишь правообладателем, но никак не подлинным собственником, – вещи, наполнявшие комнату, которая, казалось, была эксгумирована из некоего театрального морга и так и снималась месяц за месяцем в неизменном виде.

Однажды – месяца через два после того, как репортер поступил в газету, не предъявив никаких свидетельств о своем прошлом, ни документальных, ни устных, производя впечатление существа, возвращенного в лаборатории методом форсированного поддува, не нуждавшегося ни в какой подпитке, ни в каком искусственном вскармливании, да и неспособного, как некое перекаати-поле, к получению этой подпитки, существа по-собачьи неумного и по-детски умеющего оказаться не то чтобы в центре событий, а, скорее, там, где в данный момент сошлось больше всего народу; поступил и начал носиться по французскому кварталу в поисках мебели и убранства для своего жилья – одеял, батика и разнообразных предметов, которые он, купив, приносил в редакцию, где с неисправимым потрясенным изумлением выслушивал терпеливые разъяснения Хагуда, доказывавшего, что он переплатил вдвое или втрое, – так вот, однажды Хагуд поднял глаза и увидел, что в отдел городских новостей вхо-

дит незнакомая ему женщина. «Она была похожа на локомотив, – с едким возмущением рассказывал он позднее владельцу газеты. – Ну, как бы вам объяснить: предположим, правление настолько измучено и затюкано разной там кинохроникой о новых дизельных поездах и вопросами репортеров о будущем железнодорожного транспорта, что наконец берет старый добрый паровой двигатель – тот, что в каком-то там году, девятьсот втором или девятьсот десятом, побил какой-то там рекорд, – отправляет его в цех и в один прекрасный день торжественно сдергивает с него покрывало в присутствии, конечно, все тех же репортеров и киношников, со всякими там венками из роз, конгрессменами и тридцатью шестью старшеклассницами в купальниках, отобранными на конкурсе красоты, и это, разумеется, новый двигатель только наружно, потому что все рады и горды сознавать, что внутри это все тот же испытанный рекордсмен девятьсот второго или девятьсот десятого года. Те же номера на тендере и на старых отличных, надежных, проверенных временем рабочих частях, только будка машиниста и паровой котел выкрашены в голубой цвет с прозеленью, шатуны и колокол выглядят золотее, чем само золото, и даже дизельный нагнетатель не слишком бросается в глаза, если свет не очень яркий, а номера теперь неоновые – первые в мире неоновые номера».

Он поднял глаза от стола и увидел, как ее вносит на взрывной волне аромата, от которого перехватило дух, как от иприта, в сопровождении репортера, больше обычного

похожего на тень от проектора, потухшего не одну неделю назад, – роскошная грудь, похожая на башни укрепленных средневековых городов, чье происхождение уходит в дописьменную древность, городов, которые захватывались и перезахватывались бесчисленными бешеными штурмами, когда подступавшая сила овладевала ими в краткой ярости мига и бесследно исчезала, сходила на нет; широкий томатного цвета рот; глаза приятные, знающие, что почем, и мало сказать, что лишены иллюзий; волосы, алмазной твердостью и непроницаемо-новеньким блеском напоминающие золоченый сервиз в магазинной витрине; квадратные, белые с золотом, крупные, как у лошади, зубы. Все это предстало перед ним под пышной густой развевающейся сенью розовых перьев, так что ему почудилось, будто он глядит на холст, принадлежащий к тому весеннему равноденствию красок, когда живописцы, случалось, не умели поставить свою подпись, – на холст, задуманный и исполненный в той великолепной невинности здорового сна и своевременной дефекации, что способна была увенчать тяжкую, попахивающую, нецеломудренную землю розовеющим облаком, где витают и резвятся беспечные и несообразные херувимы.

– Я просто решила заглянуть и посмотреть, что у него за работа, – сказала она. – Вы позволите?.. Спасибо. – Прежде чем он успел шевельнуться, она взяла сигарету из лежавшей на столе пачки, однако затем подождала, пока он зажжет и поднесет спичку. – И попросить вас, ну, присматривать за

ним. Потому что он у нас глупенький, правда? Я не знаю, честно говоря, какой он газетчик. Может быть, вы и сами еще не знаете. Но он дитя.

Потом она удалилась со всем ароматом, со всеми перьями; комната, наполнившаяся было розоватой дымкой и золотыми зубами, вновь стала тусклой и бедной, и Хагуд подумал: «Дитя-то дитя, но откуда взявшееся?» – потому что репортер говорил ему раньше и теперь заверил его еще раз, что у него нет ни братьев, ни сестер, нет вообще никаких связей и уз, кроме женщины, проследовавшей не только сквозь помещение отдела, но и, казалось, сквозь весь город Нью-Валуа почти без задержки, подобно отшлюзовавшемуся крейсеру с его аурой массивной самодостаточности и низведенных до пустяка расстояний, – да еще кроме невероятной фамилии.

– Как ни странно, она настоящая, – сказал ему репортер. – Не все поначалу верят, но, насколько я знаю, фамилия у меня именно такая.

– Но она сказала, что она... – И Хагуд произнес фамилию, которой назвалась ему женщина.

– Да, – подтвердил репортер. – Но это теперь.

– То есть... – начал Хагуд.

– Да, – сказал репортер. – Она дважды ее меняла на моей памяти. Оба были в своем роде люди достойные.

И тогда Хагуду показалось, что картина более или менее ясна ему: женщина не то чтобы прожорливая или ненасытная – просто всеядная, как паровозная топка, если опять вос-

пользоваться этой метафорой; с жестокой трезвостью он сказал себе: «Да. Явилась посмотреть, что у него за работа. В смысле – посмотреть, действительно ли у него есть работа, и если есть, то надолго ли». Ему показалось, что он понимает теперь, почему каждую субботу, прежде чем покинуть вечером здание, репортер переводит чек, которым ему выдается зарплата, в наличные; он чуть ли не видел внутренним взором, как репортер несется, спеша успеть до закрытия, на почту или на телеграф перевести деньги и получить квитанцию – в первом случае тоненькую голубенькую, во втором двойную желтую. Так что в тот первый вечер посреди рабочей недели, когда репортер робко поднял вопрос, Хагуд создал – можно сказать, извлек из собственного кармана – прецедент, которому он затем следовал почти целый год, кляня на чем свет стоит пышнотелую женщину, только раз им увиденную, пересекающую горизонт его жизни без остановки, но безнадежно расстроившую ее, подобно воздушной волне от забывшегося локомотива, который каким-то образом занесло на отдаленную и замусоренную пригородную улочку. Но он молчал – молчал, пока репортер не пришел и не попросил взаймы сумму, равную его двухнедельной зарплате, даже не объяснив сразу зачем. Лицо Хагуда – вот что заставило репортера сказать: на свадебный подарок.

– На свадебный подарок? – переспросил редактор.

– Да, – сказал репортер. – Я ей многим обязан. Хочу послать ей какую-нибудь вещицу, пусть даже она окажется

ненужной.

– Ненужной?! – вскричал Хагуд.

– Да. То, что я в состоянии ей послать, скорее всего, будет ей без надобности. Ей всегда по этой части везло.

– Погодите, – сказал Хагуд. – Дайте-ка я прямо вас спрошу. Вы хотите купить свадебный подарок. Но вы говорили мне, что у вас нет ни братьев, ни се...

– Да нет, – сказал репортер. – Это маме.

– Так, – произнес Хагуд после паузы, которая, однако, скорее всего, не показалась репортеру очень уж долгой; возможно, она не казалась долгой до того, как Хагуд вновь заговорил: – Понимаю. Да. Вас, выходит, есть с чем поздравить?

– Спасибо, – сказал репортер. – Я его не знаю. Но те двое, которых я знал, были вполне ничего.

– Понимаю, – сказал Хагуд. – Да. Хорошо. Замуж, значит. А тех двоих вы знали. Один из них был вашим... Впрочем, не важно. Не говорите мне. Не говорите! – вскричал он. – По крайней мере, это хоть что-то. Что могла, она для вас сделала! – Теперь уже репортер смотрел на Хагуда с вежливым вопрошанием. – Это изменит как-то вашу жизнь теперь? – сказал Хагуд.

– Надеюсь, что нет, – сказал репортер. – Не думаю, что на этот раз у нее получилось хуже, чем обычно. Вы же сами видели – она внешне еще хоть куда, даром что не молоденькая, и в хорошей форме, пусть даже теперь уже не из тех, кто выдерживает танцевальный марафон до шести утра. Так что

все, полагаю, у нее в ажуре. Ей всегда по этой части везло.

– Вы надеетесь... – сказал Хагуд. – Вы... погодите. – Он взял сигарету из лежавшей на столе пачки, но зажигать и подносить спичку пришлось в конце концов репортеру. – Дайте-ка я прямо вас спрошу. Вы хотите сказать, что вы не... что деньги, которые вы у меня занимали, которые послали...

– Что посылал, куда посылал? – спросил репортер после секундной заминки. – А-а, ясно. Нет. Я не посылал ей денег. Это она мне их шлет. И я не думаю, что очередное замужество...

Хагуд даже не откинулся на спинку кресла.

– Вон отсюда! – завопил он. – Вон! Вон!

Репортер еще секунду смотрел на него сверху вниз все с тем же удивленным вопрошанием, затем повернулся и двинулся к выходу. Но не успел он еще перешагнуть окружавшее стол ограждение, как Хагуд уже звал его обратно голосом хриплым и обузданным. Репортер вернулся к столу и увидел, как редактор выхватывает из ящика книжечку с бланками векселей, пишет на верхнем, затем толкает к нему книжечку и ручку.

– Что это, шеф? – спросил репортер.

– Сто восемьдесят долларов, – сказал Хагуд тем же напряженным аккуратным голосом, каким он мог бы говорить с ребенком. – Под шесть процентов годовых, возврат в момент предъявления. Даже не по предъявлении, а в момент – ясно?



Подпишите.

– Бог ты мой, – сказал репортер. – Так много уже?

– Подпишите, – сказал Хагуд.

– Конечно, шеф, – сказал репортер. – У меня и в мыслях не было на вас наживаться.

Но то было полтора года назад; теперь Хагуд и Джиггс стояли бок о бок на старых щербатых плитах, которые, как утверждают жители Нью-Валуа, топтал во время оно пират Лафит<sup>17</sup>, смотрели вверх на освещенное окно и слушали гремевший оттуда пьяный голос.

– Вот, значит, как его кличут, – сказал Джиггс. – Ну и что?

– Да ничего, – сказал Хагуд. – Это фамилия у него такая. Или имя и фамилия вместе, потому что больше за ним ничего не значится, кроме одного-единственного инициала, насколько мне или кому бы то ни было в городе известно. Но похоже, это его фамилия, подлинная; я никогда не слышал, чтобы человек так звался, и, разумеется, никто, кому хватает умишка вести двойную жизнь, не станет такой фамилией прикрываться. Соображаете? Любой несмышленьш смекнет, что она фальшивая.

– Точно, – сказал Джиггс. – Даже ребенка этим не проведешь.

Они опять воззрились на окно.

– Я видел его мать, – сказал Хагуд. – Знаю я, знаю, что вы

---

<sup>17</sup> Жан Лафит (1780-1826) – пират, промышлявший в начале XIX века у побережья Мексиканского залива.

сейчас подумали. Я то же самое подумал, когда увидел его в первый раз; и всякий, наверно, если бы пришлось начать про него соображать, как про жука или червяка, где, когда и зачем он явился на свет, подумал бы: «Стоп! Стоп! Стоп, ради Христа!» А теперь примерно с половины первого он, по всему видно, изо всех сил старается нализаться, и, должен сказать, небезуспешно.

– Это да, – сказал Джиггс. – Тут ваша правда. Он Джеку объясняет, как водить самолет, рассказывает, как Мэтт Орд однажды на час взял его вторым в машину. Мол, когда ты взлетаешь там на аэродроме с этих бетонных «F» или садишься, это все равно что выпорхнуть или впорхнуть в... в организм, что ли. В организм или в органазм, да он сам толком не знает, во что; что-то там насчет двух комариков, которые вьются вокруг постели, где лежат муж-слон и жена-сло-ниха, а им, говорят, чтобы закончить, нужны дни, дни, дни, а может, даже недели. Да, они с Джеком вдвоем там, потому что ребенок спит и Лаверна с Роджером улеглись в ту же постель, так что они с Джеком, похоже, пытаются накачаться настолько, чтобы уснуть на полу, потому что, ей-богу, он потратил на эти такси столько, что хватило бы устроить нас всех в гостинице. Но иди да иди к нему домой, куда денешься. Да, он это называет домом своим; а по дороге кидается в какую-то забегаловку, вылетает с галлоном зелья и кричит: «Абсент! Абсент!» – только вот я, хотя никогда не пил никакого абсента, могу сделать ему не хуже, если мне корыто

дадут, спирту обычного и чуток настойки опия, камфарной или еще какой. Да чего там, сходите, отведайте сами. Мне, честно говоря, пора уже к ним туда: надо за ним и за Джеком смотреть.

– Смотреть? – переспросил Хагуд.

– Ага. Хотя драки-то не будет; это, я Джеку сказал, все равно что с бабушкой своей сражаться на кулачки. Джек, он все тарасился сегодня на них с Лаверной, когда они стояли там у ангара и когда выходили из...

Тут Хагуд не выдержал.

– Что мне, – возопил он в малосильном гневе, – что мне, первые полжизни стоять тут и выслушивать его байки про вашу компанию, а вторые – ваши байки про его персону?

Рот Джиггса был еще открыт; теперь он медленно закрыл его. Он рассматривал Хагуда ровным, горячим и ярким взором, уперев руки в бедра, легко утвердясь на конских своих ногах и чуть подавшись вперед.

– Если не желаете, мистер, вам ничего моего выслушивать не придется, – сказал он. – Сами же меня сюда позвали. Я вас не звал. Что вам от меня, от него, не знаю от кого, надо?

– Ничего! – сказал Хагуд. – Я просто пришел сюда в слабой надежде, что он спит или по крайней мере достаточно трезв, чтобы завтра выйти на работу.

– Он говорит, он у вас больше не работает. Говорит, вы его выгнали.

– Врет! – воскликнул Хагуд. – Я велел ему завтра в десять

утра явиться. Вот что я ему велел.

– И вы, стало быть, хотите, чтобы я ему это передал?

– Да! Но не сейчас. Не начинайте с ним об этом сейчас. Повремените до завтра, когда он... За ночлег можно ведь оказать такую услугу, правда?

И опять Джиггс уставился на него с ровной и жаркой душой в глазах.

– Хорошо. Я ему скажу. Но не только потому, что мы ему вроде как должны за сегодняшнее. Это понятно вам?

– Понятно. Простите, – сказал Хагуд. – Но передайте ему. Как передать – дело ваше, но дайте ему знать, сами или через кого-то еще, до того, как он завтра уйдет. Сделаете?

– Ладно, – сказал Джиггс. Он проводил Хагуда взглядом до конца переулка, потом повернулся, вошел в дом, миновал прихожую, поднялся по узкой, темной, ненадежной лестнице и вновь вступил в пьяный голос. Парашютист сидел на железной раскладушке, жиденько покрытой еще одним индейским одеялом и заваленной яркими выцветшими подушками, вокруг которых – даже с того края, который не был потревожен парашютистом, – негустым нимбом клубилась пыль. Репортер высился во весь рост у заплесканного стола, на котором стояли галлоновая бутылка со спиртным и лоханка для мытья посуды, содержавшая теперь уже в основном просто грязную воду, хотя несколько льдинок в ней еще плавало. Без пиджака, в рубашке с расстегнутым воротом, со спущенным на грудь узлом галстука, чьи концы мокро тем-

нели, словно он макал их в лоханку, он напоминал на фоне яркого и пестрого, хоть и крашенного машинным способом, настенного одеяла некий диковинный охотничий трофей с Дальнего Запада, полунабитый чучельником, брошенный и затем вновь откуда-то извлеченный.

– Кто это был? – спросил он. – Что, вид такой, будто, если он тебе понадобится в пятницу после ужина, ищи его во флигеле при церкви, где бойскауты тормозят друг друга и ставят подножки?

– Что? – сказал Джиггс. – Наверно. – Потом, чуть помолчав: – Да, точно. Он самый.

Репортер смотрел на него, держа в руке стакан из-под магазинного джема.

– Ты ему втолковал, что я женился? Втолковал, что у меня два мужа теперь?

– Да, да, – сказал Джиггс. – Давай теперь баиньки.

– Баиньки?! – вскричал репортер. – Баиньки? Когда у меня в доме овдовевший гость и самое малое, что я могу для него, это наклюкаться с ним на пару, потому как что я еще могу, я в таком же пиковом, как и он, только я в этом пиковом на все времена, а не на одну эту ночь?

– Конечно, – сказал Джиггс. – Давай-ка укладываться.

Опираясь на стол, сияя на Джиггса бесшабашным ярым лицом, репортер смотрел, как он отправился в угол, где лежали их пожитки, вытащил из покрытого пятнами парусинового мешка бумажный сверток, развернул его и достал

новехонькую длинную штуку для съема сапог; он смотрел, как Джиггс, сев на стул, пытается стащить правый; потом он повернулся на звук и с тем же ярким вниманием устоялся на парашютиста, который, вытянув длинные перекрещенные ноги, сидел на раскладушке в полной расслабленности и смеялся над Джиггсом зловеще-ровно, без смеха. Джиггс тем временем сел на пол и протянул репортеру ногу.

– Дергани-ка, – сказал он.

– Это можно, – сказал парашютист. – Это мы запросто.

Репортер уже взялся за сапог; парашютист отмахнул его вбок, ударив тыльной стороной кулака. Остановленный стеной, репортер увидел, как парашютист с напряженным и зверским в свете потолочной лампы лицом, оскалив под узенькими усиками зубы, ухватился за сапог и внезапно, не успев Джиггс шевельнуться, занес ногу над его пахом. Репортер полу-повалился на парашютиста и пошатнул его, так что удар ноги пришелся по бедру вывернувшегося Джиггса.

– Эй! – крикнул он. – Да ты не шутишь!

– Как это? – сказал парашютист. – Шучу, конечно. Только и делаю, что шучу... оп-паа.

Как Джиггс поднялся, репортер не увидел, потому что не успел; он увидел Джиггса уже посреди броска, взлетевшего с пола словно бы без помощи ног, а затем – руку Джиггса и руку парашютиста, метнувшиеся и сцепившиеся ладонь в ладонь, в то время как другой рукой Джиггс отбрасывал репортера все к той же стене.

– Кончай, ну, – сказал Джиггс. – Да посмотри ты на него. Что смешного, не понимаю. – Через плечо он взглянул на репортера. – Спать, спать ложись, – сказал он. – Слышал? Тебе завтра на службу к десяти. Так что давай.

Репортер не пошевелился. Он стоял, прислонясь к стене, с мелкой и застывшей на лице, словно бы глазурированной гримасой улыбки. Джиггс уже опять сидел на полу, вновь поднимая и поддерживая на весу руками правую ногу.

– Ну-ка, – сказал он. – Дергани-ка. Репортер взялся за сапог и потянул; внезапно он тоже оказался сидящим на полу, Джиггс напротив, в ушах – его собственный хохот.

– Цыц, – сказал Джиггс. – Роджера хочешь разбудить, Лаверну, ребенка? А ну цыц. Тихо.

– Ага, – шепотом сказал ему репортер. – Я пытаюсь перестать. Но не могу. Эк меня. Слышно тебе, да?

– Можешь перестать, еще как можешь, – сказал Джиггс. – Перестал ведь уже. Чувствуешь?

– Чувствую, – сказал репортер. – Это я просто сцепление выключил, мотор-то работает.

И он опять пустился хохотать; Джиггс тогда наклонился вперед и стал плашмя хлопать его по бедру сапожным съемником, пока он не перестал.

– Ну-ка, – сказал Джиггс, – тяни давай. Сапог подался, потому что к нему уже был приложен труд; Джиггс затем стащил его. А вот левый снялся так внезапно, что репортер повалился на спину, хотя на сей раз он не засмеялся; он ле-

жал, говоря: «Порядок, порядок. Никакого смеха». Потом он смотрел на Джиггса, стоявшего над ним в хлопчатобумажных носках, которые, как и утренние его самодельные краги, закрывали только низ голени и подъем.

– Вставай, – сказал Джиггс, поднимая репортера.

– Сейчас, – сказал репортер. – Дай только комната обновится.

Встав против воли, он начал сопротивляться, но руки Джиггса не пускали его обратно на пол, и, перехваченный ими, он стал клониться верхней частью туловища в сторону раскладушки.

– Вертится еще, стой! – крикнул он; потом яростно рванулся, упал поперек раскладушки и, почувствовав, как его берут и переваливают вдоль, вновь забился и заговорил заплетающимся языком сквозь внезапно наполнившую рот горячую неистовую жижу: – Берегись! Берегись! Бьет через край. Пусти!

Потом он оказался свободен, хотя двигаться еще не мог. Потом увидел Джиггса, который лежал на полу у стены, повернувшись к ней лицом и положив голову на свой парусиновый мешок, и парашютиста у заплесканного стола, наливающего себе из бутылки. Репортер встал, покачнулся, но заговорил очень даже отчетливо:

– Ага. Самое оно. Хлопнуть маленько.

Старательными шагами он двинулся к столу с прежним выражением ярости и отчаянной удачи на лице, произнося



словно бы монолог, обращенный к пустой комнате:

– Но хлопнуть-то и не с кем. Джиггс лег дрыхнуть, Роджер лег дрыхнуть, Лаверна хлопнуть не может – Роджер не дает. Вот оно как.

Теперь он поверх стола, бутылки, банок из-под джема и лоханки смотрел на парашютиста с той же ярой разгульной бесшабашностью во взоре, но говорил, казалось, по-прежнему в пустую комнату:

– Да, точно. Роджер это был, Роджер. Вот кто пить ей сегодня не позволял и стакан, налитый рукою друга, у нее забрал. И потом они с Роджером улеглись. Вот оно как.

Они посмотрели друг на друга.

– Уж не хотел ли ты с ней сам улечься? – сказал парашютист. Пару секунд они продолжали смотреть друг на друга. Лицо репортера стало другим. Ярой бесшабашности в нем не убавилось, но ее перекрывала теперь та жалкая, та малодушная отчаянность, что за неимением лучшего сойдет за отвагу.

– Хотел! – рявкнул он. – Хотел! – пяясь и закрывая скрещенными руками лицо. Так что он только погодя понял, что ударил его всего-навсего пол, понял, когда опять лежал ничком, обжимая руками лицо и затылок и глядя промеж рук на обувь парашютиста, который сидел как сидел. Репортеру видно было, как парашютист замахнулся рукой и сшиб со стола лампу, а потом, когда грохот умолк, он уже не видел ничего и не слышал ничего, просто лежал на полу в полней-

шем бездействии и ждал. – Боже правый, – сказал он вполголоса, – мне на секунду показалось, что ты хочешь смахнуть со стола бутылку.

Но ответа не последовало, и опять его внутренности взвинтили неистовый мальстрем, у которого спокойной точки не было нигде, даже внутри его тела. Он лежал в неподвижном ожидании и наконец почувствовал быстрое небольшое движение воздуха, потом ногу, ботинок, сильный единственный боковой удар, а потом услышал парашютиста, который сверху вниз откуда-то из мрака, из густого безостановочного кружения комнаты кидал ему таким же в точности тоном, как шесть часов назад Джиггсу в борделе, с такой же негромкой отрешенной бесстрастностью те же самые слова. Казалось, они летят и летят, говорят и говорят, несильно шлепаясь в него даже после того, как ему по звуку стало ясно, что парашютист пошел к раскладушке и вытянулся на ней; он слышал свирепые шорохи гостя, перекладывавшего пыльные подушки и натягивавшего одеяло.

«Двенадцать, наверно, раз, это как минимум, – думал репортер. – Минимум восемь раз назвал сукиным сыном уже после того, как лег спать... Да, – думал он, – как сказал, так и сделаю. Надо уйти – уйду, хорошо. Но подняться и двинуться – время мне дай на это... Да, – думал он, пока протяженный коловоротный мрак довершал более обширный, чем прежние, океанский круг; он почувствовал теперь, как из его пор стало сочиться густое холодное жидкое масло, которое,

когда он мертвой ладонью отыскал мертвое лицо, не утиралось и не впитывалось рукой, а лишь удваивалось в количестве, как будто каждая капля была атомом, мгновенно делящимся не просто на две равные части, а на такие, из которых каждая равна прежнему целому, – вчера мой длинный язык оставил меня без работы, сегодня он, кажется, оставил меня без жилья».

Но в конце концов он что-то увидел: смутный абрис оконного переплета, внезапно возникший на фоне некой внешней светлоты или воздуха; видение было отчаянно и слепо перехвачено, зацеплено на лету, как детский передничек, падающий с забора или дерева. Двигаясь на четвереньках и по-прежнему цепляясь зрением за окно, он нащупал стол и встал на ноги. Он точно помнил, что аккуратно положил ключ под самую лампу, но теперь, когда лампы не было, его все еще онемелая ладонь, нечаянно смахнув ключ со стола, ничего не почувствовала – выручил слух: чужедальний слабый звяк. Он опустился, отыскал его в конце концов, осторожно встал, вытер ключ концом галстука, положил его в самый центр стола с бесконечным тщанием, словно устанавливал капсулю динамитного патрона, затем нашарил один из липких стаканов, налил туда из бутылки, ориентируясь по звуку и ощущению, и залпом выпил, чувствуя, как ледяной почти не разбавленный спирт яростно струится по подбородку, прожигает холодную мокрую рубашку, горит на коже и внедряется в плоть. Выпитое тут же захотело обратно; он ощу-

пью выбрался на лестницу и спустился, сглатывая и сглатывающая подступавшую рвоту.

Еще кое-что он намеревался сделать, о чем вспомнил только после того, как дверь бесповоротно захлопнулась за ним и его сырую рубашку, лишенную пиджачного тепла и защиты, овеял холодный, насыщенный влагой предрассвет. Он не сразу сумел сообразить, что же именно собирался сделать, куда пойти, как будто намерение и цель были некой теоретической точкой, скажем широтной или временной, которую он миновал в прихожей, или чем-то вроде проштемпелеванного письма в кармане пиджака, который он оставил в комнате. Потом он вспомнил; он стоял на холодных плитах и дрожал в мокрой рубашке от медленной и беспомощной ярости, сообразив, что решил пойти в редакцию и провести остаток ночи на полу в пустой теперь комнате отдела городских новостей (ему случалось уже так поступать), но упустил при этом из виду, что уволен. Будь он трезв, он подергал бы ручку двери, как люди обычно поступают не то чтобы из веры в возможность чуда, а, скорее, из смутной на него надежды. Пьяный, он, однако, не стал. Он только и сделал, что осторожно двинулся прочь, поначалу, пока не набрал ход, стабилизируя себя стеной, дожидаясь, когда же опять придется глотать вздымающуюся рвоту, и тихо думая в успокоенно-отрешенно-глубоком отчаянии и изумлении: «Четыре часа назад они были снаружи, я внутри, а теперь все наоборот. Словно космический закон какой существует для бед-

ности, как для уровня воды, словно живой вес какой-то достаточный должен набраться на парковых скамейках и в вокзальных залах ожидания на ночное время, иначе мир кувырнется и всех нас вышвырнет дикими, орущими, барахтающимися метеорами в пустоту». Но вокзал должен быть, стены, хотя он давно уже сдался на милость дрожи и не чувствовал больше холода вообще. Вокзалов было два, но он ни на тот, ни на другой никогда не ходил пешком и не мог ни сообразить, ни припомнить, какой ближе, – и тут он резко остановился, вспомнив про рынок, подумав про кофе. «Кофе, – сказал он. – Кофе. Когда я выпью кофе, будет уже завтра. Точно. После кофе всегда бывает завтра, и ждать поэтому ничего не надо будет уже».

Он шел теперь довольно быстро, дыша широко открытым ртом, словно бы надеясь (может быть, и не напрасно) успокоить и умягчить желудок воздушной сыростью, тьмой и холодом.

Рынок уже был виден ему – широкая приземистая блестящая каверна без стен, наполненная яркими и непроницаемыми с виду, как искусственные цветы, рассортированными овощами, среди которых мужчины в свитерах и женщины в мужских свитерах, а порой даже в мужских шляпах, все с латинскими лицами, еще припухшими со сна, ходили, выдыхая из ноздрей и ртов легкие теплые облачка дремоты, и приостанавливались поглядеть на мужчину в одной рубашке с расстегнутым воротом, с лицом, еще больше обычно-

го похожим на лицо трупа, силком поднятого и пробужденного от сна, которому положено быть беспробудным и вечным. Он двинулся к кофейной палатке; чувствовал себя теперь превосходно. «Ага, оклемался», – подумал он, потому что почти мигом дрожь и трясение унялись, а когда перед ним наконец поставили чашку с горячей бледной жидкостью, он опять сказал себе, что отменно себя чувствует; разумеется, одна уже эта настойчивость самовнушения должна была стать для него сигналом как раз неблагополучия. Потом он сидел совершенно неподвижно с тем сосредоточенным видом, с каким человек обычно слушает свое утро. «Ах ты, – подумал он. – Может, я поспешил. Может, надо было еще походить-побродить». Но он был там, где был, кофе стоял перед ним и ждал; подавальщик уже холодно смотрел на него из-за прилавка. «Господи, да ведь правда же истинная: когда кофе выпит, уже, значит, настало завтра; так тому и быть!» – беззвучно крикнул он, пуская в ход детскую хитрую логику самообмана. «А завтра бывает только похмелье, завтра ты не пьян уже, завтра ты не можешь чувствовать себя настолько уж плохо».

И он поднял чашку так же, как последний стакан со спиртным перед уходом из дома; он опять почувствовал, как горячая жидкость льется по подбородку и, прожигая рубашку, язвит его плоть. Давясь, пытаясь запечатать вздымающееся горло, отчаянно цепляясь взглядом за низкий карниз над кофейником, он представил себе, как выпитая чашка выстре-

ливаает у него изо рта и взлетает в небо без предсказуемой траектории, как пробка от шампанского. Он поставил чашку, уже двигаясь, хотя и не вполне бегом, к выходу из кофейной палатки, потом устремился дальше, между светлых прилавков, перебираясь от одного к другому с помощью рук, как бегают обезьяны, пока наконец не наткнулся на прилавок с клубникой в коробках и не встал, держась за него и понятия не имея, как долго уже стоит и где, а из-за прилавка женщина в черной шали повторяла:

– Сколько, мистер?

Спустя некоторое время он услышал, как его рот что-то произносит, пытается.

– Qu'est-ce qu'il voulait<sup>18</sup>? – спросил мужской голос от конца прилавка.

– L'journal d'matin<sup>19</sup>, – ответила женщина.

– Donne-t-il<sup>20</sup>, – сказал мужчина. Женщина пошла и, вернувшись с газетой, развернутой на внутренней странице, дала ее репортеру.

– Да, – сказал он. – То, что надо.

Но, попытавшись взять газету, он промахнулся; она поплыла вниз, скользнув между его рукой и рукой женщины и открываясь на первой странице. Женщина сложила газету как надо, и он взял ее, пошатываясь, держась другой рукой за

---

<sup>18</sup> Что он хотел? (*фр.*)

<sup>19</sup> Утреннюю газету (*фр., разг.*).

<sup>20</sup> Дай ему (*фр.*).

прилавок и громко декламируя заголовки с первой полосы:  
– Банкиры бастуют! Фермерская яхта! Пятеро близнецов отвергают! Президент прибавляет в весе!.. Нет; погодите...

Он покачнулся, таращась на женщину в шали с изможденной сосредоточенностью. Порылся в кармане; монеты звякнули об пол точно так же, как тогда ключ, но теперь, когда он стал наклоняться, холодный пол зверски стукнул его по лицу, а потом его опять держали чужие руки, пока он бился и пытался встать сам. Он зигзагом двигался теперь к выходу; от последнего прилавка отскочил бесчувственно, как бильярдный шар, а горячий нехороший кофе подобрался между тем у него внутри, как большая тяжелая птица, готовящаяся взлететь; проломившись сквозь дверь, он врезался в фонарный столб и капитулировал, цепляясь за него и чувствуя, как бьют изо рта жизнь, ощущения и все остальное, как тело пытается в одном неистовом оргазме вывернуться наизнанку.

Тем временем рассвело. Это произошло незаметно: просто вдруг он понял, что может теперь с трудом читать газетный текст и что стоит теперь в серой осязаемой субстанции, лишенной веса и света, привалившись к стене, оторваться от которой он пока еще не пытался. «Потому что я не знаю, достигну или нет», – думал он со спокойным любопытством, как будто участвовал в галантной комнатной игре без денежных ставок. Когда он пришел наконец в движение, его, казалось, понесло вдоль сереющей стены, как невесомый лист, причем



он не то чтобы за нее цеплялся, скорее, время от времени тормозился о нее из-за легкого замедляющего трения, как лист, которому не хватает ветра, чтобы нестись без остановки. Свет ровно нарастал, прибавляясь словно бы со всех сторон и не из одного источника; теперь он видел слова в газете совсем отчетливо, хотя, произносимые им вслух, они по-прежнему норовили перетекать с места на место, гладко теряя смысл и значение:

– Пятеро близнецов снижаются... Да нет, это же не гонки, там нет никакого пилона... Хотя постой... Пилон-то там был, только он торчал вниз и был тогда зарыт, а они еще не были близнецами, когда вокруг него вертелись... Фермеры требуют. Да. Фермерский сын, два фермерских сына, по крайней мере один из Огайо, так она мне сказала. Потребовали и взяли свое, вспахали айовскую землю; точно, два фермера-землепашца; точно, два пилона зарытых, в одну айовскую дрему зарытых, в женскую дрему, в пилонную дрему... Нет, постой.

Он уже вошел в переулок и должен был теперь пересечь его, потому что его дверь была на другой стороне; держа газету в той руке, что ползла по стене, он словно из последних сил поднял лист навстречу серому рассвету, фокусируя взгляд, чистое зрение без рассудка и мысли, на симметричной строке заголовков:

ФЕРМЕРЫ

ОТВЕРГАЮТ

БАНКИРЫ

ОТКАЗЫВАЮТ      БАСТУЮЩИЕ      ТРЕБУЮТ  
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ЯХТА ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ  
СНИЖАЮТСЯ      ПЯТЕРО      БЛИЗНЕЦОВ  
ПРИБАВЛЯЮТ В ВЕСЕ БЫВШИЙ СЕНАТОР РЕНО  
ПРАЗДНУЕТ ДЕСЯТУЮ ГОДОВЩИНУ СВОЕГО  
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

– на непрочной, сотканной из бумаги и типографской краски паутине, навязчивой, настоящей; на паутине, вечной и неустранимой пусть даже только лишь в силу своей вечной и неустранимой незначительности, – на плоде умершего мига, возвращенном посредством сорока тонн машинерии и нелепого общенародного самообмана. Глаз – орган, неспособный ни к размышлению, ни к изумлению, – сбежал с последнего слова, и зрение, на миг вновь померкнув, двинулось затем дальше, нашло дверь под балконом, уцепилось и померкло окончательно. «Да, – подумал репортер. – Я почти уже на месте, но все-таки как не знал, так и не знаю, дойду или нет».

# ЗАВТРА

Джиггс проснулся от ножного тычка в спину. Перекатившись навстречу комнате и утреннему свету, увидел стоящего над ним Шумана, одетого, если не считать рубашки, и парашютиста, который тоже уже не спал, хоть и лежал на боку на раскладушке, подтянув к подбородку индейское одеяло; ноги его укрывал коврик, чье первоначальное место было на полу перед койкой.

– Полдевятого, – сказал Шуман. – Где этот, как его?

– Этот – кто? – спросил Джиггс. Потом сел, одним подскоком приняв сидячее положение, и стал оглядывать комнату с удивленным узнаванием, выставив торчком ступни в лишенных подошв полуносках. – Мать честная, куда он делся-то? Я оставил его и Джека... В три начальник его приходил, сказал, что к десяти ему как штык на работу. – Он посмотрел на парашютиста, которого, если бы не открытые глаза, можно было принять за спящего. – Что с ним приключилось?

– Я откуда знаю, – сказал парашютист. – Он тут лежал, на полу, примерно где ты стоишь, – сказал он Шуману. Шуман тоже посмотрел на парашютиста.

– Ты цеплялся к нему опять? – спросил он.

– Само собой, – сказал Джиггс. – Вот, значит, почему ты не ложился, пока я не заснул.

Парашютист не ответил. Под их взглядами он поднялся,

откинув одеяло и коврик, одетый, как был – пиджак, жилетка, галстук, – кроме обуви; под их взглядами надел ботинки, выпрямился опять, секунду-другую постоял в хмурой и свирепой неподвижности, разглядывая свои мятые теперь брюки, потом повернулся к выцветшему театральному занавесу.

– Умыться пойти, – сказал он.

Шуман смотрел, как Джиггс сидя роется в своем парусиновом мешке, достает оттуда теннисные туфли и сапожные голенища, которые он носил вчера, и сует ноги в туфли. Новые сапоги, чистенькие и опрятные, если не считать еле заметных складочек на щиколотках, ровно стояли у стены там, где ночью лежала Джиггсова голова. Шуман поглядел на сапоги, потом на поношенные теннисные туфли, которые Джиггс шнуровал, но ничего не сказал; кроме:

– Что ночью было? Джек его...

– Да нет, – сказал Джиггс. – Они нормально. Пили и пили. Джек иногда его маленько подкалывал, но я вступался. Начальник-то, Господи, сказал, что ему надо к десяти на работу. Ты под лестницей глядел? Под кроватью, где вы спали, глядел? Может, он...

– Нет, – сказал Шуман. – Здесь его нет. – Он смотрел, как Джиггс, кряхтя и чертыхаясь, медленно и жестоко пропихивает теннисные туфли сквозь голенища. – Думаешь, пролезут?

– А то. Не думал бы – не пустил бы штрипки с внешней стороны, – сказал Джиггс. – Тебе полагается знать, куда он

подевался, кому же еще; ты же не пил, кажется, вчера ничего? Я сказал начальнику его, что я...

– Ладно, – сказал Шуман. – Иди умойся. Уже подтянув под себя ноги, чтобы встать, Джиггс секунду помедлил, глядя на свои ладони.

– Я в гостинице вечерочком хорошо их помыл, – сказал он. Начав было подниматься, он приостановился взять с пола недокуренную сигарету, затем вскочил на ноги, глядя на стол и уже засовывая руку в карман рубашки. С окурком в зубах и спичкой в руке он помедлил. На столе среди окружавшего бутыли и лоханку грязного беспорядка – стаканов, пепла, горелых и целых спичек – лежала пачка сигарет из тех, что купил ночью репортер. Джиггс положил окурочек в карман рубашки и потянулся за пачкой. —Надо же, – сказал он. – За пару месяцев до чего дойти: от целой сигареты вроде и радости никакой нет.

Потом его рука вновь замерла – на мгновение, не больше, – и Шуман смотрел, как она двинулась к горлышку бутыли, в то время как другая рука отрывала от липкого стола стакан, из которого репортер пил в темноте.

– А вот этого не надо, – сказал Шуман. Повернув к себе тыльной стороной обнаженное запястье, он посмотрел на незатейливые часы. – Без двадцати девять. Пора выкатываться.

– Это да, – сказал Джиггс, наливая в стакан. – Одежонку напяливай, и айда клапаны проверять. Боже ты мой, я ведь

обещал его начальнику... Кстати, я узнал ночью фамилию этого нашего. Ты в жизни не...

Он умолк; они с Шуманом смотрели друг на друга.

– Что, опять двадцать пять? – спросил Шуман.

– Не двадцать пять, а только один глоток, который я с вечера перекинул на утро. Ты же сказал – сейчас едем в аэропорт. Как, скажи на милость, я могу там поддать, пусть даже я и хотел бы, когда единственные деньги, какие я, к чертям собачьим, имел за три месяца, и те я, говорят, стибрил? Когда единственный человек, который за три месяца поставил мне выпить, лишился из-за нас обеих кроватей и улегся на пол, а мы даже тем не могли ему отплатить, чтобы передать ему от начальника насчет работы...

– Только один, говоришь? – сказал Шуман. – Хорошо, вон у него ведро помойное – ну так давай, лей туда остальное и вали к умывальнику.

Он отвернулся. Джиггс смотрел, как он, отстранив рукой занавес, прошел за него. После этого Джиггс понес стакан ко рту, уже ощущая судорогу и гримасу предвкушения, – и вновь замер. На сей раз это был ключ в центре стола, куда его аккуратно положил репортер, – ключ, рядом с которым Шуман поставил разбитую лампу, подняв ее с пола. Джиггс коснулся ключа и почувствовал, что он тоже слегка приклеен к столу расплесканным спиртным.

– Значит, он туточки, – рассудил Джиггс. – Но где, скажите на милость? – Он снова огляделся по сторонам; затем

вдруг подошел к раскладушке и заглянул под нее, приподняв смятое одеяло. «Где-то же он должен обретаться, – подумал он. – Может, за плинтусом. Ей-богу, ему там попросторней было бы, чем змее».

Он вернулся к столу и опять поднял стакан; но теперь ему помешали женщина и ребенок. Она была уже одета в тренчкот и подпоясана; окинув комнату одним кратким, бледным, исчерпывающим взглядом, она посмотрела на Джиггса – мгновенно, невыразительно.

– Завтракаю помаленьку, – сказал он.

– В смысле, ужинаешь, – сказала она. – Через два часа уже свалишься и уснешь.

– Сказал тебе Роджер, что мы хозяина куда-то задевали и не можем найти?

– Пей давай, – сказала она. – Уже почти девять. Нам сегодня снимать и мерить все клапаны.

Но он по-прежнему все не подносил стакан ко рту. Шуман тоже был теперь одет. Поверх замершего стакана Джиггс смотрел, как парашютист идет к чемоданам, рывком двигает их от стены к середине комнаты и швыряет вслед сапоги; затем он повернулся к Джиггсу и рявкнул:

– Да пей же ты, ну!

– Кто-нибудь из них знает, куда он делся? – спросила женщина.

– Поди их разбери, – сказал Шуман. – Говорят, что не знают.

– Я же ясно сказал: нет, – сказал парашютист. – Не сделал я ему ничего. Он хлопнулся на пол, я свет выключил и лег спать, потом Роджер будит меня, а он уже ушел, и нам тоже двигать пора, если мы до трех хотим успеть промерить клапаны и поставить обратно.

– Да, – сказал Шуман. – Надо ему будет – отыщет нас. Чем нам его искать, проще ему нас найти.

Он взял один из чемоданов; другой был уже в руке у парашютиста.

– Давай, – сказал он, не глядя на Джиггса. – Пей, и марш.

– Точно, – сказал Джиггс. – Отчаливаем.

Он наконец выпил и поставил стакан; остальные тем временем пошли к лестнице и начали спускаться. Потом он посмотрел на свои ладони – посмотрел так, словно только-только обнаружил, что они у него есть, и еще не разобрался, зачем они нужны.

– Мать честная, помыться бы все-таки, – сказал он. – Идите, не ждите, я до остановки вас догоню.

– Конечно; завтра только, – сказал парашютист. – И прихвати бутыль. Нет; лучше оставь. Если он собирается весь день пьяный валяться, лучше уж тут, чем где-нибудь по дороге. – Идя последним, он яростно отпихнул ногой стоявшие на пути сапоги. – Что ты собираешься с ними делать? В руках носить?

– Да, – сказал Джиггс. – Пока не расплачусь за них.

– Пока не расплатишься? Я думал, ты вчера уже за них



расплатился, причем моими деньгами.

– Да, – сказал Джиггс. – Было дело.

– Ну чего вы там, – сказал Шуман с лестницы. – Пошли, Лаверна.

Парашютист двинулся дальше. Теперь последним шел Шуман, подгоняя всех троих, как стадо. Потом он остановился и посмотрел на Джиггса – аккуратно одетый, глубоко серьезный, в новой шляпе, которую Джиггс по-прежнему мог бы принять за выставленный на витрине образчик.

– Слушай, – сказал Шуман, – ты что, и правда решил сегодня во все тяжкие? Запрещать я тебе не буду, бесполезно, пробовал раньше. Ты просто скажи мне, я тогда найду еще кого-нибудь помочь нам с клапанами.

– Да не волнуйся ты из-за меня, – сказал Джиггс. – Господи, а то я не знаю, какое у нас положеньеице. Знаю не хуже тебя. Идите, я умоюсь и вас догоню, вы еще до главной ихней улицы не успеете дойти.

Они пошли вниз; шляпа Шумана, опускаясь толчками, скрылась в лестничном проеме. Перемещения Джиггса на резиновом ходу приобрели теперь особое легкое проворство. Подхватив сапоги, он прошел с ними за занавес – в тесную отгороженную каморку, увешанную опять-таки одеялами и прочими кусками потертой и выцветшей, крашеной и размалеванной ткани, чья символика была темна, а назначение – непостижимо, где, помимо стула, стола, умывальника и комода, на котором лежали целлулоидная расческа и два

галстука такого вида, что их можно было бы представить себе извлеченными из мусорного бака, если бы люди, которые там роются, носили галстуки, стояла кровать, своей опрятной застеленностью, своей аккуратной прибранностью криком кричавшая о том, что в ней совсем недавно лежала женщина, которая здесь не живет. Джиггс направился к умывальнику, но не для того, чтобы помыть руки и лицо. Сапоги – вот что он стал мыть, исследуя с угрюмой озабоченностью длинный шрам, пересекавший подъем правого, на котором, чудилось ему, можно было даже различить зеркальный отпечаток фирменного знака с чужой вредоносной набойки, и пытаясь оттереть метину мокрым полотенцем. «Может, не видно будет под гуталином, – думалось ему. – Так ли, сяк ли, хорошо, что не футболист, сволочь такая». От воды, однако, лучше не стало, так что он вытер голенища и подошвы обоих сапог, тщательно повесил на место грязное теперь полотенце и вернулся в первую комнату. Мимоходом он, возможно, и взглянул на бутылку, но вначале, прежде чем подойти к столу, он аккуратно положил сапоги в свой парусиновый мешок.

Из незаконного переулка он, если бы прислушивался, мог бы услышать звуки, даже возгласы. Но он не прислушивался. В ушах его звучала лишь та громовая тишина, то гулкое одиночество, в котором душа пересекает вновь и вновь возникающий перед человеком извечный Рубикон его порока в миг после ужаса, но до того, как триумф сменяется смятением, – в миг, когда пария морали и духа выкрикивает свое сла-

бенькое «Я – это я» в пустыню шанса и катастрофы. Он поднял бутылку; его горячие яркие глаза смотрели, как липкий стакан наполняется почти до половины; он выпил залпом, не разбавляя, потом, вслепую черпнув из лоханки несвежей и нечистой воды, выпил ее опять-таки залпом; на протяжении одной неистовой и безжалостно казненной секунды он думал о поисках и нахождении небольшой бутылки, которую он мог бы наполнить и носить с собой в мешке наряду с сапогами, грязной рубашкой, свитером и коробкой из-под сигар, в которой лежали кусок хозяйственного мыла, дешевая опасная бритва, плоскогубцы и моток изолированного провода, – но он не стал давать себе волю. «Будь я проклят, если я так поступлю!» – возопил он мысленно, хотя его безжалостное теперь нутро говорило ему, что самое большее через час он пожалеет об этом. «Будь я проклят, если я за спиной у человека выкраду его виски!» – воскликнул он, схватил мешок и опрометью сбежал с лестницы, являя собой воплощение бегства от искушения, пусть даже демонстрируемая им добродетель скорее воспользовалась временным ослаблением желания, нежели прочно его нейтрализовала, поскольку в тот момент ему выпить не хотелось, а захотеться должно было позже, когда он был бы уже в пятнадцати милях от бутылки. Он бежал не от настоящей нужды в новой порции спиртного. «Не от этого я бегу, – сказал он себе, проносясь сквозь прихожую и приближаясь к уличной двери. – Нет, просто, хоть я и урод, я не всякое дерьмо буду

кушать!» – крикнул он, окруженный тихим белым сиянием чести и гордости, рывком распахивая дверь и затем прыгая вперед и вверх, в то время как репортер, их пропавший было ночной хозяин, медленно валился в прихожую ему под ноги, как пять минут назад, когда дверь открыл парашютист, под ноги остальным. Шуман тогда вытащил репортера наружу, и дверь захлопнулась за ними сама; после этого репортер вновь полулежал, прислонясь к ней, – трудноописуемые волосы клоками свисали на лоб, глаза были мирно закрыты, рубашка и съехавший набок галстук кисло задубели от блевотины. Когда Джиггс, в свой черед, распахнул дверь, репортер неторопливо стал падать боком в прихожую, Шуман, наклонясь, подхватил его, Джиггс перепрыгнул через обоих, а дверь своим ходом опять захлопнулась.

После этого с Джиггсом произошло нечто странное и непредвиденное. Не то чтобы его решимость ослабла, не то чтобы его цель, его намерение сменилось противоположным. Скорее весь его устойчивый мир, сквозь который он, уходя от искушения и ничего не подозревая, победно и чистосердечно пробежал, вдруг совершил зловердный поворот на сто восемьдесят градусов в тот самый момент, когда он, прыгнув, завис над двумя мужчинами в дверном проеме; и само его тело словно бы тоже стало тогда зловердным и, не спросив его, совершило посреди прыжка этакий кошачий поворот и явило перед ним слепую и неумолимую теперь дверную гладь, на которой, как на киноэкране, он увидел настоль-

ко отчетливо, что мог, казалось, дотронуться рукой, пустую комнату, стол и бутылку.

– Лови дверь! – крикнул он; казалось, он отскочил к ней вспять, еще даже не коснувшись плит тротуара, и стал скрести пальцами ее слепую поверхность. – Почему никто ее не поймал? – заорал он. – Почему вы не крикнули мне, черт вас дери?!

Но они на него даже не взглянули; теперь, наряду с Шуманом, над репортером склонился и парашютист.

– Ну что, – сказал Джиггс, – завтрак наш явился?

Они даже не посмотрели в его сторону.

– Так, – сказал парашютист. – Проверь давай, что у него там, или отойди и дай я проверю.

– Постой, – сказал Джиггс. – Сперва надо как-нибудь его в дом.

Он перегнулся через них и опять толкнул дверь. Он даже и ключ видел сейчас, лежащий на столе подле бутылки, – предмет столь незначительный по размерам, что его, вероятно, можно даже проглотить, не шибко навредив себе при этом, который теперь даже в большей степени, чем бутылка, символизировал одинокое, дразнящее и яростное сожаление, постулируя недостижимость соблазна, отстоящего не на мили, а на дюймы; гамбит, так сказать, сам себя отверг, что привело его в смятение и поставило в зависимость от идиота, который даже не может войти в собственный дом.

– Давай, ну, – сказал парашютист Шуману. – Проверь,

что там у него есть. Если, конечно, нас не опередили.

– Это да, – сказал Джиггс, ощупывая ладонью репортерский бок. – Но в дом бы его как-нибудь...

Парашютист взял его за плечо и резко отпихнул назад; попятившись, Джиггс вновь удержал равновесие и увидел, как женщина хватается парашютиста за руку, потянувшуюся уже к карману репортера.

– Ты отвали тоже, – сказала она. Парашютист выпрямился; они с женщиной посмотрели друг на друга – она холодно, твердо, спокойно, он напряженно, яростно, еле сдерживаясь. Шуман выпрямился еще раньше; Джиггс молча переводил пристальный взгляд с него на них и обратно.

– Хочешь, значит, собственноручно, – сказал парашютист.

– Вот-вот. Собственноручно.

Секунду они еще глядели друг на друга, потом начали переругиваться короткими, отрывистыми, односложными словами, которые звучали как шлепки, а Джиггс тем временем, оперев руки в бедра, легко утвердился на резиновых подошвах туфель и подавшись немного вперед, смотрел то на них, то на Шумана.

– Так, – сказал Шуман. – Хватит, хорошего понемножку.

Он вклинился между ними, чуть отстранив парашютиста. После этого Джиггс повернул расслабленное тело репортера сначала на один бок, затем на другой, а женщина, наклонившись, обшарила его карманы и извлекла оттуда несколько

мятых купюр и горстку монет.

– Пятерка и четыре по доллару, – сказал Джиггс. – Дай мелочь сосчитаю.

– На автобус нужно три, – сказал Шуман. – И еще три возьми, больше не надо.

– Да, – сказал Джиггс. – Семи или восьми нам хватит. Слушай. Оставь ему пятерку и оставь один бумажкой на мелкие траты.

Взяв у женщины пятерку и доллар, он сложил их и засунул репортеру в брючный кармашек для часов, после чего готов был уже подняться, как вдруг увидел, что приваленный к двери репортер смотрит на него широко открытыми, спокойными и абсолютно пустыми глазами, чистым зрением, никак пока что не связанным с рассудком и мыслью, словно двумя ввернутыми в череп и перегоревшими лампочками.

– Гляньте-ка, – сказал Джиггс, – он...

Он вскочил на ноги и увидел лицо парашютиста за секунду до того, как парашютист схватил женщину за запястье, выкрутил у нее из руки деньги, швырнул их, как горсть камешков, в безмятежное, глазастое, незрячее лицо репортера и с бессильной, отчаянной яростью проговорил:

– Я могу есть и спать за счет Роджера, могу даже за твой. Но не за счет твоего передка, ясно тебе?

Он взял свой чемодан, повернулся и быстро пошел; Джиггс и мальчик смотрели, как он идет к устью переулка и сворачивает за угол. Потом Джиггс перевел взгляд на жен-

щину, которая стояла не шевелясь, и на Шумана, опустившегося на колени и собирающего рассыпанные вокруг неподвижных ног репортера монеты и купюры.

– Теперь нам бы в дом его как-нибудь, – сказал Джиггс. Они не ответили. Но он, казалось, и не ждал никакого ответа, не надеялся на него. Он тоже встал на колени и принялся подбирать с тротуара монеты. – Да, – сказал он. – Джек уж бросит так бросит. Хорошо, если половину найдем.

Но они по-прежнему не обращали на него никакого внимания.

– Сколько было? – спросил Шуман женщину, протягивая Джиггсу раскрытую ладонь.

– Шесть семьдесят, – ответила женщина.

Джиггс ссыпал деньги Шуману в ладонь; такие же неподвижные, как Шуман, горячие глаза Джиггса смотрели, как Шуман взглядом пересчитывает монеты.

– Так, – сказал Шуман. – Еще полдоллара.

– Я сигарет хотел купить, – сказал Джиггс. На это Шуман не ответил никак – просто продолжал стоять на коленях с протянутой рукой. Секунду помедлив, Джиггс положил в нее значенную было монету. – Ладно, – сказал он. Выражение его горячих ярких глаз было теперь совершенно невозможно прочесть; он даже не смотрел, как Шуман кладет деньги в карман, – просто взял свой парусиновый мешок и сказал: – Плохо, что мы не можем его с улицы забрать.

– Да, – подтвердил Шуман и подхватил второй чемодан.



– Но не можем – значит, не можем. Пошли. – Он двинулся вперед, даже не оглянувшись. – Стержень какого-то клапана вытянулся, – сказал он. – Даю голову на отсечение. Думаю, поэтому вчера мотор так разогрелся. Надо их все снимать и мерить.

– Да, – сказал Джиггс. Он со своим мешком шел позади остальных. Он тоже пока не оборачивался; он глядел Шуману в затылок с пристальным тайным размышлением, с видом невыразительным и даже, можно сказать, безмятежным; он обращался мысленно к самому себе с сардонической, почти юмористической сдержанностью: «А как же. Знал ведь, что пожалею. Господи, пора уже было научиться не давать честности разгуляться до воскресенья. Потому что все со мной было в порядке до... а теперь зависеть от идиота, который...» Он наконец оглянулся. Репортер по-прежнему полулежал, прислоненный к двери; спокойные глубокомысленные пустые глаза, казалось, смотрели на них с прежней серьезностью, без удивления и упрека.

– Боже мой, – произнес Джиггс вслух, – я же сказал ему ночью, что это не парегорик; это лауданум<sup>21</sup> или вроде того... – Потому что на какое-то время до этого момента он позабыл о бутылки, он думал про репортера и только сейчас вспомнил про бутылку. «Теперь скоро уже», – подумал он с неким отчаянным возмущением, сохраняя в лице абсолютное спокойствие, следуя за остальными тремя, при каждом

---

<sup>21</sup> Настойка опия.

шаге ощущая сквозь ткань мешка биение сапог по ногам, белея горячими, пустыми и мертвыми, как будто обращенными внутрь черепа глазами, выставившими наружу слепые изнанки, тогда как взгляд их был сосредоточен на горячих бешеных извивах спиртного, уловленного тенетами плоти и нервов, – непрочной сетью, в которой он пребывал, жил. – Позвонить в газету и сказать, что он заболел, – предложил Джиггс, впадая в то лицемерное помрачение тяги и желания, что даже в таком нерушимом одиночестве безжалостно отметаает в сторону всякое помышление и понятие о правдивости и лживости. – Может, кто-нибудь из газетчиков сообразит, как войти. Им с Лаверной скажу, что меня попросили подождать и показать дорогу...

Они добрались до устья переулка. Не замедляя шага, Шуман вытянул шею и стал высматривать на улице парашютиста.

– Пошли, пошли, – сказал Джиггс. – Он на остановке автобуса, где ему еще быть? Хоть и обижен-разобижен, пешком он туда не потопает.

Но на остановке парашютиста не оказалось. Автобус вот-вот должен был отправиться, однако среди сидящих в нем он тоже отсутствовал. Предыдущий ушел десять минут назад; Шуман и женщина описали парашютиста диспетчеру, который сказал в ответ, что и там такого человека не было.

– Все-таки, значит, решил пешком, – сказал Джиггс, подвигаясь к подножке. – Ну что, залазим?

– Можно было бы сейчас поехать, – сказал Шуман. – Вдруг явится к следующему.

– Жди, – сказал Джиггс. – Попросить бы водителя, чтобы брал за проезд поменьше.

– Да, – внезапно сказала женщина. – Лучше там поедим.

– Мы могли его обогнать и не заметить, – сказал Шуман.  
– У него же нет...

– Кончай, – сказала она холодным и жестким тоном, не глядя пока на Джиггса. – Еще неизвестно, с кем у нас сегодня будет больше хлопот – с Джеком или вон с ним.

Теперь Джиггс почувствовал, что на него смотрит и Шуман – смотрит раздумчивым взглядом из машинносимметричного круга новой шляпы. Но он не пошевелился; неподвижно, как один из манекенов, что в восемь утра выкатываются наружу хозяевами магазинов и ломбардов в трущобных районах, он стоял в тихом и замершем ожидании, в глубокой задумчивости, глядя обращенным внутрь взором на нечто, не являющееся даже мыслью и кидающее ему из невообразимого вихря полувоспринятых образов, подобного колесу рулетки с напечатанными фразами вместо чисел, неистовые обрывки планов и альтернатив: сказать им, что слышал слова парашютиста о том, что он собирается вернуться на Амбуаз-стрит, и вызваться привести его; вырваться на пять минут, стрельнуть у первого встречного, у второго, у третьего и так набрать пятьдесят центов; и наконец, твердо и бесповоротно, с отчаянной убежденностью истины и раскаяния,

что, если, к примеру, Шуман сейчас даст ему монету и велит пойти глотнуть, он не возьмет ее даже – или, хорошо, возьмет, но выпьет только одну и не больше, исключительно из благодарности за избавление от бессильной нужды, от лихорадочных помышлений и расчетов, заставлявших его и теперь придавать голосу невинную непринужденность.

– С кем, со мной? – спросил он. – Да брось ты, я от души ночью зарядился, теперь хватит надолго. Поехали; он, поди, зайцем уже дернул туда.

– Ладно, – сказал Шуман, глядя на него все с той же открытой и смертельной серьезностью. – Надо снимать и промерять микрометром клапаны. Слушай, что я скажу. Если сегодня все будет нормально, вечером получишь бутылку. Понял?

– Боже ты мой, Боже, – отозвался Джиггс. – Неужто опять надираться? Судьба. Пошли сядем наконец.

Они сели. Автобус тронулся. Теперь ему полегчало, потому что, имея он даже эти полдоллара, он все равно не смог бы ничего себе на них купить до остановки автобуса или до приезда в аэропорт и, с другой стороны, он двигался наконец к цели; он вновь подумал в громе и гуле одиночества в миг экзальтации между ужасом и смятением: «Им меня не остановить. Кишка тонка у них меня остановить. Выждать, только и всего».

– Да, – сказал он, подав вперед голову между головами Шумана и женщины над спинкой их сиденья, за которым

расположились он и мальчик, – он, скорей всего, уже там, у машины. Я рвану прямо туда, начну с клапанами, а его отправлю к вам в ресторан.

В аэропорту, как они слезли, парашютиста опять-таки видно не было, хотя Шуман некоторое время стоял и вглядывался в пустую предполуденную площадь, как будто надеялся вернуть былую, истаявшую секунду, следующую за той, в которую парашютист скрылся из глаз, миновав устье переулка.

– Пойду начну, – сказал Джиггс. – Если он в ангаре, скажу, чтобы шел к вам в ресторан.

– Сперва поедим, – сказал Шуман. – Успеешь.

– Да я не хочу сейчас, – сказал Джиггс. – Потом пожую. Взяться бы уже...

– Нет, – сказала женщина. – Роджер, не...

– Пошли, позавтракаешь с нами, – сказал Шуман.

Джиггсу почудилось, что он долго-долго уже стоит в ярко дымчатом солнечном свете, ощущая легкое побаливание в челюстях и по контуру рта, хотя на самом деле, скорее всего, это длилось не так долго, и голос его, как бы то ни было, звучал нормально.

– Ладно, – сказал он. – Уговорил. Клапаны, они же не мои, в конце-то концов. Не мне в три на них в воздух подыматься.

В круглом зале не было ни души, в ресторане тоже, если не считать их самих.

– Я только кофе, – сказал он.

– Позавтракай как полагается, – сказал Шуман. – Слышишь?

– Я не голодней сейчас, чем там, у столба фонарного, две минуты назад, – сказал Джиггс. Голос по-прежнему был в норме. – Я согласился зайти, только и всего. Что есть буду, не обещал.

Шуман смотрел на него сумрачно.

– Слушай меня, – сказал он. – Ты за утро сколько раз прикладывался – два, три? Поешь чего-нибудь. А вечером, если захочешь, я те же две-три порции тебе обеспечу. Захочешь – хоть в стельку можешь вечером. Но сейчас клапаны.

Джиггс сидел совершенно неподвижно, глядя сперва на свои лежащие на столе ладони, затем на руку официантки, упертую локтем в стол подле него и окольцованную по запястью четырьмя дешевыми вулвортовскими браслетами, на малиновый блеск ее ногтей, словно бы тоже купленных в магазине и со щелчком надвинутых на кончики пальцев.

– Понял, – сказал он. – А теперь ты меня слушай. Тебе какого надо механика? Который пособляет тебе с клапанами, пусть даже пару раз с утра приложился, или такого, который поверх выпивки набил брюхо жратвой и дрыхнет себе в углу? Ты просто скажи мне, какого тебе надо, и такой у тебя будет. Потому что послушай меня. Я хочу кофе, и все. Я даже не требую, я просто тебя прошу. Просьбу уважить надо.

– Хорошо, – сказал Шуман. – Тогда только три завтрака, – сказал он официантке. – И два кофе еще... Черт бы его взял,

этого Джека, – сказал он. – Ему ведь тоже есть надо.

– Да в ангаре он, где же ему быть, – сказал Джиггс.

Они и правда нашли его в ангаре, хотя не сразу. Когда Шуман и Джиггс вышли в комбинезонах из инструментальной и встали за сетчатой дверью, чтобы дождаться женщину, которая переодевалась после них, первым, что они увидели, было пять или шесть фигур в таких же комбинезонах, толпящихся вокруг двойной доски, которой вчера еще здесь не было, установленной точно по центру ангарных ворот, – большой доски с крупно намалеванным от руки текстом, повелительным, в ощутимой мере шифрованным и на данный момент невнятным, как будто слова были произнесены через репродуктор:

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Всем участникам состязаний, всем пилотам, парашютистам и иным лицам, претендующим на денежные призы в ходе воздушного праздника, собраться сегодня в 12 часов дня в кабинете директора. Отсутствие будет сочтено выражением согласия с решениями организационного комитета соревнований.

Пока Шуман и женщина читали, другие молча смотрели на них.

– С какими решениями? – спросил один. – К чему это все? Знаешь, нет?

– Не знаю, – ответил Шуман. – Джек Холмс уже пришел? Кто-нибудь видел его сегодня?

– Вон он, – сказал Джиггс. – У машины, я же говорил. – Шуман посмотрел в дальнюю часть ангара. – Уже снял капот. Видишь?

– Вижу, – сказал Шуман и тут же двинулся к самолету. Джиггс, почти не шевеля губами, обратился к стоявшему ближе всех:

– Полдоллара можешь мне одолжить? Вечером отдам. Только быстро.

Он взял монету; схватил ее; когда Шуман дошел до самолета, Джиггс уже почти догнал его. Парашютист, сидевший на корточках под мотором, глянул на них коротко и не прерывая манипуляций, как мог посмотреть на тень от бегущего по небу облака.

– Завтракал? – спросил Шуман.

– Да, – сказал парашютист, больше не поднимая головы.

– На какие шиши? – спросил Шуман.

Парашютист как не слышал. Шуман вынул из кармана деньги – последнюю долларовую бумажку, три монеты по двадцать пять центов и несколько пятицентовиков – и положил две по двадцать пять на моторную раму у локтя парашютиста.

– Поди кофе выпей, – сказал Шуман. Но парашютист, копавшийся в моторе, будто не слышал. Шуман стоял, глядя ему в затылок. Потом локоть парашютиста задел моторную



раму. Монеты зазвенели по бетонному полу, Джиггс живо нагнулся и вновь выпрямился, протягивая деньги, прежде чем Шуман успел шевельнуться или заговорить.

– Вот они они, – сказал Джиггс негромко. За десять футов его уже не было бы слышно: неистовство, триумф. – Вот они они. Считай. Считай и ту сторону, и эту, чтобы уж наверняка.

Больше они не разговаривали. Они работали тихо и споро, как цирковая группа, с той экономией движений, что присуща натренированным и слаженным командам, а женщина подавала им необходимые инструменты; им даже и не надо было обращаться к ней, называть инструмент. Теперь легко стало, как тогда в автобусе; только и дела, что ждать, а клапаны тем временем снимались один за другим и выкладывались на верстак длинной аккуратной цепочкой, а потом, само собой, настал тот самый момент.

– Уже, наверно, почти двенадцать, – сказала женщина. Шуман окончил манипуляцию, которую начал. После этого взглянул на часы и встал, разминая затекшую спину и ноги. Потом посмотрел на парашютиста.

– Готов? – спросил он.

– Умываться и переодеваться не будешь? – спросила женщина.

– Не буду, – сказал Шуман. – Вдвое больше времени уйдет. – Он опять вынул из кармана деньги и дал женщине три двадцатипятицентовика. – Когда Джиггс кончит снимать клапаны, сходите с ним перекусите. И не пытайся, – он по-

смотрел на Джиггса, – без меня орудовать микрометром. Вернусь – сам займусь. Можешь пока почистить нагнетатель, а там как раз мы и придем. – Он опять посмотрел на Джиггса. – Ты наверняка уже проголодался.

– Да, – сказал Джиггс. Он не прерывал работу и не смотрел, как они уходили. Он сидел под мотором на корточках враскоряку, напряженный, как спица зонтика, ощущая затылком взгляд женщины. Он говорил теперь без ярости, без триумфа, без звука: «Иди, проваливай. Тебе меня не остановить. Хоть промеж ног меня зажимай, остановишь на минуту разве, не больше». Он не называл женщину мысленно ни Лаверной, ни как бы то ни было еще; пока он снимал нагнетатель, она, глядящая ему в затылок и понятия не имеющая, что уже побеждена, была для него быстро блекнущим остатком от некоего обобщенного «они» или «оно».

– Так хочешь ты есть или не хочешь? – спросила она. Он не отвечал. – Давай сэндвич принесу. – Он безмолвствовал. – Джиггс, – сказала она. Вскинув брови, которые ушли под козырек кепки, он посмотрел назад и вверх горячими яркими глазами – неподвижными, пустыми, вопрошающими.

– Что? Ты что-то сказала? Повтори, я не понял.

– Да. Ты есть пойдешь сейчас? Или мне сюда тебе принести что-нибудь?

– Нет. Я не голодный еще. Сперва кончу с нагнетателем и уж потом руки помою. Ты иди. – Но она не двигалась; стояла и смотрела на него.

– Я тебе денег тогда оставлю, кончишь – приходи.

– Денег? – сказал он. – Да на кой мне деньги, когда я по уши в этом моторе.

Вот тут-то она отвернулась и пошла. Он видел, как она приостановилась и позвала мальчика, который был в группе людей, работавших в другом конце ангара; услышав, он двинулся к ней, и вместе они вышли за ворота и скрылись из виду. Тогда Джиггс встал; аккуратно положив инструмент, который был у него в руке, он сквозь ткань нащупал рукой лежавшую в кармане монету, хотя особой нужды в этом не было: он и так чувствовал ее все время. Он не о женщине сейчас думал и не с ней говорил; тихо, без триумфа, без экзальтации он произнес:

– Покедова, шпионочка.

Между тем в отношении репортера они не могли сказать, видел он их или нет, хотя, вполне возможно, он не в состоянии был ничего видеть и слышать вообще; во всяком случае, стройная и еще довольно молодая негритянка со светлой кожей, в пальто и шляпке хоть и не новых, но модных, с плетеной корзинкой, аккуратно накрытой чистой тряпочкой, в руке, подошедшая к двери примерно в полдесятого, почти сразу же решила, что не в состоянии. Секунд десять она смотрела на него сверху вниз, полностью погруженная в совершенно безличное размышление, потом помахала рукой у него перед глазами и обратилась к нему по фамилии; по-

том обшарила его карманы, никак не перемещая и не шевеля его тело; одним проворным, бескостным, мягко-хищным осьминожьим движением ее рука проникла внутрь и вынырнула с двумя сложенными бумажками, лежавшими там, где их оставил Джиггс, потом рука совершила второй мягкий и быстрый нырок, на сей раз к себе под пальто, и явилась наружу пустой. Природа расы и пола говорила ей, что надо взять только одну из купюр, сколько бы их там ни лежало, в данном случае либо пятерку, либо доллар в зависимости от ее конкретных нужд, от настроения минуты и от общей ситуации, но она взяла их обе и, выпрямившись, опять стала смотреть сверху вниз на прислоненного к двери человека с неким сумрачным и по-прежнему безличным ханжеским осуждением.

– Если он что отыщет потом у себя, урока тогда не будет, – сказала она вслух. – Надо же, разлегся на улице пьян-пьянешенок. Где он был, кто его знает, но какими же олухами надо быть – отпустили человека и не обчистили до конца.

Откуда-то из-под пальто она вытащила ключ, отперла дверь и, в свой черед, подхватила репортера, когда он начал неторопливо валиться в прихожую. Затем вошла, но, быстро вернувшись с лоханкой грязной воды, внезапно выплеснула ее всю разом ему в лицо; после чего вновь подхватила его, когда он, не найдя чем дышать, затрепыхался.

– Вы бумажник-то догадались дома оставить, когда укладывались тут передремнуть? – закричала она, тряся его. –

Если нет, наверняка у вас только сам бумажник теперь и есть.

Она втащила его наверх по узкой лестнице почти волоком, как пожарный шланг, затем положила его, не подающего признаков жизни, все на ту же раскладушку и прошла в отгороженную занавесом спальню, где, бросив с совершенно непроницаемым видом один быстрый взгляд на аккуратно застеленную кровать, сразу поняла, что это не ее работа. Из корзинки она вынула передник и яркий платок; когда она вернулась к репортеру, платок и передник были на ней вместо шляпки и пальто, и она несла лоханку с теперь уже чистой водой, мыло и полотенца. По тому, как она стаскивала опоганенную рубашку с мужчины, который каждый день, кроме воскресений, в течение этого получаса был ее нанимателем, по тому, как обмывала его и одновременно шлепала, будя, по щекам, пока он вновь не обрел зрение и слух, видно было, что это ей не впервой.

– Уже одиннадцатый час, – сказала она. – Я газ зажгла, чтобы вам побриться.

– Побриться? Ты что, не знаешь? Мне теперь незачем бриться. Меня уволили.

– Тем более надо встать и привести себя в божеский вид. Его намокшие волосы были приклеены к черепу, но они не плотней облегли черепные бугры, кряжи и стыки, чем облегла их плоть его лица, и глаза его поистине казались теперь дырами, прожженными кочергой в пергаментном ди-

племе, в некоем выпускном аттестате излишеств. Он был гол выше пояса, и казалось, что не только каждое его ребро видно и спереди, и с боков, и сзади, но и вся грудная клетка обозрима полностью и с какого угодно угла подобно тому, как основа и уток проволочной сетки просматриваются с любой стороны. Он расслабленно колыхался под ее проворными, мягкими и неделикатными руками, способный, впрочем, к членораздельной речи и даже, можно сказать, собранный, хотя некоторое время он еще перемещался в сумеречной зоне между фикцией опьянения и фикцией трезвости.

– Ушли они? – спросил он.

Ни лицо негритянки, ни движения ее не изменились.

– Кто? – спросила она.

– Да, – сказал он дремотно. – Она была здесь ночью. Она вон в той постели ночью лежала. И только один из них с ней лежал, а могли бы и оба. Но она здесь была. Он – вот кто пить ей не позволял, вот кто забрал у нее из руки стакан. Да. Мне через занавеску слышен был все время этот протяжный мягкий ожидающий голос плоти женской.

Поначалу – в первую секунду – негритянка даже не поняла, что именно касается ее бедра, но затем, опустив глаза, увидела руку-палку, увидела ломкую, невесомую и, казалось, бесчувственную ладонь, похожую на пук сухих сучьев, которая слепо блуждала и тыкалась в ее бок, в то время как глаза смотрели из исхудалых глазниц, как пятнышки гаснущего дневного света, отраженного водой в глубине двух за-

брошенных колодцев. Негритянка не смутилась и не рассердилась; она избежала прикосновения слепой на вид или, возможно, просто пока еще онемелой руки одним гибким перемещением бедер, одновременно обращаясь к нему, называя его по фамилии, произнося слово «м-и-с-т-е-р» полностью и по-негритянски протяжно, как будто оно состоит из двух частей по два-три слога каждая.

– Знаете-ка что, – сказала она. – Если вы уже сами чего-то можете, вот, полотенце лучше держите. Или припомните, сколько у вас денег было, по-вашему, и сколько они вам оставили, когда кинули вас на улице отсыпаться.

– Денег? – переспросил он. Теперь он пробудился окончательно, в смысле – его разум, хотя руки все равно, прежде чем найти карман, сначала потыкались не туда под взглядом негритянки, стоявшей сейчас подбоченясь. Она ничего не добавила к сказанному, просто смотрела на его тихое озадаченно-сосредоточенное лицо, пока он обследовал один пустой карман за другим. Она больше не заговаривала о тех, кто с ним был; молчание нарушил он, крикнув:

– Я был за дверью, снаружи спал, в переулке! Тебе известно, ты же нашла меня. Отсюда ушел, заснул там, потому что ключ забыл и не мог войти; я задолго до света уже там был. Ты знаешь сама. – Она молчала и молчала, глядя на него. – Я все помню до момента, когда забылся!

– И сколько у вас денег было, когда вы забылись?

– Нисколько! – воскликнул он. – Нисколько. Все потра-

тил. Понятно?

Когда он встал, она предложила довести его до спальни, но он отказался и пошел сам – пошатываясь, но более или менее сносно. Когда через некоторое время она двинулась за ним вслед, ей стало слышно сквозь фанерную перегородку, как он возится в нише чуть просторней стенового шкафа, куда она тоже вошла, чтобы поставить кофейник на газовую плиту, около которой он брился. Окинув безмятежную спальню еще одним холодным непроницаемым взглядом, она вернулась в переднюю комнату и застелила взбаламученную койку: расправила одеяло, разложила подушки. Подняла с пола грязную рубашку и полотенце, помедлила, положила рубашку на койку, но полотенце в руке оставила, подошла к столу и с тем же задумчиво-непроницаемым лицом перевела взгляд на бутылку. С изысканной аккуратностью обтерла полотенцем один из липких стаканов, налила в него из бутылки с наперсток или чуть побольше, деликатно отставила согнутый мизинчик и выпила чередой махоньких птичьих глоточков, всем видом своим выказывая глубочайшее отвращение. После этого собрала из ночного раскиданного хлама столько, сколько могла без больших неудобств отнести, и вернулась в спальню, причем, когда она подходила к стоявшей у стены корзинке, на которой лежали ее пальто и шляпа, ее шагов не было слышно вовсе, как не было слышно ни звука, когда она затем нагибалась и доставала из корзинки бутылку средних размеров, сверкающе-чистую, как стерилизованная



бутылка из-под молока. Обычно ни в одном отдельно взятом помещении из тех, через которые пролегал маршрут ее утреннего обхода, она не наполняла бутылку разом; она наполняла ее мало-помалу со своего рода предусмотрительной бережливостью и экономией, чтобы во второй половине дня прийти домой с пинтой жидкости безымянной, таинственной, сильнодействующей и странной. Но на сей раз она опять сочла ситуацию стопроцентно надежной и, наполнив бутылку, вернулась и так же беззвучно положила ее в корзинку. Репортеру слышались время от времени только шорохи половой щетки и другие приглушенные звуки, словно комната посредством некой собственной призрачно-незримой силы прибирала себя сама, пока негритянка, вновь в пальто и шляпке, с корзинкой, надетой на руку и накрытой опрятной тряпочкой, не подошла наконец к нише, где он стоял, повязывая галстук.

– Я кончила, – сказала она. – Кофе сделала, но долго вам, может, не стоит за ним рассиживать.

– Хорошо, – сказал он. – Я бы еще деньжат у тебя занял.

– До газеты вам десяти центов хватит добраться. Что, неужели даже столечко не осталось?

– Мне не идти ни в какую газету. Я же говорю: я уволен. Мне два доллара.

– Я деньги не просто так получаю. В тот раз вот одолжила, а вы через три недели только начали отдавать.

– Я помню. Но мне кровь из носу нужно. Ну, не упрямясь,

Леонора. В субботу верну.

Она сунула руку под пальто; одна из купюр была его.

– Ключ на столе, – сказала она. – Я его тоже помыла.

Стол был чисто вытерт и пуст, если не считать ключа; он взял его и, опустив на него глаза, задумался, похожий уже не на ярко и радостно мертвого, как до нескольких ночных часов неистового разгула, а на того, кто вернулся или по крайней мере выглядывает из самой преисподней.

– Подумаешь, – сказал он. – Не имеет значения. Сущий пустяк. – Он стоял в чистой пустой комнате, где ни следа уже не было – ни окурка, ни обгорелой спички. – Да, – подумал он. – Даже шпильки одной не оставила. Хотя, наверно, она ими не пользуется. Или, может, я просто пьян был и сюда вообще никто не приходил, – глядя на ключ со слабенькой трагической гримаской, способной с натяжкой сойти за улыбку, говоря с самим собой, давая себе совет, которым, он знал, он не собирался воспользоваться, когда выпрашивал займы два доллара. – Потому что до того, как я потратил одиннадцать восемьдесят, а затем еще пять на абсент, у меня было тридцать. Значит, должно было остаться тринадцать с небольшим. – Тут он воскликнул, не шевелясь, негромко: – Помимо всего, может, она мне еще скажет. Может, она все время хотела сказать, но им некогда ждать было, пока я оклемаюсь, – даже не давая себе труда признаться в заведомой лжи, просто говоря самому себе с тихим упрямством: – Ладно, Что бы ни было, я отправляюсь. Даже если мне пешком

топать придется, чтобы минуточку всего постоять там, где она меня сможет увидеть.

Держа на сей раз ключ в руке, он захлопнул за собой дверь и, прислонясь к косяку той самой двери, у которой спал, постоял секунду-другую, сначала зажмурив глаза, в которые ударил свет худосочного солнца, затем открыв их и при этом вспомнив про кофе, который сварила ему негритянка, а он забыл выпить, – а переулочек меж тем расплывался в миражах, покачиваясь, как морская или озерная гладь, на фоне которой конечный пункт предстоящей поездки с его мукой мученической, с его надеждой и ужасом насильственно отобразился на протестующей сетчатке в виде яркого и призрачного павильонного сияния под реющими пурпурно-золотыми остроконечными флажками.

– Подумаешь, – сказал он. – Деньги всего-навсего. Не имеет значения.

Когда он добрался до аэропорта, еще не было двух, но автомобильные стоянки вдоль бульвара уже наполнились молодыми людьми, оплачиваемыми, несомненно, из того или иного нехотя одобренного наверху национального фонда, в пурпурно-золотых фуражках, взятых напрокат ради праздника или, возможно, вообще обязательных, липнувшими к дверцам машин, движущимися, как некие отдельные от всего торсы, над сплошной линией, создаваемой верхними контурами уже припаркованных машин, как будто эти молодые люди состояли из одних голов и плеч, которые ездили ту-

да-сюда на проволочках без видимой цели и без ясного смысла. По бетонным канавообразным проходам текли к зданию ровные людские потоки, однако репортер не пошел вместе со всеми. Налево был ангар, где почти наверняка находились сейчас они, но он и туда не стал сворачивать; он просто стоял в ярком дымчатом напоенном сыростью солнечном свете под хлопаньем реющих наверху остроконечных флажков из плотной ткани, причем полоскавший их ветер, казалось, продувал его насквозь, не холодный, не неприятный, – просто колыхал облекавшую его одежду, как будто только она и препятствовала движению воздуха, свободно проходившего сквозь его грудную клетку и меж прочих костей. «Надо поесть, – вспомнил он. – Надо», – еще не двигаясь никуда, словно зависнув в силовом поле данного кому-то обещания, которое ему не хватало духу нарушить. Ресторан был недалеко; ему слышался уже стук ножей и вилок, слышались голоса, чудился уже запах пищи, вспоминалось, как они втроем сидели там вчера, как мальчик из последних сил сражался со второй порцией мороженого. Затем он услышал настоящие звуки, шум, почуял запах подлинной еды, стоя в зале ресторана и глядя на их вчерашний стол, где теперь сидела семья, начиная с бабушки и кончая младенцем на руках. Он подошел к прилавку.

– Завтрак, – сказал он.

– Что вы будете? – спросила подавальщица.

– Что на завтрак едят? – сказал он, глядя на нее – на фар-

фороволицую женщину, чьи волосы и одежда были, казалось, сделаны из разновидностей того материала, из которого встарь шились нарукавники для бухгалтеров, – и улыбаясь или, скорее, считая, что улыбается. – А, верно, верно. Время завтрака ведь уже прошло.

– Что вы будете?

– Ростбиф, – вымолвил наконец его рассудок. – Картошку, – сказал он. – Да все равно что.

– Сандвич или ленч?

– Да, – сказал он.

– Что – да? Вы заказывать будете или не будете?

– Сандвич, – сказал он.

– Сандвич с картофельным пюре! – крикнула подавальщица.

«Так-то вот, – подумал он, словно уже исполнил обещание; словно, заказав еду, пойдя на это, он тем самым уже и съел ее. – А потом я...»

Но миражом был ресторан, не ангар; миражом были прилавок, стук столовых приборов, сопровождавшие еду звуки. Ему чудилось, будто он видит всю группу: самолет, четыре взрослые фигуры в комбинезонах, малыша в комбинезончике и себя самого, приближающегося к ним. *Надеюсь, вы перед уходом нашли все, что искали? Да, спасибо. Тринадцать долларов. Только до субботы. – Само собой; сущие пустяки. Не о чем говорить.* Внезапно он услышал репродуктор, установленный в круглом зале; он вещал уже некоторое время,

но ему стал внятен только сейчас:

– ...второй день воздушного праздника по случаю торжественного открытия аэропорта Фейнмана, проводимого по официальным правилам Американской воздухоплавательной ассоциации и при поддержке города Нью-Валуа и полковника Фейнмана, председателя совета по канализации города Нью-Валуа. Программа второй половины дня включает в себя...

В этот момент он перестал слушать и, вынув из кармана вчерашнюю программку-брошюрку, открыл ее на второй из бледно отпечатанных на мимеографе страниц:

Пятница

14.30 Прыжок с парашютом на точность приземления. Призовая сумма – 25 долл.

15.00 375 куб. дюймов. Скоростная гонка. Квалификационная скорость – 180 миль в час. Призовая сумма – 325 долл.: (1) 45%, (2) 30%, (3) 15%, (4) 10%.

15.30 Воздушная акробатика. Жюль Деппен (Франция), лейтенант Фрэнк Горем (США).

16.30 575 куб. дюймов. Скоростная гонка. Квалификационная скорость – 200 миль в час. Призовая сумма – 650 долл.: (1) 45%, (2) 30%, (3) 15%, (4) 10%.

17.00 Затяжной прыжок с парашютом.

20.00 Специальный вечерний праздничный номер.

Он смотрел на страницу еще долго после того, как предыдущий образ, вызванный оптическим сюрпризом, начал блекнуть.

– Только и всего, – сказал он. – Только это от нее и требуется. Просто сказать мне, что они... Да не в деньгах дело. Она знает это прекрасно. Деньги для меня не больше значат, чем для них.

Подошедшему мужчине пришлось обратиться к нему дважды, прежде чем репортер осознал, что перед ним кто-то стоит.

– Привет, – сказал он.

– А ты, значит, выбрался-таки сюда, – сказал подошедший. Позади него стоял еще один человек – небольшого роста, унылый лицом, с фотоаппаратом газетчика.

– Да, – ответил репортер. – Здорово, Стопарь, – сказал он второму. Первый посмотрел на него с любопытством.

– Тебя как будто через преисподнюю за ноги проволокли, – сказал он. – Что, будешь и сегодня праздник освещать?

– Нет, насколько я знаю, – сказал репортер, – меня вроде как уволили. А что такое?

– Я думал, ты мне это объяснишь. Хагуд звонит мне из постели в четыре утра, велит приехать и, если тебя тут не будет, освещать. Но главное – смотреть, появишься ты или нет, и, если появишься, сказать, чтобы ты позвонил ему по этому

номеру. – Он вынул из жилетного кармана и дал репортеру сложенную бумажку. – Это загородный клуб. Он сказал, чтобы ты позвонил, как только я тебе передам.

– Спасибо, – отозвался репортер, не двигаясь с места. Первый подошедший посмотрел на него.

– Так ты что собираешься делать? Сам будешь освещать или я буду?

– Нет. В смысле, да. Ты освещай. Не имеет значения. Стопарь лучше понимает, чего хочет Хагуд, чем ты или я.

– Ладно, – сказал первый подошедший. – Но все равно Хагуду-то позвони.

– Позвоню, – сказал репортер.

Явилась еда – нерушимый холм на тарелке и намытая рука с порочными ногтями-кораллами, которая тоже выглядела так, будто ее задумали, вылепили и испекли на кухне либо здесь, либо, может быть, в городе, откуда легким и быстрым грузовичком доставили в аэропорт вместе с витыми выпечными изделиями, выставленными под стеклянным прилавком. Он бросил на еду и на руку взгляд с гребня волны чистого и почти физического бегства.

– Надо же, сестрица, – сказал он. – Я, оказывается, не знал, на что замахиваюсь.

Но он выпил кофе и что-то все-таки съел; ему казалось, что он медленно и жутко ползет по тарелке, как крот, слепой ко всему прочему и глухой даже к репродуктору; он съел даже в общем-то немалую часть, обливаясь потом и, пока взя-



тому в рот не приходило время быть проглоченным, жуя, казалось, годы и годы.

– Хватит, наверно, – сказал он в конце концов. – Бог ты мой, вот уж действительно хватит.

Он был теперь в круглом зале и двигался к воротам, ведущим на трибуны, но вдруг вспомнил, повернул назад и направился против людского потока к главному входу и наружу, в яркий мягкий дымчатый солнечный свет, недавно, казалось, извлеченный из воды и еще не до конца просохший, в мешанину людей и лиц, в хаос машин, которые подъезжали, освобождались от пассажиров и уезжали. По ту сторону площади ангарная пристройка колыхалась и подрагивала, как приземлившийся воздушный шар.

«Но мне же лучше сейчас, – думал он. – Не может не быть. Съесть все это и не почувствовать себя лучше мне бы не разрешили, ведь взаправду так плохо, как мне сейчас кажется, просто не бывает».

Он опять услышал голос, раздававшийся из репродуктора над входом:

– ...должен объявить, что ввиду трагической гибели вчера вечером лейтенанта Фрэнка Горема организационный комитет соревнований отменил вечернюю часть программы... Итак, часы показывают час сорок две минуты. Первым номером сегодняшней программы будет...

Репортер остановился.

«Час сорок две», – подумал он. Чувствуя теперь, как что-

то – должно быть, съеденная сейчас пища – медленно и ровно колотится о его череп, который до сего времени был пуст и не причинял ему никакого беспокойства, помимо ощущения, что голова вот-вот уплывет, подобно упущенному ребенком в цирке воздушному шарик, он пытался вспомнить, на который час, по программке, назначена гонка в классе триста семьдесят пять кубических дюймов, и думал, что, когда он перейдет в тень, ему, может быть, хватит сил взглянуть на программку еще раз.

«Потому что я должен дать ей шанс признаться, что они украли... да нет, не в деньгах дело. В другом. При чем тут деньги».

Теперь наконец ангарная тень накрыла его, и он опять мог читать программку – слабо отпечатанные на мимеографе буквы, которые, пульсируя, бились о его перепуганно съевшиеся глазные яблоки, но мало-помалу успокоились, так что он сумел по своим часам узнать время. Только через час он может рассчитывать на разговор с ней один на один.

Он повернул, пошел вдоль стены ангара и, когда она кончилась, двинулся дальше. Автомобильная стоянка на той стороне дороги была почти заполнена, и здесь тек еще один людской поток, направленный к дешевым местам. Хотя репортер стоял совсем рядом, глядя по-прежнему пульсирующими глазами на другой берег потока, где он замедлялся и сгущался перед одним из временных деревянных киосков с едой и напитками, вдруг выросших на периферии аэропор-

та подобно разукрасившим центр города фотографиям пилотов и аэропланов, ему не сразу стало ясно, что, помимо все еще сравнительно нового зрелища распития спиртных напитков под открытым небом, людей удерживает здесь и нечто другое. Потом ему показалось, что он узнаёт голос, а потом он и вправду узнал грязную, щегольски посаженную набекрень кепчонку и двинулся в толпу и сквозь нее, нажимая, просачиваясь и наконец втискиваясь между пьяной воинственной физиономией Джиггса и итальянским лицом владельца киоска, который, перегнувшись через прилавок, кричал:

– Сука, да? Ты меня сукой, да?

– Что случилось? – спросил репортер. Джиггс обернулся и секунду смотрел на него в горячей расплывчатой неузнающей сосредоточенности; ответил вместо него итальянец.

– Со мной – ничего! – закричал он. – Приходил сюда, пил первую, пил вторую; ему хватит, ему нельзя ни первую, ни вторую, но ладно – он плати, я наливай. Потом он говорит, ждет друга, просит наливать еще одну – другу сюрприз. Нехорошо, но жена моя, она ему наливай, и это уже три лишние ему, и я ему говорю: плати и пошел, хорошо? Уходи. Он говорит: ладно, пока, а я ему: а платить? А он мне: то другу был сюрприз и тебе заодно; тогда я его держать и полицию звать, потому что зачем мне пьянь всякая тут буйнит? А он меня при жене сукой...

Но Джиггс не двигался с места. Хотя ему, чтобы не упасть,

приходилось держаться за прилавок, он все равно производил впечатление туго взведенной стальной пружины, снабженной высокочувствительным спуском.

– Это точно, – сказал он. – Три порции, и смотри, как они меня! – на подъеме голоса, с верхней точки сорвавшегося в идиотский смех; после чего он все с той же расплывчатой серьезностью уставился на репортера, наблюдая, как он вынимает вторую из двух долларовых купюр, которые одолжила ему негритянка, и дает итальянцу.

– А вот и Колумб явился, – сказал Джиггс. – Ага. Я говорил ему. Господи Иисусе, я даже фамилию твою хотел назвать, но припомнить не мог. – Он воззрился на репортера горячо и пристально, как изумленный ребенок. – Слушай, мне тот тип ночью сказал твою фамилию. Она точно такая, без дураков? Честно?

– Да, – сказал репортер. Он положил ладонь Джиггсу на руку. – Давай. Надо идти. – Приостановившиеся ради зрелища люди уже двинулись дальше. За прилавком итальянец и его жена, казалось, потеряли к репортеру и Джиггсу всякий интерес. – Пошли, – сказал репортер. – Уже, наверно, третий час. Поможешь подготовить машину, а потом я куплю тебе еще выпить.

Но Джиггс по-прежнему не двигался с места, и вдруг репортер обнаружил, что Джиггс смотрит на него из-за ширмы горячих глаз чем-то пытливым, соображающим и расчетливым; глаза эти уже отнюдь не были расплывчатыми, и вне-

запно, прежде чем репортер мог поддержать его, Джиггс распрямился.

– А я тебя искал, – сказал он.

– Надо же, раз в жизни явился ко времени. Пошли в ангар. Небось они тебя там заждались. А потом я тебе...

– Да ладно, это я так, – сказал Джиггс. – Дразнил я его просто. У меня еще двадцать пять центов. Я принял сколько мне надо, больше не хочу. Пошли.

Он двинулся впереди шагом чуть более аккуратным, чем обычно, но все равно пружинистым и легким, упруго проталкиваясь сквозь поток людей, направлявшихся к воротам, – репортер за ним, – пока они не вышли на свободное пространство; кто бы теперь к ним ни приблизился, мог сделать это только намеренно, и они должны были бы заметить его еще ярдов за сто. Однако приближающегося парашютиста ни тот, ни другой почему-то не заметил.

– Машина что, готова? – спросил репортер.

– Конечно, – сказал Джиггс. – Роджера и Джека там даже и нет. Они пошли на собрание.

– На собрание?

– Ага. Участников. Бастовать будут, понятно? Но дело не в этом, слушай...

– Бастовать?

– А как же. Чтобы больше платили. Но не в деньгах дело, тут принцип. Господи, да на кой нам деньги? – Джиггс опять захохотал, сорвавшись с пронзительной верхней ноты лику-

ющего голосового восхождения. – Но не в этом дело. Искал я тебя. – Репортер опять посмотрел в горячие нечитабельные глаза. – Меня Лаверна послала. Чтобы стрельнул у тебя для нее пятерку. – Лицо репортера не изменилось вовсе. Лицо Джиггса тоже: горячая непроницаемость глаз, мембрана и волокно паутинной сети, улавливающей беспечных и непугливых. – Роджер вчера обогатился – в субботу получишь свое обратно. Только я на твоём месте ждать бы не стал. Пусть рассчитается безналично, понял меня?

– Безналично?

– Ага. Тогда тебе и в карман ничего не класть, не трудиться. Вся забота – штаны потом застегнуть.

И сейчас лицо репортера не изменилось, голос тоже – негромкий, неизумленный.

– Думаешь, получится?

– Не знаю, – ответил Джиггс. – А ты что, никогда не пробовал? Говорят, этим каждую ночь кто-то где-то на свете занимается. Может, даже и здесь, в Нью-Валуа. Да ничего, не умеешь – она тебя научит.

Лицо репортера по-прежнему не менялось; он просто смотрел на Джиггса, и тут вдруг Джиггс зашевелился – мгновенно и весь; репортер, увидев, как горячие скрытные глаза бешено ожили, обернулся и тоже уперся взглядом в лицо парашютиста.

Это было в начале третьего; Шуман и парашютист пробыли в кабинете директора с двенадцати до двенадцати соро-

ка пяти. Они вошли в полдень в ту же неприметную дверь, что и Джиггс накануне, и, миновав первую комнату, оказались в помещении, похожем на зал заседаний банковского совета директоров: длинный стол, за ним – шеренга удобных кресел, на которых расположилось примерно с дюжину мужчин, каких можно увидеть в городе за любым подобным столом, а напротив, поодаль, – ряды стульев, сделанных из стали и покрашенных под дерево, на которых с чудной серьезностью старших и лучше ведущих себя мальчишков в исправительном заведении в канун Рождества сидели другие мужчины, те, кому в это время дня полагалось бы заниматься в ангаре своими машинами, – летчики и парашютисты в замасленных комбинезонах или кожаных куртках, лишь немногим более чистых, – тихие трезвые лица, обернувшиеся, когда вошли Шуман с парашютистом. Как исчез синий серж прошлой ночи, так не было сейчас и твидовых пиджаков с почетными ленточками, за одним исключением, которое составлял персонифицированный репродукторный голос. Комментатор сидел обособленно от обеих групп, отодвинув свое кресло, которому полагалось быть с краю стола, на несколько футов, как будто намеревался откинуться вместе с креслом назад, прислониться к стенке и положить ноги на стол. Но лицом он был так же серьезен, как обе группы; мизансцена в точности изображала официальные переговоры между владельцами фабрики и делегацией из цехов, причем комментатор казался юристом, специализирующимся по

трудо­вому пра­ву, быв­шим ра­бочим, с чьих рук, од­на­ко, уже успе­ли сойти мозоли, так что, если бы не ка­кая-то безымян­ная и неискорени­мая осо­бен­ность его оде­жды, нечто упря­мо неортодоксаль­ное и даже экс­цен­три­че­ское, навеки отгра­ни­чи­ваю­щее его как от лю­дей за сто­лом, так и от лю­дей перед ним, с ко­то­ры­ми его при­том навеки объе­ди­няет проф­со­юз­ный зна­чок на лац­ка­не, он вполне мог бы сидеть за сто­лом вме­сте с вла­дель­ца­ми. Но он сидел от­дель­но. При­чем са­ма ма­лость рас­сто­я­ния между ним и сто­лом под­ра­зу­ме­ва­ла раз­рыв, пре­одо­ли­мый труднее, чем даже раз­рыв между сто­лом и дру­гой груп­пой, как если бы он, ком­мен­та­тор, был оста­нов­лен по­сре­ди неистового дви­же­ния, выра­жав­шего если не протест, то по меньшей мере несо­г­ла­сие, при­хо­дом имен­но тех, ко­го он заочно защи­щал. Он кивнул Шуману и па­ра­шю­ти­сту, ко­то­рые нашли сво­бо­дные стуль­я и се­ли, и об­ра­тил­ся к пух­ло­лице­му муж­чине в цен­тре сто­ла.

– Все собрались, – сказал он.

Люди за сто­лом об­ме­ня­лись негромкими ре­пли­ка­ми.

– На­до его дож­даться, – сказал пух­ло­лицый. Затем он по­вы­сил го­лос: – Мы ожидаем пол­ко­в­ни­ка Фейн­мана, дру­зья. – Он вынул из жи­лет­ного кар­мана часы; еще трое или чет­веро тоже по­с­мо­тре­ли на часы. – Он рас­по­ря­дился созвать всех к двенадцати. Сам он пока за­дер­жи­ва­ется. Если хо­тите, можете ку­рить.

Во второй груп­пе не­ко­то­рые за­ку­ри­ли, под­нося друг дру­гу за­ж­е­нные спич­ки и чинно пе­ре­го­вариваясь, как школь­



ники в классе, которым дали минуту-другую на тихие беседы с соседями по парте:

– В чем дело, не знаешь?

– Не знаю. Скорей всего, что-то насчет Горема.

– Пожалуй, да. Наверно.

– Черт, зачем они всех-то нас...

– Кстати, что, по-твоему, случилось?

– Ослепило, похоже.

– И я так думаю. Ослепило.

– Да. Может, вообще не видел высотометра. Или забыл посмотреть. И боданул землю.

– Ага. Вот ведь... Помню, я как-то раз...

Они пускали дым. Чтобы не рассыпать пепел, они держали сигареты так, словно это были капсулы динамитных патронов, молча поглядывая на чистый новенький пол; время от времени они аккуратно стряхивали пепел себе под ноги. Но в конце концов окурки стали жечь им пальцы. Тогда один поднялся; вся комната смотрела, как он идет к столу, берет с него пепельницу, декоративно уподобленную радиальному мотору, возвращается к стоящим в три ряда стульям и пускает ее по рукам, как церковное блюдо для пожертвований. Шуман посмотрел на часы: двадцать пять минут первого. Он тихо обратился к комментатору, словно они были в комнате одни:

– Хэнк, тут вот какое дело. Я снял все клапаны. Мне надо их промерить микрометром, прежде чем...

– Понял, – сказал комментатор. Он повернулся к столу.  
– Ну, так что же? Люди в сборе. Гонка в три, им надо готовить машины; у мистера Шумана, например, сняты все клапаны. Может быть, вы им объясните, в чем дело, не дожидаясь Фе... полковника Фейнмана? Они наверняка согласятся. Я говорил вам уже. Что, собственно, они могут... в общем, они согласятся.

– На что? – спросил сосед Шумана. Но пухлолицый председательствующий уже заговорил:

– Полковник Фейнман распорядился...

– Верно, – терпеливо сказал комментатор. – Но ребятам надо готовить машины. Так мы лишим тех, кто купил билеты, зрелища, за которое они заплатили.

Люди за столом вновь обменялись тихими фразами, сидевшие напротив молча смотрели на них.

– Мы, конечно, можем провести сейчас предварительное голосование, – сказал пухлолицый. Он перевел взгляд на ряды стульев и кашлянул. – Комитет, представляющий бизнесменов Нью-Валуа, которые финансируют этот воздушный праздник и дают вам возможность выигрывать денежные призы...

Комментатор повернулся к нему.

– Секунду, – сказал он. – Позвольте, я им объясню.

Он повернулся к серьезным, почти одинаковым лицам сидящих на жестких стульях и заговорил, как Шуман, негромко:

– О программках, вот о чем речь идет. О напечатанных, с расписанием на каждый день. Их изготовили на прошлой неделе, и на них значится имя Фрэнка...

Председательствующий перебил его:

– И комитет хочет выразить вам, его коллегам-пилотам, дру...

Его, в свою очередь, перебил один из сидящих за столом:

– И от имени полковника Фейнмана.

– Да, и от имени полковника Фейнмана вам, друзьям и товарищам лейтенанта Горема, свое искреннее соболезнование по поводу вчерашнего несчастного случая.

– Да, – сказал комментатор; он даже не бросил взгляда в сторону говорящего, просто ждал, когда он кончит. – И теперь получается, что они – члены комитета – обещают зрителям то, чего не могут предоставить. Они считают, что имя Фрэнка надо убрать из программ. В этом я с ними согласен, и вы, думаю, тоже.

– Так уберите, – раздался голос из второй группы.

– Да, – сказал комментатор. – Они хотят это сделать. Но единственный способ, как вы понимаете, – напечатать новые программки.

Но они пока еще не понимали. Просто смотрели на него и ждали. Председательствующий снова кашлянул, хотя перебивать ему было некого – никто не говорил.

– Мы организовали выпуск этих программ для пользы и удобства участников, то есть вас, как и для пользы и удобства

зрителей, без которых, конечно же, никаких денежных призов не было бы вовсе. Поэтому в некотором смысле именно вы, участники, представляете собой подлинных заказчиков этих программ. Вы, а не мы; расписание номеров не является для нас ни полезной информацией, ни неожиданностью, поскольку мы причастны к их организации, хоть и непричастны к победам – ведь нам было объяснено (и, добавлю, мы увидели это сами), что воздушные гонки не достигли еще, м-м-м, научных высот лошадиных бегов... – Он вновь кашлянул; из-за стола раздались негромкие вежливые смешки. – Печатание этих программ было сопряжено с ощутимыми расходами, которые всецело легли на нас, хотя они, эти программы, были разработаны и изготовлены ради вашей... не скажу, выгоды, но, во всяком случае, ради вашей пользы и удобства. Мы заказали их, полагая, что все обещанное в них будет представлено зрителям; мы, как и вы, не могли предвидеть этого несчастного слу...

– Да, – сказал комментатор, – вот, значит, что выходит. Кто-то должен заплатить за новые программы. Эти ребята... то есть... они говорят, мы... участники, комментаторы, в общем, все, кто получает с праздника доход, должны на это потратиться.

Они не проронили ни звука, и выражение неподвижных лиц не изменилось; изменился тон комментатора, заговорившего теперь и просительно, и настойчиво, без какого-либо протеста или несогласия, явного или скрытого:

– Речь идет всего о двух с половиной процента. Со всех нас – с меня тоже. Только два с половиной процента; их вычитут из призовых денег, и вы этого, можно сказать, не заметите, так они говорят, потому что выигрыши все равно еще вам не выплачены. Только два с половиной процента, и...

Человек из второй группы подал голос еще раз.

– А иначе? – спросил он.

Комментатор не ответил. Чуть погодя Шуман спросил:

– Это все?

– Да, – сказал комментатор.

Шуман встал.

– Пойду клапанами займусь, – сказал он.

Когда они с парашютистом шли теперь через круглый зал, толпа равномерно текла сквозь ворота. Встав в очередь и дошаркав до ворот, они поняли, что не пройдут, поскольку у них нет билетов на трибуну. Так что они повернули обратно, протолкались сквозь толпу и кружным путем двинулись к ангару, идя теперь посреди тихого басовитого гуда, плывущего откуда-то сверху, со стороны солнца; поначалу оно мешало им увидеть звено военных одноместных истребителей, которые, не нарушая строя, заходили на посадку дугой вокруг летного поля и затем приземлялись – быстрые, тупоносые, яростно набычившиеся, мощно-зловредные.

– Они опасно форсированы, – сказал Шуман. – Расслабишься – убьешься. Не хотел бы я за двести пятьдесят шесть в месяц на таком вот летать.

– Там, по крайней мере, у тебя не вычтут никакие два с половиной процента, когда ты отлучишься на ленч, – свирепо сказал парашютист. – Сколько это – два с половиной процента от двадцати пяти?

– Не все двадцать пять, не волнуйся, – сказал Шуман. – Надеюсь, Джиггс подготовил нагнетатель, можно обратно уже ставить.

Так что лишь почти у самого самолета они обнаружили, что женщина работает одна, без Джиггса, и что она уже поставила на место нагнетатель при все еще снятой крышке мотора и при снятых клапанах. Она поднялась и отвела со лба волосы тыльной стороной запястья, хотя они ни о чем еще не успели спросить.

– Да, – сказала она. – Я решила, что он в норме. Пошла поесть и оставила его тут одного.

– А потом ты его видела? – спросил Шуман. – Где он сейчас, знаешь, нет?

– Какая, к черту, разница? – проговорил парашютист сдавленным неистовым голосом. – Надо снимать этот сволочной нагнетатель и ставить клапаны. – Он посмотрел на женщину, сдерживая ярость. – Что он в тебя такое впрыснул, скажи на милость? Похоже, верой в человечество тебя одарил, как другой мог сифилисом, чахоткой или что там бывает. Джиггсу доверие оказала – это же надо!

– Заканчивай, – сказал Шуман. – Снимаем нагнетатель. Клапанные стержни он, догадываюсь, не проверял?

– Не знаю, – сказала она.

– Ладно, не важно. Вчера они выдержали, а сейчас все равно некогда. Если не будем тратить время на проверку, к трем, может, управимся.

Они управились раньше; до трех вывели самолет на предангарную площадку и запустили мотор, после чего парашютист, на протяжении всей работы пребывавший в угрюмой ярости, повернулся и быстро двинулся прочь, хоть Шуман его и окликнул. Он пошел напрямик туда, где находились Джиггс с репортером. Он не мог знать, где их искать, и тем не менее направился именно к этому месту, словно бы ведомый неким слепым инстинктом ярости. Появившись в поле зрения Джиггса, он немедленно ударил его в челюсть, так что удивление, тревога и шок, сменяя друг друга, пришли почти одновременно, и, пока Джиггс падал после первого удара, парашютист врезал ему еще раз, после чего развернулся лицом к репортеру, поймавшему его за руку.

– Спокойно! Спокойно! – кричал репортер. – Он же пьян! Как можно бить...

Парашютист не произнес ни слова; репортер увидел его разворот, завершившийся кулачным ударом, которого он не почувствовал вовсе.

«Я слишком легкий, чтобы меня свалить, чтобы даже ушибить как следует», – подумал он; он все еще втолковывал себе это, когда его поднимали и ставили, когда руки держали его, не позволяя бескостным ногам подогнуться, когда

он смотрел на Джиггса, теперь уже сидящего в небольшом частокле ног, и на трясущего его полицейского.

– Здорово, Леблан, – сказал репортер. Полицейский перевел на него взгляд.

– Ты, что ли? – проговорил полицейский. – Вот и новостями разжился, поздравляю. Как раз для газеты, такое прочтут за милую душу. «Репортер сбит с ног разгневанным пострадавшим», звучит? Вот уж новости так новости. – Он начал несильно пинать Джиггса боком ботинка. – Кто это? Твой сменщик? Вставай. На ноги, на ноги.

– погоди, – сказал репортер. – Он ни при чем. Подвернулся случайно. Он здесь по механической части. Авиатор.

– Ясно, – сказал полицейский, дергая Джиггса за руку. – Говоришь, авиатор? Что-то не мягко он приземлился, надо сказать. А по морде его небось туча хряснула.

– Авиатор. Он пьяный был, и только. Я все беру на себя. Еще раз тебе говорю: он ни при чем. Ему вмазали по ошибке. Оставь его в покое, Леблан.

– Да на кой он мне сдался, – сказал полицейский. – Берешь на себя, ну и ладно, бери. Веди его тогда в помещение. – Он повернулся и начал расталкивать людское кольцо. – Проходите, нашли тоже зрелище. Гонка сейчас начнется, не стойте тут.

Так что теперь они опять остались вдвоем, и репортер, старательно балансируя на невесомых ногах («Надо же, – подумал он. – Хорошо, что я такой легкий и могу парить») и



с опаской ощупывая челюсть, думал с мирным изумлением: «Ничего не почувствовал вообще. Надо же, мне казалось, я не настолько массивный, чтобы меня можно было так сильно стукнуть, но, выходит, я ошибался». Он нагнулся, по-прежнему с опаской, и стал тянуть Джиггса за руку, пока тот наконец не устоял на него пустым взглядом.

– Поднимайся, – сказал репортер. – Идти надо.

– Да, – сказал Джиггс. – Точно. Идти.

– Ну, – сказал репортер, – вставай.

С помощью репортера Джиггс медленно поднялся на ноги; он стоял, глядя на него часто моргающими глазами.

– Мать честная, – сказал он. – Что случилось-то?

– Оно самое, – сказал репортер. – Но теперь все в порядке.

Кончено с этим. Пошли. Куда ты хочешь идти?

Джиггс двинулся, репортер рядом, поддерживая его. Вдруг Джиггс отпрянул; подняв глаза, репортер тоже увидел невдалеке ворота ангара.

– Не туда, – сказал Джиггс.

– Хорошо, – сказал репортер. – Не туда, так не туда.

Они повернули; теперь репортер вел Джиггса, опять преодолевая поток людей, направлявшихся к трибунам. Он чувствовал, что челюсть разбалчивается, и, оглядываясь и задирая голову, видел, как самолеты один за другим достигали над заданной точкой заданной высоты и как под каждым из них падающее тело расцветало парашютом.

«А бомбу-то я не услышал, – подумал он. – Или может, ее

хлопок меня и свалил».

Он посмотрел на Джиггса, который шел рядом на негибких ногах, так что казалось, будто рессорная сталь в них по мановению волшебной палочки лишилась упругости и была теперь всего-навсего мертвым железом.

– Слушай, – сказал он. Он остановился сам и остановил Джиггса, после чего, глядя на него, заговорил нудно и аккуратно, словно втолковывая что-то ребенку. – Мне надо в город. В газету. Меня начальник вызвал, понятно? Так что скажи мне, куда тебя отвести. Может, тебе где-нибудь полежать? Я могу найти машину, в которой ты...

– Нет, – сказал Джиггс. – Я на ходу. Пошли.

– Да. Конечно. Но тебе хорошо бы...

Теперь уже все парашюты раскрылись; солнечное после-полуденное небо наполнилось опрокинутыми чашами, похожими на перевернутые водяные гиацинты. Репортер легонько потряс Джиггса:

– Слушай, проснись. Что там у них теперь? После прыжков.

– Что? – спросил Джиггс. – После прыжков? Теперь?

– Да, да. Что? Не помнишь?

– Ага, – сказал Джиггс. – Теперь.

Довольно-таки долго репортер смотрел на Джиггса сверху вниз, слегка приподняв, словно бы от боли в челюсти, один угол рта, смотрел не то чтобы с озабоченностью, или сожалением, или даже безнадежностью, а, скорее, со смутным и

насмешливым предвидением.

– Ладно, – сказал он и вынул из кармана ключ. – Это-то хоть помнишь?

Джиггс, моргая, уставился на ключ. Потом перестал моргать.

– Ага, – сказал он. – Лежал на столе около бутылки. А потом от идиота пришлось зависеть, который разлегся там за дверью, а я дал ей захлопнуться...

Он перевел взгляд на репортера, уставился на него, опять заморгал.

– Боже праведный, – сказал он. – Принес ее, что ли?

– Нет, – сказал репортер.

– Черт. Дай мне ключ; я пойду и...

– Нет, – сказал репортер. Он положил ключ обратно в карман и вынул сдачу, которую дал ему итальянец, – три монеты по двадцать пять центов. – Ты сказал, пятерка. Но столько у меня нет. Это все, что есть. Ну и ладно, ведь пусть даже у меня было бы сто долларов, это ничего бы не изменило; все равно не хватило бы, потому что всего, что у меня есть, никогда не хватает, понимаешь? Держи.

Он положил три монеты Джиггсу в руку. Секунду Джиггс смотрел на свою ладонь, не шевелясь. Потом ладонь закрылась; он перевел взгляд на репортера, и лицо его стало разумным, осмысленным.

– Ага, – сказал он. – Спасибочки. Не волнуйся. В субботу получишь свое обратно. Мы же теперь богатенькие; а Род-

жер, Джек и другие ребята сегодня бастуют. Не ради денег, тут принцип, понятно?

– Понятно, – сказал репортер. Он повернулся и пошел. Челюсть уже вполне отчетливо давала себя знать сквозь слабую гримасу улыбки, гримасу жалкую, горькую и кривую. «Верно. Не в деньгах дело. Подумаешь, деньги. Не имеет значения». Он услышал на этот раз бомбу и, двигаясь к предангарной площадке, видел, как пять самолетов взмывают в воздух и уменьшаются под слышный теперь ему звонкий голос из установленных с равными промежутками репродукторов:

– ...второй номер программы. Класс – триста семьдесят пять кубических дюймов. Некоторые из тех, что показали нам вчера хорошую гонку, участвуют и сегодня, но нет Майерса, который готовится лететь в классе пятисот семьдесят пять. Однако Отт и Буллит вышли на старт, как и Роджер Шуман, который всех нас вчера удивил, взяв второй приз в яростной борьбе...

Он нашел ее почти сразу; сегодня она не переодевалась, осталась в комбинезоне. Он протянул ей ключ, все сильнее и сильнее ощущая челюсть сквозь искажившую лицо гримасу.

– Располагайтесь как дома, – сказал он. – Сколько хотите, столько и живите. Я на некоторое время уезжаю, так что мы, возможно, не увидимся. Положите тогда ключ в конверт и отправьте на адрес газеты. И располагайтесь как дома; по утрам, кроме воскресений, приходит женщина делать убор-

ку...

Пять самолетов пошли на первый виток: рык и рев, переходящие в дробь торопливо убегающих хлопков с наветренной стороны, когда машины по очереди огибали пилон и удалялись.

– То есть вам квартира вообще не понадобится?

– Нет. Меня в городе не будет. Я отправляюсь в командировку.

– Понимаю. Что ж, спасибо. Я хотела вас за ночлег поблагодарить, но...

– Ага, – сказал он. – Ну, мне пора. Передайте всем остальным от меня привет.

– Хорошо. Но вы уверены, что...

– Конечно. Все нормально. Располагайтесь как дома.

Он повернулся; быстро пошел, быстро думая: «Если бы я мог хотя бы...» Он слышал, как она дважды его окликнула; подумал, не попробовать ли побежать на бескостных ногах, и почувствовал, что тогда упадет, слыша ее шаги уже совсем рядом, думая: «Нет. Нет. Не надо. Больше ни о чем не прошу. Нет. Нет». Вот она уже с ним поравнялась; он остановился, повернулся и посмотрел на нее.

– Вы знаете, – сказала она, – мы взяли некоторую сумму у вас из...

– Да. Знаю. Все нормально. Вы можете вернуть. Положите в конверт вместе с...

– Я собиралась сказать вам сразу, как только сегодня вас

увидела. Дело в том...

– Ага, конечно. – Теперь он говорил громко, вновь отворачиваясь, бросаясь в бегство еще до того, как начал двигаться. – Когда угодно. Ну, до свидания.

– Мы взяли шесть семьдесят. Осталось... – Она приумолкла; она смотрела на него, на жалкую застывшую гримасу, которую трудно было назвать улыбкой, но невозможно было назвать как-либо еще. – Сколько денег вы обнаружили утром у себя в кармане?

– Деньги были на месте, – сказал он. – За вычетом тех шести семидесяти. Так что все в порядке.

Он двинулся дальше. Самолеты вернулись и, пока он шел к зданию и входил в круглый зал, вновь обогнули пилон на поле аэродрома. Первым, кого он увидел, войдя в бар, был фоторепортер, которого он звал Стопарем.

– Угощать тебя выпивкой я не собираюсь, – сказал фоторепортер, – потому что я никого не угощаю. Даже Хагуда не угостил бы.

– Выпивка мне без надобности, – сказал репортер. – Мне нужно десять центов.

– Десять центов? Да это почти столько же, сколько порция.

– Чтобы позвонить Хагуду. Это будет лучше выглядеть в твоём отчете о расходах, чем выпивка.

В углу была телефонная будка; он набрал номер по бумажке, которую дал ему сменщик. Хагуд поднял трубку.

– Да, я на месте, – сказал репортер. – Да, чувствую себя нормально... Хочу приехать. Взять что-нибудь еще, другое задание... За пределами города, если это возможно, на день или на два, если вы... Хорошо. Спасибо, шеф. Еду немедленно.

Чтобы миновать круглый зал, ему надо было вновь пройти через голос, и тот же голос встретил его снаружи, хотя какое-то время он не прислушивался к нему, потому что слушал себя самого: «Ведь то же самое! Я точно так же сам поступал! Я тоже не собираюсь возвращать долг Хагуду! Я тоже лгал ему насчет денег!» – и ответ, не менее громкий: «Врешь, сволочь. Врешь, сукин сын». Так что он слышал репродуктор еще до того, как осознал, что слышит, и точно так же он остановился и полуобернулся еще до того, как осознал, что остановился, в ярком худосочном солнечном свете, полном миражных фигур, чью пульсацию болезненно ощущали его веки; так что, когда из-за угла ангара появились двое полицейских, а между ними – сопротивляющийся Джиггс с кепкой в руке, с полностью закрытым одним глазом и с длинным кровавым потеком на щеке, репортер его даже не узнал; он уставился на репродуктор над входом, как будто мог видеть в нем то, о чем только лишь слышал:

– У Шумана неполадки; он прекратил борьбу; он, по-видимому... он переложил рукоятку и собирается сесть; не знаю, в чем дело, но он резко уходит вбок; он старается держаться подальше от других машин, уже здорово отклонил-

ся, а озеро очень-очень мокрое, и лучше ему не летать над ним с неработающим мотором... Ну же, Роджер! К дому, к дому, браток!.. Он вернулся; пытается зайти на посадку, и, кажется, это получится, но солнце бьет ему в глаза, он очень сильно уходит в сторону, чтобы избежать... Не понимаю, в чем... Не по... Выше носовую часть, Роджер! Выше! Вы...

Репортер бросился бежать; не грохот падения услышал он, а общий долгий выдох толпы, словно микрофон успел выдвинуться и уловить из всего воздуха, которым когда-либо дышали люди, именно это движение атмосферы. Он побежал обратно, через круглый зал и через внезапно загудевшую толпу у входа, уже вытаскивая удостоверение; все лица последних суток, все победы, поражения, надежды, отречения и отчаяния этих двадцати четырех часов словно вымело из его жизни начисто единым махом, как если бы они были случайными страничками печатного органа, где он служил, нанесенными ветром на одну бесчувственную конечность вороньего пугала, которому он был подобен, а затем сдутыми прочь. Секундой позже за головами людей, бегущих по предангарной площадке, за «скорой помощью» и пожарной машиной, за мотоциклетной командой, несущейся по летному полю, он увидел лежащий перевернутый самолет с задранными кверху застывшим хрупким шасси, похожим на лапки мертвой птицы.

Через два часа на автобусной остановке на углу Гранльё-стрит женщина, стоявшая с Шуманом чуть поодаль, на-



блюдала за репортером, который, выйдя из автобуса и отдав купленные им четыре билета, стоял неподвижно. Она не могла определить, на кого он смотрит или на что; его лицо было просто спокойным, ожидающим и, на посторонний взгляд, рассеянным, даже когда к нему, свирепо волоча негнушуюся, неуклюжую и явно раздавленную под брючиной ногу, приковывал парашютист, которому оказали первую помощь в аэропорту после того, как перед самым приземлением его неожиданным порывом ветра пронесло над трибунами и шмякнуло об один из наспех возведенных киосков.

– Слушай, это самое, – сказал он. – Насчет мордобоя сегодняшнего. Это я на Джиггса взъярился. Тебе я зря вмазал. Просто я злющий был. Я подумал, это Джиггса харя, а потом уж было поздно.

– Все в порядке, – сказал репортер. Он не улыбался – просто был умиротворен и спокоен. – Я некстати под руку подвернулся, только и всего.

– Я не хотел тебя бить. Если ты компенсацию какую хочешь получить...

– Все в порядке, – повторил репортер. Рук пожимать друг другу они не стали; просто секунду-другую спустя парашютист повернул назад и приволок больную ногу к тому месту, где он стоял раньше, оставив репортера все в той же позе умиротворенного ожидания. Женщина опять посмотрела на Шумана.

– Если машина хорошая, почему Орд сам на ней не гоня-

ет? – спросила она.

– А зачем ему? – сказал Шуман. – Если бы у меня был его «девяносто второй», эта машина мне тоже была бы не нужна. Скорее всего, Орд так и рассуждает. К тому же я... мы еще ее не получили, так что о чем беспокоиться? Потому что если машина дерьмо, Орд нам ее не даст. Поняла? Если мы ее получим, этим будет доказано, что она хорошая, потому что Орд не стал бы...

Она теперь смотрела вниз, неподвижная, если не считать запястья одной из рук, которым она легонько постукивала по ладони Шумана. Голос ее был ровным, твердым и тихим, слышным самое большее за три фута:

– Всё «мы, мы». Вот, смотри: он поселил нас у себя и кормит уже, считай, сутки, а теперь собирается добыть нам другую машину. А я-то хочу другого, я жилье хочу, комнату; хибара даже сойдет, сарай угольный, где я буду знать, что в этот понедельник, и в следующий, и в следующий... Что-нибудь в этом роде он мне может, как по-твоему? – Она повернулась и сказала: – Нам бы идти уже, надо покупать лекарство для ноги Джека.

Репортер не услышал ее, потому что не слушал; теперь он обнаружил, что даже не смотрел. Он очнулся, только когда увидел, что она идет к нему.

– Мы к вам на квартиру, – сказала она. – Как я понимаю, вы и Роджер вернетесь вместе. Вы, видно, передумали теперь и не собираетесь уезжать из города?

– Да, – сказал репортер. – В смысле, нет, не передумал. Я пойду ночевать к сослуживцу из газеты. Обо мне не волнуйтесь. – Он смотрел на нее, изможденное лицо его было спокойным, умиротворенным. – Не переживайте. Со мной будет полный порядок.

– Да, – сказала она. – Насчет тех денег. Это была правда. Можете спросить Роджера и Джека.

– Все хорошо, – сказал он. – Я поверил бы, даже если бы знал, что вы лжете.

## И новое завтра

– Так что картина вам ясна уже, наверно, – сказал репортер. Он и на Орда смотрел сверху вниз, как ему, видно, вообще суждено было смотреть на тех, кого он был принужден, казалось, беспрерывно и вечно либо просить о чем-то, либо просто терпеть – возможно, в ожидании того дня, когда время и возраст сделают кровь, какая в нем есть, еще более жидкой и тем самым позволят ему ощущать себя всего-навсего дружелюбным и одиноким призраком, мирно поглядывающим с сеновала на детские игры внизу. – Что-то там с клапанами было не так, а потом им с Холмсом пришлось пойти на собрание, где заявляли о том, что ихние тридцать процентов противоречат трудовому кодексу, или о чем-то подобном; а потом Джиггс смылся, а потом им уже некогда было проверять клапанные стержни и заменять вышедшие из строя, а потом весь двигатель отказал, и ось руля направления, и два лонжерона, а завтра последний день. Невезение в чистом виде.

– Да, – сказал Орд.

Все трое по-прежнему стояли. Когда они только вошли, Орд, возможно, предложил им сесть из любезности, по привычке, хотя теперь он, видимо, уже не помнил об этом, как репортер и Шуман не помнили, что отказались, если они отказались. Но возможно, ни приглашения, ни отказа не было

вовсе. Репортер принес с собой в дом, в комнату атмосферу пьесы из флорентийской жизни пятнадцатого века: вечерний визит с формально-вежливыми словами на устах и обнаженными рапирами под покровом плащей. В безукоризненно-новеньком сиянии двух ламп под розовыми абажурами, подобных тем, что ежевечерне горят по три часа в образцах обстановки гостиной на магазинных витринах, все трое стояли, как приехали из аэропорта, – репортер в костюме, которым, видимо, исчерпывался его гардероб, Шуман и Орд в замшевых куртках с пятнами машинного масла, на посторонний взгляд неотличимых одна от другой, – в гостиной нового маленького опрятного, изобилующего цветами в вазах и горшках, дома Орда, построенного, как аэроплан, экономно и компактно, где новые, в тон друг другу софа, стулья, столы и лампы были расположены с концентрированной компактностью шкал и ручек на приборном щитке. Где-то за кулисами, судя по звукам, накрывали обеденный стол, женщина напевала, явно обращаясь к маленькому ребенку. – Ну хорошо, – сказал Орд. Он не двигался; его глаза, казалось, следили за обоими, не глядя впрямую ни на того, ни на другого, словно эти люди действительно вторглись к нему в дом с оружием. – Так чем я могу помочь?

– Речь вот о чем, – сказал репортер. – Не в деньгах дело и не в кубке; вы сами знаете это прекрасно. Вы недавно сами были из их числа, пока не встретили Аткинсона и вам не подфартило. Да что там, даже и сейчас, даже с Аткинсо-

ном, когда вам только и заботы, что клепать их, и пилон вам незачем видеть ближе, чем его видно с трибуны, и ноги от земли надо отрывать только раз в сутки, когда укладываетесь баиньки. И что же? Может, не вы, а кто-то другой носился в «девьяносто втором» как угорелый вокруг пилонов прошлым летом в Чикаго? Может, это был не Мэтт Орд? Так что кому-кому, а вам известно, что сволочной желтый металл тут ни при чем; Бог ты мой, ему даже не выдали еще то, что он вчера выиграл. Потому что, если бы это были просто деньги, если бы он просто пришел к вам и сказал, что нуждается, вы одолжили бы ему без звука. Я же знаю. Да вы и так все понимаете. Господи Иисусе, этого только дурак набитый не понимает после сегодняшнего, после того, как они в полдень в кабинете этом сидели. Ага, вот представьте-ка себе. Предположим, на этих чертовых жестких стульях сидели бы не они, а бригада, которую наняли спуститься, скажем, в шахту не для чего-то там такого особенного, а просто посмотреть, обвалится она им на головы или нет, и за пять минут до спуска толстобрюхие хозяева шахты сказали бы им, что плата всем уменьшается на два с половиной процента, потому что надо напечатать объявление о гибели одного из них вчера вечером, когда его придавило лифтом или чем-нибудь там другим тяжелым. Спустились бы они? Да навряд ли. А эти ребята – отказались они лететь? Кстати, может, машина Шумана не собственный клапан сглотнула, а скорлупку от арахиса, которую кто-то бросил с трибуны. Конечно, они за-

просто могли бы девяносто семь с половиной удержать и два с половиной им оставить, и все равно...

– Нет, – отрезал Орд. Он заговорил жестко, непререкаемо. – Я не позволил бы на нем Шуману даже пробный взлет и посадку на прямой полосе, и никому бы не позволил, не говоря уже о полете по кольцу. Даже если бы машина получила допуск.

Этим коротким словесным выпадом Орд словно бы прорвал наброшенную на него тонкую многоречивую сеть, но репортер, не мешкая, последовал за ним на новую территорию, суровую и оголенную, как боксерский ринг:

– Но вы же на нем летали. Я не в том смысле, что Шуман летает так же хорошо, как вы; я думаю, никто так хорошо не летает, хотя мое мнение – это не мнение даже, просто впечатление от часового полета, в который вы меня взяли. Но Шуман может летать на всем, что вообще способно подняться в воздух. Я в это верю. А допуск мы получим; лицензия-то еще действует.

– Да, действует. Но она только потому еще не аннулирована, что министерство знает: я не позволю ему оторваться от земли. Мало ее аннулировать, эту лицензию; ее надо разорвать на клочки и сжечь, уничтожить, как бешеную собаку. Нет-нет. Не дам я эту машину. Мне жаль Шумана, но не так жаль, как было бы завтра вечером, если бы завтра днем он гробанулся в этой машине у Фейнмана на аэродроме.

– Но послушайте, Мэтт... – сказал репортер, затем умолк.

Он говорил негромко и не сказать, чтобы очень уж настойчиво; однако при этом создавалось впечатление, что, хотя он давно уже окончательно обессилел, в невесомости своей он все еще цел, как летучее семя одуванчика, движущееся без ветра. В мягком розовом комнатном свете его лицо выглядело изможденней обычного, как будто после излишеств прошедшей ночи внутреннее пламя его жизни за неимением иного топлива питалось уже изнанкой его кожи, истончая ее и делая все более и более прозрачной, как изготавливают пергамент. Что его лицо выражало, было теперь совершенно невозможно понять. – Выходит, даже если бы мы могли получить допуск, вы все равно не позволили бы Шуману лететь.

– Точно, – сказал Орд. – Да, конечно, я жестко с ним поступаю. Это так. Но не самоубийца же он все-таки.

– Пожалуй, – сказал репортер. – До той точки, когда человек ничем, кроме смерти, не довольствуется, он еще не дошел. Ладно, поедем-ка мы обратно в город.

– Оставайтесь ужинать, – предложил Орд. – Я сказал жене, что вы...

– Нет, двинемся, пора, – сказал репортер. – Похоже, завтра нам весь день только завтракать, обедать да ужинать.

– Мы можем поесть, а потом поехать в ангар, там я покажу вам машину и попытаюсь объяснить...

– Это все прекрасно, – сказал репортер вежливым тоном. – Но нас интересует только такая машина, какую Шуман мог



бы видеть изнутри кабины завтра в три часа дня. В общем, извините за беспокойство.

Железнодорожная станция была недалеко; по тихой усыпанной гравием сельской улице они шли в темноте франсианского февраля, уже напоенного весной – франсианской весной, которая возникает почти что из бабьего лета наподобие чересчур поспешного театрального воскресения, вышедшего на аплодисменты еще до того, как трупное окоченение успело отвесить поклон; весной, когда случающийся раз в десятилетие мороз бьет по распутившимся цветам и раскрывающимся почкам. Они шли молча – даже репортер перестал разглагольствовать, – два человека, у которых трудно было найти что-либо общее, кроме дарованного репортером кратковременного безмолвия, – один летучий, иррациональный, призрачно проникающий сквозь все границы, сквозь все рамки плоти и времени и лишенный, как призрак, всякого собственного веса и объема, вследствие чего он мог оказаться где угодно, примазаться к чему угодно и стать для того или иного предсказуемого в его отсутствие круга предсказуемых людей последней каплей нежданного сдвига, а то и катастрофы; другой фатально и сумрачно устремленный всегда в одном направлении без малейшей интроверсии, без малейшей способности к объективации и рациональному рассуждению, как если бы, подобно мотору, машине, ради которой он, казалось, существовал, он мог двигаться, функционировать только в парах бензина и под пленкой масла, –

два человека, действующие сейчас заодно и могущие именно благодаря своему несходству достичь почти что любой цели. Они шли и, казалось, через некую неясную сокровенную среду сообщались друг с другом, излучая предощущение бедственного итога, к которому они бессознательно близились.

– Ладно, – сказал репортер. – Примерно этого мы и ждали.

– Да, – сказал Шуман. Потом они опять шли в безмолвии; словно молчание было их диалогом, а произносимые слова – монологом, общим ходом выстраивающейся мысли.

– Так боишься ты или нет? – поинтересовался репортер. – Давай разберемся, чего мы хотим; лучше разобраться прямо сейчас.

– Расскажи-ка мне еще раз, – попросил Шуман.

– Хорошо. Какой-то тип пригнал машину сюда из Сент-Луиса, чтобы Мэтт ее переделал; ему хотелось, чтобы она летала быстрее. У него был готовый план в голове: мол, надо вытащить мотор, немного изменить форму фюзеляжа и поставить другой двигатель, более мощный, но Мэтт сказал ему, что он этот план не одобряет, что мотор, который стоит в машине, как раз по ней, а владелец тогда спросил Мэтта, чья это машина, и Мэтт сказал – его, владельца; потом он спросил, кто деньги платит, и Мэтту пришлось согласиться. Но Мэтт считал, что фюзеляж надо переделывать сильней, чем хотел владелец, и в конце концов Мэтт заявил, что откажется совсем, если они не придут к компромиссу, и все равно Мэтт не шибко рад был этому заказу, он не хотел кром-

сать хорошую машину, а она и вправду хорошая, даже мне это было видно. Ну, и они пришли-таки к компромиссу, потому что Мэтт сказал ему, что иначе не станет испытывать самолет, не говоря уже о том, чтобы получать на него новую лицензию, а владелец сказал в ответ, что его, видать, ввели в заблуждение насчет Мэтта, и Мэтт тогда сказал ему – ладно, мол, если он хочет передать машину кому-то другому, он соберет ее в прежнем виде и даже не возьмет с владельца за место в ангаре. Так что в конце концов владелец согласился на изменения, которые Мэтт считал абсолютно необходимыми, но он захотел, чтобы Мэтт дал на машину гарантию, а Мэтт сказал ему, что его гарантией будет то, что он сядет в кабину и поднимется в воздух, а владелец сказал, что он имеет в виду облететь пилон, а Мэтт ответил, что его, похоже, действительно ввели в заблуждение и, может, лучше бы ему все-таки обратиться к кому-нибудь другому, и тогда владелец немного остыл, и Мэтт внес в конструкцию изменения, какие хотел, и поставил большой мотор, и пригласил Сейлза, инспектора, и они рассчитали машину на прочность, и Сейлз принял его работу, и тогда Мэтт сказал владельцу, что готов испытывать самолет. Владелец к тому времени уже поутих и сказал – хорошо, он, мол, поедет в город за деньгами, а Мэтт пусть пока испытывает, и вот Мэтт полетел.

Все это время они шли; репортер негромко рассказывал: – В общем-то, я плохо в этом разбираюсь; всего-то навсегда Мэтт взял меня однажды на час вторым к себе в маши-

ну; не знаю, почему он это сделал, и он сам, думаю, тоже не знает. Так что я не шибко понимаю подробности; из того, что сказал мне Мэтт, я понял только, что в полете все было в порядке, иначе Сейлз не дал бы «добро». Машина летала нормально, и планировала нормально, и все, что полагается делать в воздухе, делала, так что, когда это произошло, Мэтт ничего такого не ожидал: он заходил на посадку, рукоятку, говорит, подал на себя, машина слушалась отлично, и вдруг ни с того ни с сего он виснет на ремнях безопасности и землю видит вверху, перед самой носовой частью, а не под ней, где ей надлежит быть, и раздумывать, он сказал, времени не было, он просто пихнул рукоятку от себя что было силы, как будто хотел всадить ее в землю, и едва успел задрать носовую часть; он сказал, что на хвостовом оперении произошел...

– Срыв потока, – сказал Шуман.

– Вот-вот. Срыв потока. Он не знает, что именно повлияло на поток от винта, – то ли замедление перед посадкой, то ли близость земли; так или иначе, он выправил машину, держа рукоятку прижатой к теплозащитной перегородке, пока скорость не упала и поток не отрегулировался, и тогда он взял рукоятку на себя, вздернул носовую часть педалью газа и сумел остаться в пределах летного поля, сделав петлю по земле. Потом они дождались владельца, который ездил в город за деньгами, и чуть погодя Мэтт поставил машину обратно в ангар, где она стоит и сейчас. Так что решай – связываться или не связываться.

– Гм, – сказал Шуман. – Возможно, все дело в распределении веса.

– Да. Возможно. Может, ты сразу это поймешь, как только увидишь машину.

Они подошли к маленькой, освещенной одним фонарем, тихой станции, едва видимой в гуще олеандров, пальметто и вьющихся растений. И с той, и с другой стороны от платформы немигающий зеленый свет стрелочного фонаря в темном каньоне увешанных мхом виргинских дубов бледно отражали рельсы, на которые были реденько нанизаны огоньки домов. На юге по низкой вечерней облачности разливалось свечение города. До поезда оставалось минут десять.

– Где будешь ночевать? – спросил Шуман.

– Мне надо ненадолго зайти в газету. Оттуда с одним сослуживцем к нему домой.

– Лучше не к нему, а к себе домой. У тебя достаточно всяких ковриков и прочего тряпья, чтобы нам всем улечься. Нам с Джиггсом и Джеком не привыкать спать на полу.

– Это да, – сказал репортер. Он посмотрел на собеседника сверху вниз; друг другу они были видимы лишь немногим отчетливей расплывчатых пятен. Репортер заговорил с приглушенным, спокойным изумлением: – Пойми, где я буду – не имеет значения. Я могу быть в десяти милях, могу в одном шаге, по ту сторону занавески – разницы никакой. А смешно, правда: Холмс-то как раз на ней не женат, но если бы я ему что-нибудь подобное сказал, мне пришлось бы уво-

рачиваться, если бы у меня хватило на это расторопности. А ты вот женат на ней, и я запросто могу, поди ж ты... Да. А то давай, врежь мне. Потому что, наверно, даже если бы я спал с ней, разницы все равно не было бы. Я порой думаю, как это у вас: и ты с ней, и он, и, может быть, она не всегда даже различает, и мне иной раз кажется, что если бы еще и я был, она бы этого даже не почувствовала.

– Хватит, ради Христа, – сказал Шуман. – Чего доброго, я подумаю, ты для того подначиваешь меня лететь в драндулете Орда, чтобы самому на ней жениться.

– Это верно, – сказал репортер, – да. Я бы женился, если бы с тобой что... Да. Потому что... слушай. Мне ничего не надо. Может быть, потому, что я просто-напросто хочу того, что так и так было бы мое, но вряд ли дело только в этом. Да, я был бы тогда всего-навсего фамилией, моей фамилией, понятно? Домом, постелью, едой и так далее. Потому что, Боже ты мой, я все равно ходил бы, и только; это ничего бы не изменило: ты и он, а я бы только топал по земле; я бы, может, разве что с Джиггсом сравнялся, не более того. Потому что мне все равно думать про завтра, и про новое завтра, и так далее, вдыхать все те же запахи горелого кофе, дохлых креветок и дохлых устриц, ждать все у того же светофора в одно и то же время, как будто я и светофор работаем от одних и тех же часов, чтобы перейти улицу и попасть домой, а дома лечь спать, чтобы наутро встать, вдохнуть запах кофе и рыбы и опять ждать у светофора; плюс запах типографии

и газеты, где говорится, что среди победителей или побежденных в Омахе, или в Майами, или в Кливленде, или в Лос-Анджелесе был Роджер Шуман с семьей. Да. Я был бы фамилией; я мог бы, однако, трусы и ночные рубашки ей покупать, и постельные принадлежности были бы мои, даже полотенца... Ну что? Бить меня будешь, нет?

По коридору виргинских дубов, зародившись в дальней его части, побежал головной огонь поезда, делая этот коридор, этот каньон еще более глухим и непроницаемым. Теперь Шуман мог видеть лицо собеседника.

– Ты сослуживца, у которого сегодня собрался ночевать, предупредил об этом? – спросил он.

– Да. Обо мне не беспокойся. И вот что. Завтра надо ехать сюда поездом восемь двадцать.

– Хорошо, – сказал Шуман. – Послушай. Насчет денег этих...

– Все в порядке, – сказал репортер. – Деньги были на месте.

– Мы пятерку и доллар положили обратно тебе в карман. Если они пропали, я возьму в субботу, как и то, что мы взяли. Это наша вина; мы не должны были их оставлять. Но дверь захлопнулась, и мы не могли войти.

– Не имеет значения, – сказал репортер. – Деньги всего-навсего. Могли бы вообще их не отдавать.

Поезд приблизился, замедлил ход, освещенные окна содрогнулись и замерли. Вагон был изрядно набит, потому что

еще не было восьми, но в конце концов они нашли два места, расположенные одно за другим, так что разговаривать в пути они не могли. У репортера еще оставался доллар из позаимствованной пятерки; они взяли такси.

– Заедем сначала в газету, – сказал репортер. – Джиггс, должно быть, уже почти протрезвел.

Машина даже у самого вокзала мигом въехала в конфетти, двигаясь под грязными сгустками пурпурно-золотых бумажных гирлянд трехдневной уже давности, прибитых схлынувшим приливом, как плавучий мусор, к прокопченному вокзальному фасаду и по сию пору шепчущих о мучнисто-белых и бесприютных, о ярких огнях и пульсации Гранльё-стрит в милях отсюда. Дальше такси поехало между гирляндами, протянутыми от фонарного столба к фонарному столбу; затем – между высокими благопристойными пальмами; замедлило ход, повернуло и остановилось у двойной стеклянной двери.

– Я только на минутку, – сказал репортер. – Ты подожди в машине.

– Можно и пешком отсюда, – сказал Шуман. – Полицейский участок недалеко.

– Машина нужна, чтобы объехать Гранльё-стрит, – сказал репортер. – Я совсем ненадолго.

Он вошел без всякого отражения, потому что теперь темно было позади него; дверь за ним захлопнулась сама. Дверь лифта была слегка приоткрыта, и он увидел стопку газет,



прижатых лежащими циферблатом вниз часами, и почувствовал резкий запах трубочного дыма, но не стал тратить время и, шагая через ступеньку, взбежал по лестнице в отдел городских новостей. Хагуд увидел его, подняв от стола глаза, прикрытые зеленым козырьком. Но на этот раз репортер не стал садиться и не стал снимать шляпу; он возник, вырисовался в зеленой полумгле над настольной лампой, откуда уставился на Хагуда сверху вниз в изможденно-спокойной неподвижности, как будто его на секунду прибило к столу ветром и в следующую секунду понесет дальше.

– Идите домой и ложитесь спать, – сказал Хагуд. – Материал, который вы передали по телефону, уже набран.

– Хорошо, – сказал репортер. – Мне позарез нужно пятьдесят долларов, шеф.

Через некоторое время Хагуд переспросил:

– Позарез? – Он сидел неподвижно. – Позарез?

Репортер тоже не шевелился.

– Ничего не могу поделать. Я знаю, что я... вчера, или когда это было. Когда я решил, что уволен. Я получил сообщение, получил. Я наткнулся на Купера примерно в двенадцать, а вам позвонил только в четвертом часу. И сюда не приехал, хотя обещал. Но я передал материал по телефону; через час примерно вернусь и выправлю... Но мне надо пятьдесят долларов, как хотите.

– Это потому, что вы знаете, что я вас не уволю, – сказал Хагуд. – Ведь так?

Репортер ничего не ответил.

– Хорошо. Валяйте, рассказывайте. Что на этот раз? Я и сам знаю, что, но хочу услышать от вас – или вы по-прежнему то ли женились, то ли переехали, то ли умерли?

Репортер так и не пошевелился; он заговорил тихим голосом, казалось – в зеленый абажур лампы, как в микрофон:

– Его полицейские повязали. Примерно тогда же, когда Шуман кувырнулся через носовую часть, так что я... В общем, он в кутузке. Кроме того, им нужны какие-то деньги до завтрашнего вечера, когда Шуман получит свой выигрыш.

– Ясно, – сказал Хагуд. Он поднял глаза на неподвижно нависшее над ним лицо, которое на время приобрело спокойную незрячую созерцательность скульптуры. – Может, все-таки вам пора оставить их в покое?

Пустые глаза наконец очнулись; репортер смотрел на Хагуда минуту, не меньше. Голос его звучал так же тихо, как голос Хагуда.

– Не могу, – сказал он.

– Не можете? – спросил Хагуд. – А пробовали?

– Да, – сказал репортер мертвым бесцветным голосом, вновь переведя взгляд на лампу; во всяком случае, Хагуд знал, что на него репортер не смотрит. – Пробовал.

Секунду спустя Хагуд грузно повернулся. Его пиджак висел на спинке кресла у него за спиной. Он вынул бумажник, отсчитал на стол пятьдесят долларов, толкнул их к репортеру и увидел, как костлявая когтистая рука двигается в лам-

повый свет и берет деньги.

– Мне подписать что-нибудь опять? – спросил репортер.

– Не надо, – сказал Хагуд, не поднимая глаз. – Идите домой и ложитесь спать. Больше ничего от вас не требуется.

– Я приду позже и выправлю материал.

– Он уже сверстан, – сказал Хагуд. – Идите домой.

Репортер отплыл от стола довольно медленно, но в коридоре ветер, которым его прибило на время к столу Хагуда, опять подхватил его. Взглянув мельком на дверь лифта, он проследовал мимо, к лестнице, но вдруг эта дверь лязгнула позади него и кто-то вышел; тогда он вернулся и, войдя в кабину, одной рукой полез к себе в карман, а другой вытащил из-под съезжающих часов верхнюю газету. Но теперь он на нее даже не взглянул; он зачихнул ее, как была, в сложенном виде, в карман, а кабина тем временем остановилась внизу, и дверь с лязгом открылась.

– Вот еще один в заголовок захотел попасть, – сказал лифтер.

– Да что вы говорите, – отозвался репортер. – Слушайте, закройте-ка дверь; мне кажется, тут сквозняк.

В качающееся дверное отражение он на сей раз вбежал, неся на длинных разболтанных ногах длинное разболтанное тело, с полудня не получавшее пищи совсем и не слишком много получавшее ее раньше, но ставшее тем подвижнее, тем невесомее. Шуман открыл перед ним дверцу такси.

– Полицейский участок на Бейю-стрит, – сказал репортер

водителю. – И пошустрее бы.

– Можно было бы и пешком, – сказал Шуман.

– С какой стати? У меня пятьдесят долларов, – сказал репортер.

Им надо было пересечь центр города; они ехали длинной узкой улицей, стремительно минуя квартал за кварталом и замедляясь только на перекрестках, где с правой стороны шум Гранльё-стрит, сдерживаемый берегами каньонов, взбухал и опадал краткими, повторяющимися, неразборчивыми бушеваниями, как будто машина двигалась вдоль периферии громадного, призрачного, лишенного обода колеса со светозвуковыми спицами.

– Да, – сказал репортер. – Похоже, Джиггса упрятали в единственный тихий уголок Нью-Валуа, где только и можно проспаться человеку. Наверно, он уж трезвый теперь.

Он и правда был трезвый; полицейский привел его к столу, где ждали репортер и Шуман. Глаз у Джиггса был закрыт, губа распухла, но кровь смыли всюду, кроме рубашки, где она запеклась.

– Доволен? – спросил Шуман.

– Ага, – сказал Джиггс. – Сигарету бы мне, очень прошу.

Репортер дал ему сигарету и держал спичку, пока Джиггс пытался свести ходивший ходуном кончик сигареты с язычком огня; наконец репортер схватил Джиггсову руку и, прекратив дрожь, совместил табак с пламенем.

– Мы купим сырой бифштекс и положим тебе на глаз, –

сказал репортер.

– Лучше бы жареный и внутрь, – сказал полицейский за столом.

– Кстати, как насчет? – спросил репортер. – Есть хочешь? Джиггс держал сигарету обеими трясущимися руками.

– Ладно, – сказал Джиггс.

– Что ладно? – спросил репортер. – Лучше тебе будет, если ты поешь?

– Ладно, – сказал Джиггс. – Ну что, едем или мне обратно в камеру?

– Едем, едем, – сказал репортер. Он обратился к Шуману: – Отведи его в машину; я сейчас. – Он повернулся к столу. – Как, значит, он проходит? За пьянство или за бродяжничество?

– Ты его забираешь или газета?

– Я.

– Напишем тогда – бродяжничество, – сказал полицейский за столом. Репортер вынул деньги Хагуда и положил на стол десять долларов.

– Вот, – сказал он. – Передай пять Леблану. Я стрельнул у него пятерку сегодня в аэропорту.

Он вышел. Шуман и Джиггс ждали у машины. Теперь репортер увидел кепку, прежде залихватски сдвинутую на бекрень, а сейчас смятую и засунутую в набедренный карман Джиггса, и отсутствие в его облике этого грязного, косо посаженного элемента приводило на ум поникший хвост под-

стреленного оленя: тело пока бежит, пока сохраняет подобие силы и даже скорости, пробежит еще не один ярд и, может быть, даже не одну милю, а потом будет бежать еще годы и годы в разъедающем копошении червей, но то, что вкушало ветер и упивалось солнцем, было мертво.

«Вот бедолага, сукин сын», – подумал репортер; он все еще держал купюры, которые в редакции сунул в карман, а в полиции вытащил.

– Вижу, ты оклемался, – сердечно сказал он вслух. – Пусть Роджер где-нибудь притормозит и покормит тебя – тогда совсем будешь молодец. Вот.

Его рука, державшая деньги, ткнулась в Шумана.

– Обойдусь, – сказал Шуман. – Джек получил свои восемнадцать пятьдесят за сегодняшний прыжок.

– Верно; я и забыл, – сказал репортер. Потом спохватился: – Но завтра-то как же? Ведь нас целый день не будет. Слушай, возьми; оставь ей на случай... Бери всё, что есть, потом рассчитаемся.

– Хорошо, – сказал Шуман. – Спасибо. Он взял мятые деньги не глядя, положил в карман и втокнул Джиггса в машину.

– Кстати, и за такси расплатишься, – сказал репортер. – Мы про это с тобой забыли... Я сказал ему, куда ехать. Ну, до завтрашнего утра.

Он наклонился к окну; Джиггс сидел в дальнем углу, за Шуманом, и курил, держа сигарету обеими трясущимися ру-

ками. Приглушенным, заговорщическим голосом репортер произнес:

– Поездом восемь двадцать две. Запомнил?

– Запомнил, – сказал Шуман.

– Я все сделаю и буду ждать тебя на вокзале.

– Хорошо, – сказал Шуман. Машина тронулась. В заднее окно Шуман видел репортера, стоящего на краю тротуара в гнило-зеленом свете двух безошибочно указывающих на характер учреждения фонарных шаров по сторонам от входа, – неподвижную худую фигуру в свисающей со скелетообразного тела одежде, которая, казалось, даже без всякого ветра слабо и безостановочно колыхалась. Словно нарочно выбрав это место из всего расползшегося, необъятного города, он стоял там, не выказывая ни нетерпения, ни какого-либо намерения, – ни дать ни взять ангел-покровитель (хоть и не хранитель) всех бродяг, всех бездомных, всех отчаявшихся, всех голодных. Машина стала удаляться от Гранльё-стрит, но затем повернула и двинулась параллельно ей или, скорей, ее продолжению, потому что теперь не было слышно шума толпы, лишь отсветы огней виднелись на небе все время с правой стороны, даже когда они опять повернули и поехали туда, где предполагалась улица. Шуман не знал, что они миновали ее, пока вдруг они не въехали в район узких межбалконных переулков-прорезей и перекрестков, помеченных призрачными стрелками одностороннего движения.

– Кажется, почти у цели, – сказал Шуман. – Хочешь, оста-

новимся, перекусишь?

– Ладно, – сказал Джиггс.

– Скажи толком, хочешь или не хочешь?

– Да, – сказал Джиггс. – Что ты скажешь, то я и сделаю.

Шуман посмотрел на него и увидел, что он обеими руками старается удержать сигарету во рту и что сигарета потухла.

– Сам-то ты чего хочешь? – спросил Шуман.

– Выпить, – тихо сказал Джиггс.

– Обойтись никак не получится?

– Если нельзя – обойдусь.

Шуман смотрел, как он поддерживает падающую мертвую сигарету, как пытается затянуться.

– Если выпить дам, съешь что-нибудь?

– Да. Я все сделаю.

Шуман наклонился вперед и постучал по стеклу. Водитель повернул голову.

– Где тут можно взять поесть? – спросил Шуман. – Тарелку супу, скажем?

– Надо тогда вернуться к Гранльё-стрит.

– А здесь нигде ничего?

– Можно сэндвич с ветчиной у итальяшек, если найдете открытый магазин.

– Хорошо. Остановитесь у первого, какой увидите.

Ехали недолго; Шуман узнал угол, хотя для верности, когда они выходили, спросил:

– Наяд-стрит близко здесь?



– Нуайяд?<sup>22</sup> – переспросил водитель. – Следующий квартал. Прямо и направо.

– Тогда здесь выходим, – сказал Шуман. Он вытащил мятые деньги, которые дал ему репортер, и бросил взгляд на аккуратную округлую цифру «5» в углу. «Получается одиннадцать семьдесят», – подумал он, но затем обнаружил в первой мятой купюре вторую; он дал ее водителю, все еще глядя на компактную цифру, виднеющуюся на той, что осталась в руке.

«Черт, – подумал он, – семнадцать долларов». А водитель тем временем говорил ему:

– С вас только два пятнадцать. Меньше ничего нет?

– Меньше? – переспросил Шуман. Он посмотрел на купюру, которую водитель держал так, что на нее светила лампочка счетчика. Это была десятка. «О Господи, – подумал он; на этот раз даже не стал поминать черта. – Двадцать два доллара».

Магазин располагался в помещении, которое размерами, габаритами и температурой напоминало банковское подвальное хранилище. Здесь горела единственная керосиновая лампа, создававшая, казалось, не свет, а одни лишь тени, коричневый рембрандтовский мрак, где животы выстроенных шеренгами консервных банок тихо поблескивали за прилавком, в невероятном количестве заставленным плохо распознаваемыми товарами, которые владелец различал, вероят-

---

<sup>22</sup> Noyade – потопление, гибель в воде (фр.).

но, на ощупь, причем не только один товар от другого, но и товар от светотени. Пахло здесь сыром, чесноком и нагретым металлом; сидевшие по обе стороны от маленькой, яростно горящей керосиновой печки мужчина и женщина, которых Шуман видел впервые, оба закутанные в платки и различимые в отношении пола только по кепке на голове у мужчины, подняли на него глаза. Сандвич был черствым куском французской булки с ветчиной и сыром. Шуман дал его Джиггсу и вышел вслед за ним на улицу, где Джиггс остановился и в каком-то бычьем отчаянии уставился на предмет, который держала его рука.

– А можно все-таки сперва выпить? – спросил он.

– Ешь, пока мы идем домой, – сказал Шуман. – Выпить потом.

– Лучше бы сначала хлебнуть, потом поесть, – сказал Джиггс.

– Само собой, – сказал Шуман. – Ты и утром так думал.

– Да, – сказал Джиггс. – Верно.

Поглядев на сандвич, он опять замер.

– Давай, – сказал Шуман. – Приступай.

– Хорошо, – сказал Джиггс. Он начал есть; Шуман смотрел, как он двумя руками подносит сандвич ко рту и, чтобы откусить, поворачивается к еде в профиль; он видел, как Джиггса затрясло и задергало, когда он наконец оторвал измочаленный кусок и начал жевать. Джиггс работал челюстями, глядя Шуману в глаза и держа, как распятие, у груди

надкушенный сэндвич обеими неотмываемыми руками; он жевал, не закрывая рта и таращась на Шумана, который в какой-то момент сообразил, что Джиггс не глядит на него вовсе, что его единственный зрячий глаз просто открыт и преисполнен глубокого и безнадежного самоотречения, как будто отчаяние, обычно распределяемое между обоими глазами поровну, теперь сосредоточилось в нем одном; Шуман увидел, что лицо Джиггса покрылось субстанцией, в слабом свете напоминающей машинное масло, и мгновение спустя Джиггс начал плевать. Шуман поддерживал его одной рукой, другой спасая сэндвич, а желудок Джиггса проходил тем временем через все стадии отказа, длившиеся и длившиеся, хотя отказываться было уже не от чего.

– Прекрати, постарайся, – сказал Шуман.

– Ага, – сказал Джиггс. Он провел вдоль губ рукавом рубашки.

– На, – сказал Шуман. Он протянул Джиггсу свой платок. Джиггс взял его, но тут же стал слепо искать что-то рукой.

– Что? – спросил Шуман.

– Сэндвич.

– Выпьешь, сможешь его внутри удержать?

– Выпью, я все смогу, – сказал Джиггс.

– Пошли, – сказал Шуман.

Вступив в переулок, они увидели пятно света из окна за балконной решеткой, какое увидел прошлой ночью Хагуд, хотя теперь не было тени от руки и не было голоса. Под бал-

коном Шуман остановился.

– Джек, – позвал он. – Лаверна. – Но видно ничего по-прежнему не было; только из-за окна послышался голос парашютиста:

– Дверь снята с защелки. Войдешь – запри.

Они поднялись по лестнице и увидели парашютиста, сидящего на раскладушке в одном белье; его одежда была аккуратно положена на стул, и на этот же стул опиралась пяткой его поднятая нога, а он, держа в руке потемневший комок ваты, обрабатывал содержимым аптечной склянки длинную свежую ссадину, протянувшуюся, как полоса краски, от щиколотки до бедра. На полу лежали бинт и пластырь из кабинета первой помощи аэропорта. Он уже приготовил себе спальное место: одеяло было ровно отвернуто, коврик с пола был расстелен в ногах.

– Лучше в кровать сегодня ложись, – сказал Шуман. – Этим одеялом да по ободранному месту – ты взвоешь.

Парашютист не ответил; наклонившись над своей ногой, он со свирепой сосредоточенностью обрабатывал ее лекарством. Шуман повернулся; казалось, он только-только ощутил у себя в руке сэндвич и после этого вспомнил о Джиггсе, который неподвижно стоял теперь у своего парусинового мешка, тихо и терпеливо глядя неподбитым глазом на Шумана с кроткой бессловесностью собаки.

– Ах да, – сказал Шуман, оборачиваясь к столу. Бутыль все еще на нем стояла, хотя ни стаканов, ни лоханки уже не

было; сама бутылка, судя по ее виду, была вымыта снаружи. – Принеси стакан и воду, – сказал он. Когда Джиггс ушел за занавес, Шуман положил сандвич на стол и опять посмотрел на парашютиста. Секунду спустя парашютист поднял на него глаза.

– Ну что? – спросил он. – Как?

– Есть шанс получить машину, – сказал Шуман.

– Шанс? Ты что, не виделся с Ордом?

– Почему? Мы нашли его.

– Ладно, предположим, тебе ее дадут. Как ты успеешь до завтрашней гонки получить допуск?

– Не знаю, – сказал Шуман. Он зажег сигарету. – Он сказал, что берет это на себя. Но я лично не знаю.

– Но как? Что, комитет тоже считает его Иисусом Христом? Я думал, только ты и она.

– Я же сказал – не знаю. Не получим допуска, значит, не о чем и говорить. Но если получим... – Он закурил. Парашютист аккуратно и зло обрабатывал ногу. – Тогда два варианта, – сказал Шуман. – Машина попадает в класс до пятисот семидесяти пяти кубических дюймов. Я могу полететь в этом классе, прошвырнуться на половинных оборотах и спокойно взять третье место без всяких там отвесных виражей, а призовая сумма завтра восемьсот девяносто. Или я могу побороться за главный приз, за кубок. Орду, кроме него, там и глядеть не на что. Да и в гонке на кубок он только ради того участвует, чтобы земляки увидели его в деле; вряд ли он за-

хочет выжимать из «девяносто второго» все до последнего, просто чтобы выиграть две тысячи долларов. На пятимильных-то отрезках. А та машина, похоже, ничего, быстрая. Тогда у нас полный ажур.

– Как же, ажур. Мы будем должны Орду пять тысяч за драндулет и мотор. А что с машиной не так?

– Не знаю. Я Орда не спрашивал. Знаю только то, что он *ему* сказал... – Шуман коротко и неопределенно мотнул головой, словно бы указывая на комнату, но фактически указал этим движением на репортера с такой же ясностью, как если бы произнес его фамилию. – Сказал, при приземлении руль действует противоположным образом. То ли из-за замедления, то ли из-за воздушного потока от земли. Потому что Орд, он сказал, уже выключил двигатель, когда... А может, распределение веса неправильное, нужна пара мешков с песком в...

– Ясно. Похоже, он не только допуск завтра берет на себя, но и уговорит их как-нибудь поставить пилоны на высоте четыре тысячи футов и проводить гонку там, а не в загородном клубе генерала Брюхмана.

Он умолк и опять склонился над больной ногой, и только тогда Шуман увидел Джиггса. Он явно находился в комнате уже некоторое время – стоял у стола с двумя стаканами в руках, в одном из которых была вода. Шуман подошел к столу, налил из бутылки в пустой стакан и поглядел на Джиггса, который теперь задумчиво созерцал спиртное.

– Мало? – спросил Шуман.

– Нет, – встрепенулся Джиггс. – Нет.

Когда он стал лить в спиртное воду, две стеклянные кромки, придя в соприкосновение, дробно звякнули. Шуман смотрел, как он ставит стакан из-под воды на стол опять-таки с дробным стуком, длившимся, пока он не отнял руку, и как он затем двумя руками пытается поднести питье к губам. При приближении стакана голова Джиггса задергалась, не давая ему приладиться ртом к стеклу, стучавшему о зубы, как он ни старался унять дрожь.

– Гадство, – сказал он негромко. – Гадство. Я два часа там на койке сидел-мучился, потому что, если встанешь и начнешь ходить, подбегает этот тип и орать начинает через решетку.

– Дай помогу, – сказал Шуман. Он положил руку на стакан, утихомирил его и наклонил; он увидел, как горло Джиггса задвигалось и как жидкость из обоих углов рта потекла по голубоватой щетине подбородка и стала расплываться по рубашке темными пятнами. Чуть погодя Джиггс оттолкнул стакан, тяжело дыша.

– Постой, – сказал он. – Перевод добра. Может, если ты смотреть не будешь, у меня лучше получится.

– А потом принимайся опять за сандвич, – сказал Шуман. Он взял со стола бутылку и вновь посмотрел на парашютиста. – Слушай, ложился бы ты сегодня в кровать. Под этим одеялом запросто занесешь себе в ногу инфекцию. И я бы на

твоём месте забинтовал ее опять.

– В постель рогоносца я лягу, в постель сводника – нетушки, – сказал парашютист. – Иди сам ложись. Урви себе еще кусочек, чтобы побольше в ад завтра унести.

– Я запросто возьму третий приз в классе пятьсот семьдесят пять, даже не пролетая над аэродромом, – сказал Шуман. – Кстати, что бы там ни было, если машина получит допуск, я к этому времени буду уже знать, могу я ее посадить или нет... Забинтуй все-таки ногу.

Но парашютист не удостоил его ответом и даже не взглянул на него. Одеяло уже было откинута; единым слитным движением он, размашисто перенеся выпрямленную больную ногу, повернулся на ягодицах, растянулся на раскладушке и укрылся одеялом. Шуман смотрел на него еще несколько секунд, держа бутылку в опущенной руке. Потом он понял, что уже некоторое время слышит чавканье Джиггса, и, переведя на него взгляд, увидел, что тот сидит на корточках у своего парусинового мешка и ест сандвич, держа его обеими руками.

– Ну, а ты-то, – сказал Шуман, – спать будешь, нет?

Джиггс посмотрел на него снизу вверх одним глазом. Теперь уже все лицо его опухло и отекло; он жевал медленно и осторожно, глядя на Шумана взором, по-собачьи приниженным, печальным и смиренным.

– Давай, – сказал Шуман. – Устраивайся. Я выключаю свет.



Не переставая жевать, Джиггс отнял от бутерброда одну руку, подтянул к себе мешок и лег, положив на него голову. Ощупью добираясь в темноте до занавеса, поднимая его и проходя в спальню, Шуман слышал чавканье Джиггса. Нащупав прикроватную лампу, двигаясь теперь тихо, он зажег ее и увидел женщину, которая смотрела на него из-под одеяла, и спящего мальчика. Она лежала посреди кровати, мальчик – между ней и стеной.

Ее одежда была аккуратно, как одежда парашютиста, положена на стул, и на том же стуле Шуман увидел ее ночную рубашку, единственную шелковую, какая у нее была. Нагнувшись поставить бутылку под кровать, он на секунду замешкался, затем поднял с пола, куда они были уронены или брошены, хлопчатобумажные трусы, которые она носила сегодня или вчера, и положил их на стул. Он снял пиджак и начал расстегивать рубашку, а она смотрела на него, подтянув одеяло к подбородку.

– Получил, значит, машину, – сказала она.

– Не знаю. Попробуем получить.

Он снял с запястья часы, аккуратно завел и положил на стол; когда тихое механическое потрескивание умолкло, ему опять стало слышно из-за занавеса, как Джиггс жует. Шуман расшнуровал ботинки, поочередно ставя ноги на угол стула, чувствуя ее взгляд.

– Я могу взять самое меньшее третий приз в классе пятьсот семьдесят пять и при этом держаться от пилонов в такой

дали, что с них даже номера моей машины не будет видно. И это мне даст пятнадцать процентов от восьмисот девяноста. Или бороться за главный приз, за две тысячи, и я не думаю, что Орд захочет...

– Да. Я слышала, как ты ему говорил. Но чего ради?

Он аккуратно поставил ботинки один к другому, затем, сняв брюки, потряс их за манжеты, чтобы легли в складку, сложил и пристроил на комодке подле целлулоидной расчески, щетки и галстука, сам оставшись в трусах.

– А машина-то в порядке, – сказала она, – в полном порядке, только вот на земле ты не будешь знать, взлетишь или нет, пока не взлетел, а в воздухе не будешь знать, сядешь или нет, пока не сел.

– Сяду я, куда она денется.

Он зажег сигарету и поднес руку к выключателю, но медлил, глядя на нее. Она лежала не двигаясь, по-монашески гладко подтянув одеяло к подбородку. И опять из-за занавеса до него донеслось равномерное, терпеливое чавканье Джиггса, тяжело одолевавшего зачерствелый сэндвич.

– Не ври, – сказала она. – Чего ради, мы же тогда справились.

– Тогда выхода не было. Теперь есть.

– Семь месяцев еще.

– Вот именно. Всего семь месяцев. А впереди один только воздушный праздник, и на руках машина сдохлым мотором и двумя покореженными лонжеронами.

Он смотрел на нее еще секунду-другую; наконец она откинула одеяло; он выключил свет, и сетчатка его глаз унесла во тьму образ обнаженного плеча и одной груди.

– Джека на середину? – спросил он.

Она не ответила, и, только когда он лег и укрылся сам, он почувствовал, что она вся напряжена, что ее мышцы там, где он, устраиваясь, касался ее бока, тверды и скованны. Он вынул изо рта сигарету и держал ее на весу чуть выше губ, слыша чавканье Джиггса за занавесом, а затем голос парашютиста: «Да перестань ты, Господи, жрать! Хлюпаешь как собака!»

– Раньше смерти не умирай, – сказал Шуман. – Я еще даже допуска на нем не получил.

– Погань ты, – сказала она отверделым напряженным шепотом. – Дряннь ты летчик, дрянной поганый летчик. Мотор заглох, а он круги рисует, чтобы не мешать их паршивой гонке, а потом кувыркается через этот чертов волнолом – и даже не смог удержать носовую часть! Даже не смог...

Ее рука, метнувшись, выхватила у него сигарету; он почувствовал, как его пальцы сами собой дернулись и сжались, а потом увидел во тьме дугообразный полет красного огонька, окончившийся ударом о невидимый пол.

– Тихо, – прошептал он. – Дай я подниму ее с...

Но жесткая рука теперь ударила его по щеке, скребанула ногтями по подбородку, шее, плечу, после чего он наконец поймал эту руку и задержал, дергающуюся, выворачивающую-

юся.

– Дрянь ты, погань ты, дрянь... – задыхалась она.

– Ладно, – сказал он. – Хватит, успокаивайся. – Она умолкла, часто и жестко дыша. Но он все не отпускал ее за пястье, недоверчивый и тоже не ахти какой ласковый. – Хватит, хватит... Трусы снимешь?

– Сняла уже.

– А, да, – сказал он. – Я и забыл.

До того дня, когда она совершила свой первый прыжок с парашютом, они пробыли вместе совсем недолго. Чтобы он научил ее прыгать, предложила она, а парашют для показательных прыжков у него уже был; когда он пускал его в ход, он либо вел машину, либо прыгал в зависимости от того, был или не был летчиком случайный партнер, с которым он сговорился на день, на неделю или на сезон. Она предложила это сама, и он показал ей что и как, научил ее всей нехитрой механике прыжка: вылезает на крыло с пристегнутой парашютной упряжью, потом падаешь и весом своим выталкиваешь парашют из короба на крыле.

Показ в маленьком канзасском городке был назначен на послеполуденное время в субботу, и они уже поднялись в воздух, деньги были собраны, толпа ждала, и она начала двигаться вдоль крыла, когда он увидел, что она боится. Она была в юбке; они решили, что выглядывающие из-под нее ноги будут главной изюминкой и приманкой номера и, кроме того, что юбка рассеет все сомнения насчет пола парашюти-

ста. И вот теперь она ухватила за ближнюю стойку и оглянулась на него, выражая лицом, как он понял позднее, вовсе не страх смерти, а яростное и теперь уже безрассудное, безумное нежелание сиротеть, как будто рисковал жизнью он, а не она. Из задней кабины он управлял аэропланом, который уже находился над полем, в точке прыжка; уравнивая ее давление на крыло, он в то же время жестами чуть ли не злобно гнал ее к концу крыла – и вдруг увидел, как она отрывается от стойки и с тем самым выражением слепого и совершенно иррационального протеста и яростного отрицания, с выбившимся из-под ремней парашюта, завернувшись и хлещущим по бедрам подолом юбки карабкается обратно, причем не к переднему сиденью, откуда она вылезла на крыло, а к заднему, где он теперь сидел и выравнивал самолет, пока она добиралась до кабины и переваливалась внутрь (ему бросились в глаза абсолютно белые костяшки ее пальцев, уцепившихся за борт кабины), после чего она, обратившись к нему лицом, оседлала его колени.

Когда он понял (а она тем временем судорожно освобождала одной рукой подол юбки от проволоки, которой они закрепили ткань вокруг ног на манер шаровар), что она слепо и неистово ухватила вовсе не за ремень безопасности, шедший поперек его бедер, а за ширинку его брюк, он в тот же миг понял еще, что на ней нет нижнего белья, трусов. Как она объяснила ему позже, она боялась, что от страха запачкает одну из немногих смен белья, какие у нее тогда име-

лись. Некоторое время он отталкивал ее, пытался бороться, но ему надо было вести машину, кружить над полем, и вдобавок (они были вместе всего несколько месяцев) противников у него вскоре стало двое; его превзошли числом, между ним и ее бешеным, яростным телом вырос всепобеждающий, вырос вечный триумфатор. Из долгого забвения, когда Шуман ждал, пока вновь затвердеет расплавленный мозг его хребта, вывел его некий слепой инстинкт, заставивший его приподнять крыло, на котором был укреплен парашютный короб, и следующим, что он почувствовал, был рывок перехватившего ноги ремня, и, выглянув наружу, он увидел между собой и землей купол парашюта, а посмотрев вниз, увидел осиротевшего и вздыбленного, увидел стебель и раскаленный ненасытный сердцевидный красный бутон.

Ему надо было сажать самолет, так что остальное он узнал позже: как она приземлилась в задранном до подмышек платье, которое то ли ветром, то ли зацепившись за что-то было вырвано из ремней парашюта, как ее протащило по земле и как ее затем настигла крикливая толпа мужчин и юнцов, посреди которой она теперь лежала, голая ниже пояса, если не считать одеждой грязь, чулки и парашютные стропы. Когда он пробился к ней сквозь людское кольцо, ее уже успели арестовать трое местных полицейских, лицо одного из которых Шуман уже тогда с недобрим предчувствием выделил. Это был красивый мужчина моложе, остальных с лицом жестким и скорее садистским, чем порочным, который

держал толпу на отдалении с помощью рукоятки пистолета и ударил ею Шумана, на миг обратив на него свою слепую ярость. Они повели ее в местную тюрьму, и по пути молодой уже ей принялся угрожать пистолетом. Увиденного Шуману было достаточно, чтобы понять, что, имея дело с двумя другими полицейскими, он должен будет преодолевать только их ограниченность и жадность. А вот молодого следовало бояться: одурманенный и пресыщенный победами над униженной человеческой плотью, которой его обеспечивала подлая и ничтожная должность, он внезапно и без всякого предупреждения узрел первообраз своих притупившихся было желаний, спускающийся к нему прямо с неба, – не просто наготу, но наготу, частично прикрытую в духе весьма традиционной и древней символики порванным платьем, которым Лаверна отчаянно пыталась окутать бедра, и упряжью парашюта – зримыми знаками женской неволи.

Они не арестовали Шумана, но и не допустили его к ней. После того как молодой, замахиваясь пистолетной рукояткой, оттеснил его вместе со всей толпой от дверей тюрьмы – это было квадратное строение из неистово-красного нового кирпича, куда он видел, как ее загоняли, все еще сопротивляющуюся, – он ухватил взглядом поверх плеча молодого полицейского, в то время как старшие полицейские, теперь уже изрядно встревоженные, торопливо вталкивали ее внутрь, лишь мгновенный промельк ее неукротимого и смертельно испуганного лица. На какое-то время он стал од-

ним из толпы, хотя даже тогда, обезумевший от гнева и страха, он понимал, что совпадает у него с толпой всего-навсего первоочередная, ближайшая цель – увидеть ее, коснуться ее еще раз. Он понимал, кроме того, что двое трусоватых старших полицейских в душе по меньшей мере нейтральны, что их толкает на сторону младшего лишь физический страх перед толпой и что фактически младший опирается только на свое право безнаказанно насильничать, которым наделил его полуразложившийся труп закона. Но этого, казалось, было достаточно. Так или иначе, в течение следующего часа, сопровождаемый неказистой свитой местных мальчишек, юнцов и нетрезвых мужчин, Шуман совершил кошмарный свой обход города по орбите – от мэра к адвокату, от него еще к одному адвокату, от него еще к одному адвокату, и так далее, и обратно. Кто ужинал, кто собирался сесть за ужин, кто как раз кончал; раз за разом он рассказывал о случившемся под взглядами округлившихся детских глаз и сумрачных неумолимых глаз жен и родственниц, в то время как мужчины, наделенные властью, от которых он ждал того, что искренне считал справедливостью, и не более, последовательно, шаг за шагом вынуждали его сказать прямо, чего именно он боится; после этого один из них пригрозил ему арестом за преступную клевету на городские органы правопорядка.

Уже два часа как стемнело, когда наконец священник позвонил мэру. По услышанным обрывкам телефонного разговора Шуман понял только, что власти, по-видимому, теперь



уже сами в нем нуждаются. Через пять минут за ним заехала машина, в которой сидели один из двоих полицейских по-старше и еще двое, которых он до сей поры не видел.

– Я что, тоже арестован? – спросил он.

– Можешь попробовать сбежать, если хочешь, – сказал знакомый полицейский. Дальше молчали. Машина остановилась у тюрьмы, и полицейский с одним из двоих новых вышел.

– Держи его, – сказал полицейский.

– Держу, держу, – сказал оставшийся с ним помощник шерифа. Так что Шуман сидел в машине, чувствуя крепко при-тиснутое плечо помощника и глядя на тех двоих, что торопливо шли по мощенной кирпичом дорожке. Дверь тюрьмы открылась перед ними и закрылась; затем она открылась еще раз, и он увидел ее. Она была теперь в плаще; он видел ее только в течение какой-то секунды, пока двое мужчин быстро выводили ее и дверь не успела захлопнуться. Лишь на следующий день она показала ему изорванное в клочья платье, царапины и синяки на внутренних сторонах ног, на подбородке и на щеках, рассеченную губу. Они затолкали ее в машину и посадили рядом с ним. Полицейский полез было следом, но другой помощник шерифа бесцеремонно оттеснил его.

– Ты вперед, – сказал помощник. – Тут я сяду.

Теперь на заднем сиденье их стало четверо; Шуман был зажат между давившим на его плечо плечом первого из по-

мошников и жестко напрягшимся боком притиснутой к нему Лаверны, так что ему казалось, будто он чувствует сквозь ее твердую оцепенелость бок второго из помощников, ерзавшего и напивавшего на нее с другой стороны.

– Порядок, – сказал полицейский. – Поехали, пока еще можно.

– Куда мы едем? – спросил Шуман. Полицейский не ответил. Высунув голову из окна, он смотрел назад, на тюрьму, а машина тем временем набирала скорость; вот уже она двигалась довольно резво.

– Пошустрей бы, – сказал полицейский. – Парни могут его и не удержать, а здесь уже такое творилось, что хватит с нас.

Машина на полном ходу выехала из городка; Шуман понял, что их везут к полю, к аэродрому. Машина свернула с дороги; свет ее фар упал на самолет, стоявший там, где он выпрыгнул из него днем, начав бежать еще до того, как его ноги коснулись земли. Когда машина остановилась, сзади показались фары другой, быстро ехавшей по дороге. Полицейский начал ругаться:

– Ну сволочуга. Ну поганцы. Так и знал, что не удержат... – Он повернулся к Шуману. – Вот он, аэроплан твой. Мотай давай отсюда с бабой вместе.

– Что от нас требуется? – спросил Шуман.

– Что? Мотор заводи, и чтоб духу вашего тут не было. И живенько, живенько; я ведь чувствовал, что парни с ним не сладят.

– Ночью? – спросил Шуман. – У меня нет бортовых огней.

– Во что ты там можешь врезаться, интересно, – возразил полицейский. – В общем, сажай ее туда, и дуйте отсюда, чтоб вас тут больше не видели.

Уже и вторая машина свернула с дороги, направив свет фар прямо на них; стремительно подкатив, она еще раз повернула, и люди полезли из нее, не успела она остановиться.

– Скорей! – крикнул полицейский. – Мы попробуем его задержать.

– В самолет, – приказал ей Шуман. В первый момент он подумал, что молодой полицейский пьян. Шуману видно было, как Лаверна, придерживая плащ, бежит длинным световым туннелем, созданным фарами обеих машин, лезет в аэроплан и исчезает в кабине; затем он повернулся и увидел мужчину, боровшегося с теми, кто его держал. Но он был безумен, а не пьян, он на время лишился рассудка; он рвался к Шуману, который видел в его лице не ярость и даже не похоть, а почти что такой же ужас и яростный протест против сиротства и разлуки, какой выражало лицо Лаверны, когда она цеплялась за стойку, скрепляющую крылья биплана, и оглядывалась на него.

– Я вам заплачу! – орал молодой полицейский. – Ей заплачу! Всем заплачу! Любые деньги! Дайте мне ее... всего один раз, и режьте меня, если хотите!

– Уматывай, говорят тебе! – одышливо крикнул ему полицейский постарше.

Шуман тоже побежал; на мгновение молодой перестал биться, – возможно, ему почудилось на это мгновение, что Шуман отправился за ней и сейчас приведет ее. Потом он начал вырываться и кричать с новой силой, изрыгать ругань, клясть Лаверну на чем свет стоит, честить ее шлюхой, сукой и извращенкой; его дикий, искаженный отчаянием голос был слышен, пока его не заглушил шум мотора. Но Шуман, сидя в кабине и прогревая мотор, сколько ему достало выдержки, все время видел контрастно высвеченную сзади фарами двух машин темную группу: одного борющегося и нескольких, которые его держали. И все-таки ему пришлось взлетать с непрогретым двигателем; вот он опять услышал крики и в свете фар увидел мужчину, бегущего к нему, к его самолету; он пошел на взлет как стоял, никуда не вырulingая, видя впереди на фоне безлунной тьмы только голубые огоньки, вырывающиеся из выхлопных отверстий. Через полчаса, используя для контроля высоты смутно видимую ветряную мельницу, он совершил скоростную слепую посадку на поле люцерны и ударился обо что-то, утром оказавшееся короной, которая лежала футах в пятидесяти от перевернувшегося самолета.

Было примерно полдесятого. Решив вначале, что надо сперва дойти до Гранльё-стрит с ее шумом и конфетти-целлулоидным дождем, затем добраться по ней до Сен-Жюльавеню и так попасть обратно в редакцию, репортер тем не ме-

нее остался стоять. Потом наконец двинулся, но обратно, по темной поперечной улице, из которой полчаса назад вынырнуло их такси. Доводов в пользу такого решения у него было не больше, чем для возвращения на Гранльё-стрит; можно подумать, не кто иной, как сам суровый Наблюдатель, устроил все таким образом, что, когда репортер, дойдя, миновал двойную стеклянную дверь и за ним опять лязгнула дверь лифта, он, наклонившись, но на этот раз не за газетой, а взять часы, повернуть их циферблатом вверх и посмотреть время, невольно и непреднамеренно узрел лик последнего мирного моратория, предложенного ему в миг точного завершения цикла, когда прошедшие полные сутки с их необъяснимой и сходящей на нет яростью, проделав круг, вернулись к исходной точке и, обретя целостность, нерушимость и объективность, уже начали медленно исчезать, истаивать, как мокрый отпечаток поднятого с барной стойки стакана. Он-то сам размышлял не о времени, не о каком-либо заданном, определенном положении стрелок на циферблате; причин для этого у него было не больше, чем для выбора какого-либо из двух маршрутов, потому что до единственного мига из всего видимого ему будущего, когда его тело должно было совпасть со временем, с циферблатом, оставалось без малого двенадцать часов. Он даже не сразу обратил внимание на близящееся аккуратное завершение цикла, двигаясь размеренным шагом, не быстро, по узкой поперечной улице, вырубленной в невнятных и дремлющих теперь торгово-склад-

ских задах, минуя квартал за кварталом и на каждом перекрестке, где приходилось пережидать движущийся транспорт, улавливая, как и раньше в такси, слабый шум Гранлѐ-стрит, звук скорее осязаемый, нежели слышимый, исходящий от гремучих нильских катафалков нынешнего вечера – яростные и жалкие яйца бабочек, бесплотные, беспмятные и обреченные, на которые вскоре обрушится массивированный десант ждущих своего часа рассветных уборщиков, – и наконец Сен-Жюльавеню, широкая и учтивая, обсаженная строгими пальмами, которые неподвижно и чудовищно выросли перед глазами, напоминая высокие корявые чесоточные шесты, шутиливо и по-деревенски увенчанные разлапистыми пучками травы, идущей на метлы; затем двойная дверь и кабина лифта, где лифтер, посмотрев на него из-под густых седоватых бровей, выглядевших так, словно его усы вдруг обзавелись близнецами, сказал с мрачным и мстительным смаком:

– Нынче, похоже, еще один там захотел попасть на первую страницу, да только вот...

– Правда? – вежливо спросил репортер, кладя часы на место. – Две минуты одиннадцатого? Самое время не иметь до завтра никаких дел, кроме работы. Как по-вашему?

– Не такая уж тягота для человека, который берется за работу не иначе как если больше дел никаких нет, – отозвался лифтер.

– Интересная мысль, – вежливо сказал репортер. – Может,

стоило бы закрыть дверь; мне кажется, я ощущаю... – Дверь за ним лязгнула. «Две одиннадцатого, – подумал он. – Значит, остается...»

Но это мелькнуло и исчезло, не успев обратиться в мысль; он повис в неспешной застойной периферийной заводи мирного и безмятежного ожидания, думая: *сейчас она...* Чуть выше кнопки звонка он увидел слегка окислившуюся черту от вчерашней спички; нынешняя спичка без всякого расчета, без всякой нарочитости почти повторила движение той. Дверь уборной была последней: лист матового стекла с надписью: «Для джентльменов», деревянная рама без ручки-зашелки («Наверно, поэтому только для джентльменов», – подумал репортер), а дальше – царство вечного креозота. Для умыванья он снял даже рубашку и осторожно принялся ощупывать левую сторону лица, приблизив к мутному волнистому зеркалу пробную гримасу, двигая туда-сюда челюстью, созерцая синеватый автограф свирепости, подобный татуировке на его дипломно-пергаментной коже, и тихо думая: «Да. Сейчас она...»

Комната отдела городских новостей (теперь он чиркнул спичкой о саму дверь) сумрачно вырисовалась, подобная внутренности амбара; редакторский стол, похожий на заросший и загроможденный остров, и другие столы под зелеными абажурами ламп глубинной своей одинокой обособленностью напоминали помеченные буями отмели в позабытом море, куда не заходят суда, – и среди них его собственный.

Он не видел его только двадцать четыре часа, но теперь, стоя рядом, глядел на его загроможденную поверхность – на жженые метины по краю от бесчисленных погибших сигарет, на полузаполненную страницу желтоватой бумаги в пишущей машинке – и медленно, тихо изумлялся не только наличию на столе прежних примет своего бытия, но и самому присутствию стола на старом месте, думая, что это просто невероятно – так напиться и так протрезветь за такое короткое время. Когда он проходил мимо стола Хагуда, там кто-то стоял, и поэтому Хагуд его еще не видел. Он просидел за своим столом почти час, равномерно пропуская через машинку одну желтоватую страницу за другой, когда подошел рассыльный.

– Зовет вас, – сказал он.

– Спасибо, – сказал репортер.

Без пиджака, с приспущенным, как раньше, галстуком, но по-прежнему в шляпе, он остановился у редакторского стола и вежливо-вопросительно посмотрел на Хагуда сверху вниз.

– Хотели меня видеть, шеф? – спросил он.

– Я думал, вы пошли домой. Уже одиннадцать часов. Чем вы заняты?

– Варганю статейку воскресную для Смитти. Он меня попросил.

– Попросил?

– Ага. Я уже вошел в курс дела. Свое я раньше закончил.

– Что за статейка?

– Да ничего такого. Про то, что египетская архитекту-



ра всех эпох была полна пророческих предсказаний насчет любви Антония и Клеопатры, только вот сами они ни бельмеса в этом не понимали; им, видно, пришлось дожидаться римских газет. В общем, ничего такого. Смитти дал мне кой-какие книги и отметил уже там места, так что мне всего-навсего надо эти книги пересказать, чтобы любой, кто раскошелится на десять центов, мог допереть до смысла, а если мне этот смысл самому неясен, можно перекатать в точности как в книге, и это даже лучше, потому что никакой цензор тогда не поймет, чем там они якобы занимались.

Но Хагуд не слушал.

– Вы хотите сказать, что не идете ночевать домой? – Репортер серьезно и тихо смотрел на Хагуда. – Они все еще у вас обретаются, да? – Репортер смотрел на него. – Что вы сегодня ночью намерены делать?

– Я иду к Смитти. Буду спать у него на диване.

– Его же нет здесь, – сказал Хагуд.

– Конечно. Он дома. Я сказал ему, что сперва кончу за него эту работу.

– Ладно, – сказал Хагуд.

Репортер вернулся за свой стол.

«Сейчас, значит, одиннадцать, – думал он. – То есть остается... Да. Она будет...» За некоторыми столами еще сидели люди, в общей сложности трое или четверо, но к полуночи они погасили свои лампы и ушли; осталась только группа у редакторского стола, и все здание задрожало от дальней

работы типографских машин. У редакторского стола шесть или семь человек без пиджаков и воротничков, все с зелеными козырьками, словно этого требовал некий военный устав, казалось, сосредоточили внимание на разрешении какого-то подземного кризиса – крохотные людишки, принимающие роды у самки мастодонта. Сам Хагуд ушел в полвторого; он бросил взгляд через комнату на письменный стол, за которым репортер сидел теперь неподвижно, держа по-прежнему руки на клавиатуре и опустив лицо, затеняемое полями шляпы и поэтому невидимое. В два часа один из корректоров, подойдя к столу репортера, обнаружил, что он вовсе не задумался, а спит, сидя очень прямо и далеко высунув из обтрепанных, чистых, слишком коротких ему рукавов костлявые запястья и худые кисти рук, которые умиротворенно покоились на клавишах машинки.

– А мы дернуть идем. К Джо, – сказал корректор. – Давай с нами.

– Я завязал, – сказал репортер. – К тому же я еще тут не доделал.

– Это я вижу, – отозвался корректор. – Но ты бы лучше доделывал в постели... В каком смысле завязал? В таком, что начинаешь за свою выпивку сам платить? Если так, с нами и начни; боюсь только, Джо хлопнется в обморок.

– Да нет, – сказал репортер. – Я на самом деле завязал.

– С каких это пор, скажи на милость?

– С утра сегодняшнего, а с которого часа – не помню...

Мне правда тут надо кончить. Вы, ребята, меня не ждите.

Они вышли, надевая на ходу пиджаки, но почти тут же явились две уборщицы. Однако репортер не обратил на них внимания. Он вынул из машинки страницу, положил ее на другие страницы и аккуратно выровнял стопку, не изменяя мирного выражения лица. «Да, – думалось ему. – Не деньги, нет. Они тут ни при чем... Да. И сейчас она...» Уборщицы, когда он подошел к столу Хагуда и зажег над ним свет, тоже не посмотрели в его сторону. Он безошибочно выдвинул нужный ящик, достал оттуда книжечку незаполненных векселей, оторвал верхний бланк и положил книжечку обратно в ящик. Он не стал возвращаться за свой стол и не стал задерживаться у ближайшего стола, потому что одна из женщин была занята там уборкой. Он зажег лампу на следующем после ближайшего, сел, вставил в пишущую машинку чистый бланк и принялся методично его заполнять – аккуратный удобный листок тоненькой бумаги, благодаря небольшому числу пометок превращавшийся теперь в инструмент острей стального и долговечней каменного, в инструмент, посредством которого последний и роковой шаг был словно неким обезболивающим средством изъят из сферы не только страха, но и самого разума и помещен в сферу самообмана и безоглядной надежды, подобно надписыванию адреса на любовном письме: *...16 февраля 1935 г. ...16 февраля 1936 г. мы... авиационная корпорация «Орд – Аткинсон», Блейзделл, Франсиана...* Он не приостановился ни на секунду.

ду, пальцы его не дрогнули и не замерли; он впечатал сумму, как короткий, из двух-трех слов, заголовок колонки: *пять тысяч долларов (\$ 5000)*... А вот теперь он приостановился, держа на весу замершие пальцы, быстро соображая, пока уборщица выбрасывала что-то в мусорную корзину у стола прямо перед ним, при этом издавая нарочитый приглушенный царапающий звук, как огромная крыса: «Если одна только, этого по закону мало, но, если я дорисую вторую, могут возникнуть подозрения». Он опять стал печатать, ударяя по клавишам четко и твердо: *в-о-с-е-м-ь п-р-о-ц-е-н-т-о-в*, – и выкрутил вексель из машинки. Затем, поскольку у него не было авторучки, подошел к редакторскому столу, включил там свет, расписался на первой линии подписей, промокнул листок и какое-то время тихо посидел, глядя на него и думая: «Да. В постели сейчас. И вот он...»

– Да, – негромко произнес он вслух, – выглядит нормально. – Он повернулся и спросил, обращаясь к обеим уборщицам: – Не знаете случайно, который час?

Одна из них прислонила швабру к письменному столу и принялась вытягивать из переднего кармана платья обувной шнурок невероятной длины, на конце которого в какой-то момент все-таки показались часы – тяжелые, старомодные, золотые, подходящие скорее мужчине, чем женщине.

– Два тридцать четыре, – сообщила она.

– Спасибо, – сказал репортер. – Может, кто-нибудь из вас курит сигареты?

– Вот одна, я ее на полу нашла, – сказала другая. – Правда, она не очень. На нее наступили.

Сколько-то табаку в ней все же было, но горела она быстро; каждая затяжка давала репортеру ощущение чего-то проходящего и рискованного, как будто стоит ему сделать еще один вдох, как табак вместе с огнем и всем остальным покинет бумажную трубочку, полетит и задержится только у него в гортани или в глубине его легких; три затяжки – и с сигаретой было покончено.

– Спасибо, – сказал он. – Если еще найдете, положите, пожалуйста, на тот стол, где пиджак, хорошо? Спасибо...

«Без двадцати двух три, – подумал он. – То есть даже меньше шести часов осталось». Да, подумал он, но потом это вылетело из его сознания, вновь растворилось в длительной безмятежной вялой ненадежде, нерадости – просто в ожидании с мыслью о том, что ему следовало бы поесть. Потом он подумал, что лифт, конечно, сейчас не работает, и это решает вопрос о еде. «Зря я сигаретами не запасся, – подумал он. – Поесть бы, Господи». В коридоре теперь свет не горел, но должен был гореть в уборной. Он вернулся к своему столу, вынул из пиджачного кармана сложенную газету и опять вышел в коридор; прислонясь к пропахшей карболкой стене уборной, он развернул газету на первой странице все с теми же, день ото дня неизменными заголовками в рамках – банкиры, фермеры бастующие, одни глупые, другие неvezучие, третьи попросту преступники, причем все их сегодняш-

нее отличие от вчерашнего состояния заключено не в чем-то, что они сделали, а всего-навсего в короткой строке отпечатанных букв под официальным названием газеты. Стоять так ему было легко, и он не чувствовал необходимости перераспределять вес, опираясь то на одну, то на другую ногу; ему не силу тяготения надо было теперь преодолевать, а лишь инерцию, и объема, массы в нем было сейчас еще меньше, чем в восемь часов, когда он взбегал по лестнице, так что шевельнулся он лишь после того, как сказал себе: «Уже, наверно, четвертый час».

Аккуратно сложив газету и выйдя в коридор, он бросил взгляд в темное помещение своего отдела, и понял, что уборщицы кончили работу. «Так-так. Дело идет к четырем», – подумал он, задаваясь вопросом, что именно он ощущает – настоящий рассвет или поворот темного шара, на котором живут люди, – за мертвую точку, когда больные и обессиленные имеют, как считается, больше всего шансов умереть, и постепенное начало вращения, медленное раскручивание, преодолевающее последнюю вязкую неохоту тьмы, города, который составляли разрозненные элементы – корявые чесоточные шесты с растрепанными пальмовыми кронами наверху, похожими на чудовищные травяные пучки стародавних деревенских метел, пустая использованная сцена гремучих нильских ладей-катафалков прошедшего вечера, теперь безразлично распластавшаяся под башмаками сегодняшних утренних уборщиков, затоптанный мишурный звездный на-

воз в желобах, где косами заплетаются извергаемые гидрантами потоки. «А у Альфонса и у Рено официанты не только понимают французский язык долины Миссисипи, но и могут принести из кухни то, что ты сам не уверен, заказал или нет», – подумал он, ощупью лавируя между столами, затем набивая пиджак бумагой, чтобы подложить под голову, и растягиваясь на полу. «Да, – подумал он, – в постели сейчас, и вот он войдет, и она спросит: *«Ну что, получил?»* – а он: *«Получил? Что получил? А, ты про машину. Да, наша она, наша. Иначе зачем было туда мотаться»*.

Разбудило его не солнце и не то, что было бы солнцем, если бы не обычная зимняя утренняя хмарь; он, хотя в последние сорок восемь часов спал лишь немногим больше, чем ел, просто проснулся, и все, подобно тем людям, что, живя вне механической регламентации времени суток, способны благодаря некоему безошибочному инстинктивному дару совпасть с любым заданным моментом. Однако поезд-то будет отправлен механическим распоряжением, а часов в здании, где находился репортер, пока еще не было. Худой, изможденный (он даже не умыл лицо, не стал тратить время), он сбегал по лестнице и понесся по улице; не замедляя бега, он завернул туда, где каждое утро в тот самый миг, когда гасли уличные фонари, в витрине между бумажными пойнсеттиями<sup>23</sup> и сменными металлическими полосками с названи-

---

<sup>23</sup> Пойнсеттия («рождественский цветок») – тропическое растение с ярко-красными листьями, похожими на цветы.

ями блюд выставлялись неизменные половинки грейпфрута, проверенные временем, непроницаемые и невредимые, как извлеченные из земли сосуды древнегреческих и древнеримских крестьян. В отделе городских новостей это заведение окрестили «тошниловкой»; то был один из десяти тысяч узких туннельчиков, в каждом из которых имеются прилавок, череда отполированных ягодицами табуреток, электрический кофейник и хозяин-грек, похожий на бывшего циркового борца. Каждое подобное заведение соседствует с редакцией той или иной из десяти тысяч газет и повторяется по всей стране в десяти тысячах вариаций; точно такой же толстомясый грек в точно такой же грязной хлопчатобумажной куртке мог бы пялиться на него где угодно поверх точно такого же стеклянного гроба, наполненного злаковыми хлопьями в мисках, апельсинами и булочками, которые явно были эксгумированы там же, где и витринный грейпфрут, и только-только покрыты лаком. Чуть погода репортер смог увидеть, что показывают часы на дальней стене: всего-навсего четверть восьмого.

– Ах ты, Господи, – сказал он.

– Кофе? – спросил грек.

– Да, – сказал репортер. «И поесть бы чего», – подумал он, глядя на желоб со стеклянными стенками и крышкой, на котором лежали его ладони, не с отвращением теперь уже, а с некой деликатной неодобрительной воздержанностью, как старые дамы в романах. И без всякого нетерпения, без вся-



кой спешки; как прошлым вечером он увидел неумолимое возвращение слепой яростной кривой, по которой он двигался, в точку, где он потерял управление, – некое духовное подобие петли, описываемой аэропланом на земле после аварийной посадки, – так сейчас он чувствовал, что его траектория наконец выпрямляется и уже сама несет его вперед и ввысь, ровно и без отклонений, не требуя от него никаких усилий; ему надо было позаботиться только о том, чтобы взять с собой все необходимое, потому что на сей раз возврата не будет.

– Дайте мне такую, – сказал он, постучав пальцами одной руки по стеклу, в то время как другой рукой трогал, осязал сложенный листок бумаги в кармашке для часов. Он съел булочку и выпил кофе, не ощутив вкуса ни того, ни другого, почувствовав только теплоту кофе; часы показывали двадцать пять минут восьмого. «Можно пешком», – подумал он.

Позже хмарь должна была развеяться, но, когда он вошел в здание вокзала и увидел встающего со скамьи Шумана, небо было еще пасмурным.

– Позавтракал уже? – спросил репортер.

– Да, – сказал Шуман.

Репортер посмотрел на него ярко-серьезно-пристальным взглядом.

– Пошли, – сказал он. – Можно уже садиться.

Под вокзальным навесом все еще горели огни; стеклянный потолок был такого же цвета, как небо снаружи.

– Скоро рассеется, – сказал репортер. – Может, уже к тому времени, как мы туда доберемся; обратно, скорее всего, будешь лететь по солнышку. Благодать, правда?

Но хмарь рассеялась раньше – к тому моменту, как они выехали из города; вагон (целый большой кусок его был в их распоряжении) почти в тот же миг осветился жиденьким солнцем.

– Я же говорил, назад при ясном небе будешь лететь, – сказал репортер. – Ну что, надо бы дооформить документ.

Он вынул из кармана вексель; все с той же яркой и серьезной пристальностью он смотрел, как Шуман сначала читает бумагу, потом с трезвым видом обдумывает ее.

– Пять тысяч, – сказал Шуман. – Это...

– Внушительная цена? – спросил репортер. – Да. Я хочу, чтобы не было никаких заминок, до того как мы не взлетим на нем и пока не приземлимся в аэропорту. Чтобы цена была такой, что даже Маршан не посмеет...

Он смотрел на Шумана ярким, спокойным, серьезным взглядом.

– Да, – сказал Шуман. – Я понимаю.

Он сунул руку во внутренний карман пиджака за авторучкой; репортер по-прежнему не двигался, яркость, пристальность и серьезность в его взгляде были все теми же, когда он наблюдал за сознательным, неторопливым, чуть неуклюжим движением пера, выводившего на строчке для подписи пониже той, где он расписался сам, буквы: *Роджер Шуман*. Но

даже в этот момент он не пошевелился; лишь когда перо, не останавливаясь, перескочило еще ниже, на третью строчку, и вновь задвигалось, он наклонился и задержал руку Шумана прикосновением своей, глядя на недописанное третье имя: *за доктора Карла Ш...*

– Погоди, – сказал он. – Что ты делаешь?

– Расписываюсь за отца.

– А он признает подпись?

– Придется постфактум. Да. Он в случае чего поможет тебе выкрутиться.

– Мне выкрутиться?

– Я даже пяти сотен не буду стоять, если не финиширую в этой гонке первым.

Появился кондуктор; двигаясь между сиденьями враскачку, над ними он на миг приостановился.

– Блейзделл, – объявил он. – Блейзделл.

– Постой, – сказал репортер. – Может, я чего не понимаю. Я ведь не летчик; весь мой опыт – это часовой полет с Мэттом. Я ведь как Мэтта понял: что он опасается поломки шасси, или что пропеллер погнется, или там конец крыла как-нибудь...

Он смотрел на Шумана ярко-серьезно, не снимая руки с его запястья.

– Я думаю, я нормально его посажу, – сказал Шуман. Но репортер все глядел на Шумана, не шевелясь.

– Значит, что – полный порядок? Дело только в том, чтобы

его хорошо посадить? Как Мэтт рассказывал про свой полет и посадку?

– Думаю, да, – сказал Шуман. Поезд начал замедлять ход; за окном плыли заросли олеандра и увешанные мхом виргинские дубы, солнце вспыхивало на каплях росы, уловленных легкими нитями висящей на кронах паутины; возникло оплетенное диким виноградником здание вокзала, замедляясь, готовясь остановиться.

– Потому что это просто денежный приз, больше ничего; всего-навсего один полет. И Мэтт поможет тебе починить твой самолет, и к следующему воздушному празднику ты будешь в полной готовности...

Они посмотрели друг на друга.

– Я думаю, я смогу его посадить, – сказал Шуман.

– Да. Но слушай...

– Смогу посадить, – сказал Шуман.

– Хорошо, – сказал репортер и отнял руку от запястья Шумана; перо вновь задвигалось, уверенно и четко завершая подпись: *за доктора Карла Шумана – Роджер Шуман*. Репортер, поднимаясь, взял вексель. – Хорошо, – повторил он. – Пошли.

Они двинулись тем же путем, что и вчера; идти было около мили. Вскоре дорога пошла краем поля, за которым виднелись здания – стоящая особняком контора, мастерская и ангар с крупной надписью поверх открытых ворот:

АВИАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
«ОРД – АТКИНСОН», —

все из бледного кирпича, такие же аккуратные, как новый дом Орда, и явно построенные одновременно с ним. Сидя на земле чуть поодаль от дороги, они видели, как двое механиков выкатывают красно-белый моноплан, в котором Орд установил свой рекорд, как они запускают и прогревают мотор, как затем Орд выходит из конторы, садится в самолет, выруливает к концу поля, поворачивает и взлетает прямо у них над головами, уже опережая свой собственный звук фютов на сто.

– Отсюда до аэропорта Фейнмана сорок миль, – сказал репортер. – Лету ему десять минут. Пошли. Позволь, я уж сам буду вести переговоры. Боже ты мой! – воскликнул он изумленно, с легкой экзальтацией. – Я же ни разу в жизни еще не солгал так, чтобы мне поверили; может, это-то мне всегда и было нужно!

Когда они дошли до ангара, ворота уже были закрыты, оставалась только щель, в которую едва мог войти человек. Шуман вошел, уже оглядываясь по сторонам, пока не увидел самолет – низкоплан с толстой носовой частью и трубчатым фюзеляжем, оканчивающимся диковинно уплощенным хвостовым оперением, из-за чего машина казалась непринужденно и неуклонно проташенной сквозь огромную, полусжатую в кулак, одетую в перчатку руку.

– Вот он, – сказал репортер.

– Ага, – сказал Шуман. – Вижу...

«М-да, – подумал он, молча разглядывая странное хвостовое оперение и тупоносый короткий цилиндрический корпус. – Орд, наверно, не так удивился, когда впервые на это посмотрел».

Потом он услышал, как репортер с кем-то разговаривает, и, повернувшись, увидел одетого в безукоризненно чистый комбинезон коренастого мужчину со сметливым лицом кейджана<sup>24</sup>.

– Это мистер Шуман, – сказал репортер и продолжил в тоне бодрого, яркого изумления: – Вы что, хотите сказать, что Мэтт вам не сообщил? Мы купили эту машину.

Шуман не стал ждать. Он всего секунду смотрел на Маршана, который, держа вексель двумя руками, разглядывал его, преисполненный той озадаченной неподвижности, позади которой рассудок мечется туда-сюда, как терьер за ограждением.

«Да, – подумал Шуман не мрачно, не сурово, – он, как и я, не обошел вниманием пять тысяч. О таких суммах предупредить надо...»

Он двинулся к самолету, но по дороге раз или два оглянулся на Маршана и репортера; кейджан по-прежнему излучал упрямую и медленно твердеющую, кристаллизующуюся

---

<sup>24</sup> Кейджаны – потомки французов, переселившихся из Канады в южные районы штата Луизиана.

ошеломленность, тогда как репортер разглагольствовал, колыхался перед ним и, казалось, только благодаря одежде не разлетелся на части; Шуман даже уловил его слова:

– Конечно, вы можете позвонить в аэропорт и попытаться поймать его. Но только, Бога ради, не говорите никому, что Мэтт содрал с нас за чертов драндулет пять тысяч. Он обещал держать язык за зубами.

Но звонить никто явно не собирался: почти тут же (во всяком случае, так показалось Шуману) репортер и Маршан очутились с ним рядом; репортер молчал теперь и смотрел на него с прежним ярким вниманием.

– Давайте выведем его наружу и взглянем на него, – сказал Шуман.

Они выкатили самолет на предангарную площадку, где он стал еще приземистей и ширококостней на вид. Ничего похожего на подтянутость тех, с осиными талиями, что стояли в аэропорту. Этот был тупорылый, толстоватый, внешне чуть ли не медлительный; легкость его, когда они двигали его вручную, была парадоксальной, диковинной. Добрую минуту репортер и Маршан смотрели на Шумана, стоявшего у машины и разглядывавшего ее с глубокомысленной серьезностью.

– Годится, – сказал он наконец. – Давайте запустим двигатель.

Тут репортер заговорил, чуть отклоняясь от вертикали легонько и тщедушно, как ободранное гусиное перо, упавшее

острием на бетонное покрытие площадки:

– Слушай. Ты сказал вчера вечером, что это, может быть, распределение веса; ты сказал, что если бы мы могли как-то сдвинуть центр тяжести, пока машина в воздухе, то ты, возможно...

Позднее (как только Шуман скрылся из виду, репортер и Маршан сели в машину Маршана и поехали к городку, где репортер забрался в такси, даже не спрашивая цены, сияя исхудалым, застывшим в блеске лицом и крича: «Нет, черт возьми! Не Нью-Валуа! Аэропорт Фейнмана!») он снова и снова переживал тот слепой, лишенный времени промежуток, когда он лежал животом на днище фюзеляжа, держась за две части конструкции, не видя ничего, кроме ног Шумана на педалях и перемещения тяги управления элероном, не ощущая ничего, кроме ужасающего движения – не скорости и не изменения пространственных координат, а просто слепого яростного движения, некой запечатанной силы, стремившейся разорвать фюзеляж-монокок, на днище которого он лежал животом и ногами, и оставить его летящим в воздухе, цепляющимся в пустоте за два стальных стержня. Он все еще думал: «Господи, может быть, мы погибнем сейчас, и, оказывается, всего-то навсего это вкус кислой горячей соли во рту», даже когда смотрел в окно машины на проносящиеся мимо болота, сквозь которые они ехали, огибая город, и думал еще, яростно и торжественно уверенный в бессмертии: «Как миленький он у нас! Как миленький!»



И вот аэропорт; сорок миль промелькнули он не почувствовал как, потому что в голове его всю дорогу было мутно от легких обрывков стремления и скорости, подобных плывущим по воздуху перьям подстреленной птицы, из-за чего он не мог сосредоточить внимание на пустой инерции того пространства, того измерения, того промежутка, сквозь которые ему пришлось перемещаться. Не успела машина выехать на площадь перед фасадом, как он уже сунул водителю пятидолларовую бумажку, и не успела она остановиться, как он уже выскочил и побежал к ангару, возможно даже не зная, что уже идет первая гонка. Изможденный, с диким лицом, с запавшими от бессонницы и волнения глазами, в свободно полощущейся одежде, он вбежал в ангар и устремился к тому месту, где Джиггс, поставив перед собой на верстак едва початую бутылку жидкости для чистки обуви и едва початую жестянку ваксы, с нудной целеустремленностью работал над шрамом на подъеме правого сапога.

– Ну как... – закричал репортер.

– Сел, сел нормально, – сказал Джиггс. – Правда, раскатился на всю длину поля. Черт, я уж подумал, что он выскочит с аэродрома ко всем чертям, а он знай себе шпарит; когда он встал, между пропеллером и волноломом ножичка нельзя было просунуть. Они наверху теперь все, совещаются.

– Он получит допуск! – крикнул репортер. – Я ему уже это сказал. Может, я не разбираюсь в самолетах, но в пархатых из совета по канализации я разбираюсь неплохо!

– Это да, – сказал Джиггс. – И ему два раза только на нем садиться, причем один раз он уже сел.

– Два раза? – вскричал репортер; теперь он сиял на Джиггса глазами не в восторге даже – в настоящем экстазе. – Он уже сел два раза! Мы с ним сели еще до того, как он вылетел от Орда!

– Мы? – переспросил Джиггс. Он замер с сапогом в одной руке и тряпочкой в другой; глядя на репортера, он болезненно мигнул неподбитым глазом, горячим и ярким. – Мы?

– Да! Он и я! Он сказал, что это, видимо, вес, что, может быть, если бы нам удалось как-то этот вес перераспределить, когда машина уже в воздухе... и он спросил: «Боишься?» А я ему: «Еще как. Но если ты не боишься, то и я не должен, потому что у меня за плечами только часовой полет с Мэттом, – или, может, если бы я полетал побольше, я и сам не боялся бы». Так что Маршан помог нам снять одно сиденье, а другое мы приподняли, и под ним для меня образовался лаз, и я протиснулся ближе к хвосту, в фюзеляж, там ведь нет поперечин, он мо... моно...

– Монококовый, – сказал Джиггс. – Господи Иисусе, так ты что же...

– Да. Потом они с Маршаном опустили сиденье, и он показал мне, за что держаться, и я видел только его пятки, больше ничего; я не знал, что происходит; ну, я понял, конечно, через некоторое время, что мы летим, но я не знал даже, вперед или назад, я ничего не знал, потому что, Господи, я всего

час до этого полетал с Мэттом, а потом он сбросил скорость, а потом я его услышал – Боже ты мой, мы все равно как на земле стояли, – он тихо сказал: «Теперь отъезжай назад. Не торопись. Но держись крепко». А потом я, считай, повис на руках; пола я не касался вовсе. Господи Боже, и я подумал. «Ну вот; а во время гонки-то что сегодня будет твориться». Я даже не понимал, что мы сели, пока не увидел, как они с Маршаном поднимают сиденье, а Маршан только повторял: «Ну дела. Ну дела. Ну дела», а он, Шуман, смотрел на меня, а сволочной драндулет стоял тихий такой, прямо как те, на фотографиях, на Гранльё-стрит, а потом он говорит: «Ну что, вылезай», а я ему: «Вылезаю. Уже летишь, да?» А он отвечает: «Надо перекинуть машину на аэродром и получить допуск».

– Да-а, – сказал Джиггс.

– Да! – воскликнул репортер. – Это было просто распределение веса; они с Маршаном набили песком автомобильную камеру и соорудили блок, чтобы Шуман мог... И поставили сиденье на место, и даже если они там увидят конец троса, они не... Потому что единственная машина, которая может его обогнать, это машина Орда, а приз всего две тысячи, и Орду они без надобности, он только для того участвует, чтобы жители Нью-Валуа разок увидели, как он летает в своем «девяносто втором», и он не будет выжимать из машины стоимостью в пятнадцать тысяч все до последнего лишь ради того, чтобы...

– Спокойно, спокойно, – сказал Джиггс. – Ты все тут сейчас на куски разнесешь. Курни. Сигареты есть у тебя?

Репортер в конце концов нашарил в кармане сигареты, но не он, а Джиггс вытащил две из пачки и чиркнул спичкой; репортер нагнулся к ней, дрожа. Лицо его по-прежнему было ошеломленным, изнуренным и диким, но теперь он слегка приутих.

– Так они что же, все вышли его встречать?

– Еще бы, – сказал Джиггс. – А самым первым, конечно, Орд. Он узнал машину, как только она показалась в небе; точно тебе говорю, он еще до того ее узнал, как Роджер увидел аэропорт, а когда он садился, можно было подумать, что это Линдберг. Он, значит, сидит в кабине и смотрит на них, Орд орет на него, а потом они все чешут обратно, к ангару, как будто Роджер – похититель ребенка или вроде того<sup>25</sup>, и идут в административное здание, а минуту спустя микрофончик начал звать инспектора, как его там...

– Сейлз, – сказал репортер. – Машина лицензирована; они не могут ничего сделать.

– Сейлз может взлет запретить, – сказал Джиггс.

– Да. – Репортер уже поворачивался, уже двигался. – Но Сейлз всего-навсего федеральный чиновник, а Фейнман, наоборот, еврей и член совета по канализации...

– При чем тут это?

---

<sup>25</sup> В 1932 г. малолетний сын знаменитого летчика Чарльза Линдберга (1902-1974) был похищен и убит.

– При чем?! – воскликнул репортер, сияющий, исхудалый, явно уже вырвавшийся из ненадежного тела, так что на Джиггса иступленно пялилась только оболочка. – При чем? А зачем, спрашивается, он проводит этот воздушный праздник? Зачем он, по-твоему... Ты думаешь, он только для того построил этот аэропорт, чтобы самолетам было гладко садиться?

Он двинулся хоть и не бегом, но быстро. Пока он торопливо пересекал предангарную площадку, самолеты нагнали и обогнали его, круто облетели пилон на поле аэродрома и уменьшились, растворились; он на них даже не посмотрел. Потом внезапно он увидел ее: держа мальчика за руку, она, чтобы перехватить его, отделилась от толпы у ворот, теперь в чистом льняном платье под тренкотом и в шляпке – в той же коричневой, что и в первый вечер. Он остановился. Рука полезла в карман, лицо сделалось ярким, тихим, почти улыбающимся – а она быстро шла к нему, глядя на него бледно, настоятельно.

– В чем дело? – спросила она. – Во что вы его втравили, а?

Он посмотрел на нее сверху вниз с видом не жаждущим и не отчаянным, а глубоко-спокойно-трагическим, какими бывают глаза легавых собак.

– Все в порядке, – сказал он. – Моя подпись на векселе тоже есть. Он действителен. Я прямо сейчас иду подтверждать подпись; их только это и задерживает; больше ничего Орда не...

Он вынул из кармана пятицентовик и дал мальчику.

– Что? – сказала она. – Вексель? Какой еще вексель? Я про машину, кретин!

– А-а, – улыбнулся он ей сверху вниз. – Про машину. Мы на ней летали, мы проверили ее там. Мы совершили пробный взлет и посадку, и только потом...

– Мы?

– Да. Я с ним полетел. Я лежал на днище в хвосте, потому что мы хотели выяснить, как должен быть распределен вес, чтобы не было срыва потока. Вот и все. Мы сунули туда балласт и подсоединили трос, чтобы он мог двигать груз туда-сюда. С этим полный порядок.

– Полный порядок? – переспросила она. – Что вы можете об этом знать, Господи! Он-то сам что сказал – что все в норме?

– Да. Он еще вчера вечером сказал, что сможет его посадить. Я знал, что он сможет. И теперь ему надо будет только один раз...

Она смотрела на него – бледные, холодные, настоятельные глаза, – на его изможденно-мечтательно-мирное лицо под мягким и ярким солнцем; аэропланы вновь приблизились и с хриплым рыком умчались. Его разглагольствования перебил репродуктор; все репродукторы вдоль предангарной площадки начали повторять его фамилию, объявляя трибунам, летному полю, земле, озерной воде и воздуху, что его просят немедленно пройти в кабинет директора.

– Ага, – сказал он. – Конечно. Я знал, что вексель будет единственным, что Орд попытается... Вот почему я тоже его подписал. Не беспокойтесь; мне надо просто прийти туда и сказать: «Да, это моя подпись». Не беспокойтесь. Он может на нем летать. Он на чем угодно может летать. Я раньше думал, что лучший летчик на свете – Мэтт Орд, но теперь...

Репродуктор принялся повторять сказанное еще раз. Он воздвигся прямо перед репортером и, казалось, смотрел на него в упор, нарочито выревывая его фамилию, словно бы вызывая ее обладателя не из мира живых людей, а из самого воздуха – вызывая повелительно, многократно. Когда репортер входил в круглый зал, репродуктор, который был установлен там, как раз начал; звук последовал за репортером через дверь и первую комнату, но дальше – во вчерашний зал заседаний, где теперь на жестких стульях сидели только Орд и Шуман, – не проник. Войдя сюда полчаса назад, они сели напротив тех, кто находился за столом; Шуман впервые увидел Фейнмана, который занимал место не в центре стола, а с краю, где вчера сидел комментатор; костюм на Фейнмане был не серый, как на фотографии в газете, а коричневый, но тоже двубортный, с яркой кляксой гвоздики. Единственный из всех он был в шляпе, казавшейся самым миниатюрным элементом его облика; ниже шляпы его смуглое гладкое лицо мгновенно расплывалось щедрыми волнами плоти, которая, на мгновение обузданная воротником, пухло и раскатисто отыгрывалась под строгими линиями пиджака. Лежав-

шая на столе рука с рубином, оправленным в золото, держала дымящуюся сигару. На Шумана и Орда он даже не взглянул; он смотрел на инспектора Сейлза – на лысого коренастого человека с грубовато вылепленным лицом, которое, обычно вполне приятное, сейчас таковым не было. Сейлз говорил:

– Потому что я могу наложить запрет на использование этой машины.

– То есть запретить летать на ней кому угодно, любому летчику? – спросил Фейнман.

– Можно и так выразиться, если хотите, – согласился Сейлз.

– Скажем так: воспользуемся этой формулировкой для протокола, – произнес еще один голос, принадлежавший элегантному и холеному молодому человеку в роговых очках, который сидел чуть позади Фейнмана. Это был его секретарь; он продолжил вкрадчиво-оскорбительным тоном изнеженного, умного, пропитанного ненавистью евнуха-прихлебателя при дворе восточного деспота: – Полковник Фейнман – не только общественный деятель, но и, прежде всего, юрист.

– Да, юрист, – сказал Фейнман. – Для людей из Вашингтона, видимо, сельский юрист. Позвольте, я буду говорить без обиняков. Вы – правительственный чиновник. Прекрасно. Посевные площади у нас регулируются, рыболовные промыслы регулируются, даже наши деньги в банке регулируют-



ся<sup>26</sup>. Прекрасно. Я по-прежнему не понимаю, как это у них так вышло, но у них так вышло, и нам приходится привыкать. Если бы он пытался жить за счет земельных угодий и Вашингтон пришел бы его регулировать – ладно, пускай. Понять это нам было бы так же трудно, как ему самому, но мы сказали бы – ладно, пускай. И если бы он пытался жить за счет реки и правительство взялось бы его регулировать – мы тоже смирились бы. Но вы мне что хотите сказать – что Вашингтон может прийти и начать регулировать человека, который пытается жить за счет воздуха? В воздухе у нас тоже, что ли, снижение посевных площадей?

Сидящие за столом (трое из них были репортеры) засмеялись. В их смехе прозвучало внезапное и громкое облегчение, как будто они до этого все время выжидали, пытаясь понять, как им слушать, как реагировать, и теперь наконец поняли. Не смеялись только Сейлз, Шуман и Орд; потом они заметили, что секретарь тоже не смеется и что он уже говорит, словно бы мягко вводя свой вкрадчивый голос в общий смех и прекращая его с такой же неумолимой внезапностью, с какой кокаиновая игла нейтрализует нерв:

– Да. Полковник Фейнман – в достаточной мере юрист (и мистер Сейлз, возможно, добавит – в достаточной мере сельский), чтобы даже правительственного чиновника попросить привести аргументы. Насколько известно полковнику, этот

---

<sup>26</sup> Имеются в виду правительственные меры в рамках «Нового курса» президента Ф. Рузвельта.

аэроплан лицензирован и лицензия одобрена самим мистером Сейлзом. Это правда, мистер Сейлз?

Какое-то время Сейлз сумрачно смотрел на секретаря, затем ответил:

– Летать на этой машине небезопасно. Вот вам аргумент.

– А, – отозвался секретарь. – Я испугался было, что мистер Сейлз заявит нам, что она и вовсе не полетит; что она добрела сюда из Блейзделла пешком. Тогда нам оставалось бы только сказать: «Хорошо-хорошо; мы и не требуем, чтобы она летала; пусть она идет себе вокруг пилонов пешочком во время сегодняшней гонки...»

Опять грянул смех; три репортера яростно строчили в блокнотах. Но смех был адресован не секретарю, а Фейнману. Секретарь, видимо, это понимал; пока он ждал тишины, его неулыбающееся оскорбительное презрение коснулось всех лиц по очереди. Затем он опять обратился к Сейлзу:

– Вы не будете отрицать, что самолет лицензирован, что вы сами удостоверили его исправность – иначе говоря, что он зарегистрирован в Вашингтоне как летательный аппарат, способный исполнять свои функции, то бишь летать. И вдруг вы заявляете, что не позволите машине соревноваться, поскольку она якобы не может делать то, к чему вы сами признали ее годной, – то есть не может летать, если из снисхождения к нам, юристам, выразиться попросту. Однако мистер Орд только что сказал нам, что летал на ней в вашем присут-

ствии. И мистер... – он опустил взгляд; это была не пауза даже, а нечто меньшее, – Шуман утверждает, что совершил на ней полет в Блейзделле в присутствии свидетелей, и мы знаем, что он прилетел на этом самолете сюда, мы все это видели. Хорошо известно, что мистер Орд – один из лучших пилотов в мире (а мы, жители Нью-Валуа, считаем, что *самый* лучший), и все же не допускаете ли вы маленькую возможность – подчеркиваю, маленькую – того, что пилот, летавший на нем дважды, тогда как мистер Орд всего однажды... Не наводит ли это нас на мысль, что у мистера Орда, может быть, есть другая, личная причина для нежелания допустить этот самолет к участию в гонке...

– Вот-вот, – сказал Фейнман. Он повернулся к Орду. – В чем дело, я не пойму? Что, аэродром недостаточно хорош для ваших машин? Или гонка недостаточно для вас важна? Или вы просто боитесь, что он вас обгонит? Но разве вы не в том самолете будете сидеть, в котором побили рекорд? Тогда чего вам опасаться?

Орд обвел взглядом лица сидящих за столом, потом опять посмотрел на Фейнмана:

– Почему вы хотите, чтобы эта машина непременно сегодня участвовала? Не могу взять в толк. Я бы одолжил ему денег, если дело только в этом.

– Почему? – переспросил Фейнман. – Разве мы не обещали людям, которые там собрались, – он резко взмахнул рукой, державшей сигару, – серию гонок? Разве они не запла-

тили за то, чтобы эти гонки увидеть? И разве не верно, что чем больше самолетов они увидят, тем лучше, с их точки зрения, потраченные ими деньги окупятся? И с какой стати он должен хотеть занять деньги у вас, – может, он предпочитает их заработать, делая то, что он умеет, и не возвращать их потом, и проценты не платить? Ладно, хватит, давайте решать вопрос. – Он повернулся к Сейлзу. – Машина лицензирована, так?

– Так, – сказал Сейлз после паузы.

Фейнман повернулся к Орду.

– И она может летать, не так ли?

Орд тоже помолчал, глядя на него.

– Да, – сказал он.

Наконец Фейнман повернулся к Шуману.

– Опасно на ней летать? – спросил он.

– На них на всех опасно, – ответил Шуман.

– Но этого полета вы боитесь? – Шуман молча смотрел на него. – Ожидаете ли вы, что самолет упадет сегодня с вами вместе?

– Ожидал бы – не взял бы его, – сказал Шуман. Внезапно Орд встал; он смотрел на Сейлза.

– Знаешь что, дружище, – сказал он, – так дело не пойдет. Я сам запрещаю этот полет. – Он повернулся к Шуману. – Послушайте, Роджер...

– На каком основании, мистер Орд? – спросил секретарь.

– На том, что машина моя. Какие вам еще нужны основа-

ния?

– Но ведь уполномоченный сотрудник вашей корпорации принял за самолет законный платежный эквивалент и передал машину покупателю.

– Вексель липовый, они не смогут по нему заплатить. Я знаю, о чем говорю. Я сам катался верхом на палке, пока мне не повезло. Да чего там, всем же все ясно: подпись одного из должников не им проставлена. И еще. Я даже не знаю, расписывался ли вообще там Шуман; тот или те, кто подписал эту бумагу, подписали ее до того, как я ее увидел, и даже до того, как ее увидел Маршан. Я понятно говорю?

Он пристально смотрел на секретаря, который, в свою очередь, смотрел на него взглядом лениво-презрительно-затуманенным.

– Вполне, – вежливо сказал секретарь. – Я ожидал, что вы выдвинете эти аргументы. Но вы, кажется, забыли, что вексель подписан еще одним человеком.

Орд смотрел на него довольно долго.

– Но он тоже неплатежеспособен, – сказал он.

– В одиночку – возможно. Но мистер Шуман заявляет, что его отец платежеспособен и что он признает свои обязательства по векселю. Так что, если следовать вашей же логике, вопрос сводится к тому, действительно ли мистер Шуман расписался на этом векселе за себя и за отца. Но у нас есть свидетель, готовый подтвердить подлинность подписи. Это, я допускаю, не вполне соответствует букве закона. Но со вто-

рым из подписавших некоторые из находящихся здесь знакомы; вы сами, мистер Орд, его конечно же знаете как безукоризненно правдивого человека. Мы пригласим его сюда.

Именно в этот момент репродукторы начали выкликать фамилию репортера. Войдя, он приблизился к столу под взглядами всех присутствующих. Секретарь протянул ему вексель. («Боже мой, – подумал репортер, – они, должно быть, послали самолет за Маршаном».)

– Взгляните на этот документ, – сказал секретарь.

– Я знаком с ним, – сказал репортер.

– Действительно ли вы и мистер Шуман подписали его в присутствии друг друга и с честными намерениями?

Репортер огляделся вокруг – посмотрел на сидящих за столом, на Шумана, чуть склонившего голову, и на Орда, который, привстав, буравил его взглядом. Несколько секунд спустя Шуман поднял голову и спокойно посмотрел на него.

– Да, – сказал репортер. – Мы подписали эту бумагу.

– Что и требовалось доказать, – сказал Фейнман, вставая.

– Все. Шуман – владелец машины; если Орд намерен упорствовать, пусть едет в город и привозит до начала гонки судебный приказ о возврате имущества. Думаю, он не успеет.

– Но он не имеет права садиться в машину, – сказал Орд.

– Она не получила допуска.

Фейнман выдержал короткую паузу, в течение которой он смотрел на Орда с бесстрастной непроницаемостью.

– Действуя от лица жителей штата Франсиана, безвоз-

мездно предоставивших территорию, и от лица горожан Нью-Валуа, построивших аэропорт, где проводится гонка, я отменяю процедуру допуска.

– Но вы не можете отменить Американскую воздухоплавательную ассоциацию, – сказал Орд. – Пусть даже он выигрывает эту чертову гонку, победа не будет официально признана.

– Что ж, тогда ему не придется нестись сломя голову в город и закладывать там в ломбард серебряный кубок, – сказал Фейнман. Он вышел; другие встали из-за стола и последовали за ним. Чуть погодя Орд тихо повернулся к Шуману.

– Пошли, – сказал он. – Проверим вместе машину.

Потом репортер потерял их из виду. Он следовал за ними через круглый зал, через репродукторный голос и через толпу у ворот – точнее, так ему думалось, пока он не вспомнил, что у них, в отличие от него, нет пропусков и им поэтому надо идти на предангарную площадку в обход. Но самолет, плотно окруженный людьми, был ему виден. Женщина тоже забыла, что Шуман и Орд не могут идти напрямик, а должны через ангар; она вновь отделилась от толпы под возвышением для оркестра.

– Решено, значит, – сказала она. – Они ему позволили.

– Да. Все прошло нормально. Я же вам говорил.

– Решено, – сказала она, глядя на него, но словно бы говоря в пустоту. – Да. Вы это обеспечили.

– Да. Я знал, что ничего другого не потребуется. Я был

совершенно спокоен. И вы тоже не...

Какое-то время она стояла неподвижно; ничего привлекающего внимание не происходило вовсе; он, казалось, бесплотно повис в протяженной мирной заводи ожидания, посылая из мечтательной сонной улыбки тихие слова:

– Да. Орд пустился рассуждать, что ему, мол, кубок не дадут, как будто это его остановит, как будто он ради этого...

– даже не чувствуя, что негромко говорит с ним, спрашивает, не присмотрит ли он за мальчиком, лишь ее оболочка:

– Ведь вы, кажется, все равно никуда пока отсюда не собираетесь.

– Да, – сказал он. – Конечно.

И она ушла, белое платье и тренкот затерялись в толпе на предангарной площадке, где почетные ленточки соседствовали с промасленными комбинезонами, – в толпе, которая дружно повалила к темной лошадке, к сенсации. Пока он там стоял, держа мальчика за влажную липкую руку, француз Деппен опять промчался на одном колесе по взлетно-посадочной дорожке, параллельной трибунам; репортер видел, как он взлетел и, сделав полубочку и перевернувшись вниз головой, начал в таком положении набирать высоту. Теперь ему стал слышен репродуктор; он не слышал этого голоса с тех пор, как он выкликнул его по фамилии, хотя голос звучал непрерывно – а может быть, как раз поэтому.

– ...Ох, ох, ох, мистер, не надо, не надо! Ох, мистер! Прошу вас, поднимитесь чуток повыше, чтобы в случае чего ваш



парашют успел раскрыться! Ну, ну; ну, ну... О Господи! Мистер Сейлз! Заставьте его прекратить!

Репортер посмотрел на мальчика.

– Держу пари на десять центов, что ты еще не потратил те пять, – сказал он.

– Не потратил, – сказал мальчик. – Потратишь тут. Она не позволяет.

– Бог ты мой! – сказал репортер. – Это значит, что я должен тебе двадцать центов. Вот...

Он умолк, обернулся; за ним стоял фотограф, которого он звал Стопарем, вновь отягощенный загадочными и слегка зловещими орудиями своего ремесла, что придавало ему некое сходство с ученой собакой, принадлежащей сельскому врачу.

– Где пропадад, черт тебя возьми? – спросил фотограф. – Хагуд велел мне найти тебя в десять часов.

– Ну вот ты меня и нашел, – сказал репортер. – Мы как раз собираемся зайти в помещение, чтобы потратить двадцать центов. Пошли с нами.

Теперь француз летел над дорожкой вниз головой на высоте примерно в двадцать футов; его голова и лицо под бортом кабины были настороженно-неподвижны, как голова таракана или крысы, высунувшаяся из щели между стенными панелями; ни один волос в его аккуратной маленькой бородке не трепетал, словно весь его облик был отлит в цельном куске бронзы.

– Дудки, – сказал фотограф; возможно, разыграл желчный аспект перевернутой Вселенной, которая видна сквозь прикрытый козырьком объектив или проступает в гримасничающей, нелепо позирующей миниатюре на дне зловонной кюветки в адской аскетической келье, освещаемой красной лампой. – Сейчас этот тип шмякнется бороденкой своей, а ты хочешь лишить меня снимка?

– Вольному воля, – сказал репортер. – Стой, снимай, пожалуйста.

Он повернулся, чтобы идти.

– погоди, слушай, Хагуд ведь мне велел... – сказал фотограф. Репортер оглянулся.

– Ладно, согласен, – сказал он. – Но быстренько.

– Что быстренько?

– Снимай меня. Покажешь потом Хагуду, когда к нему явишься.

Они с мальчиком пошли дальше; он не вступил в голос, потому что и так все время был в нем.

– ...об-рат-ный штопор, друзья; он входит в него по-прежнему вниз головой... ох-ох-ох...

Репортер внезапно остановился и посадил мальчика себе на плечи.

– Так будет быстрее, – сказал он. – Через несколько минут нам обратно.

Они миновали ворота, протиснувшись среди задранных лиц с разинутыми ртами, запрудивших проход. «Вот-вот, –

спокойно думал он со слабенькой тихой гримаской, похожей на улыбку, – они же не людского племени. Это не прелюбодеяние; представить себе их совокупающимися не легче, чем два самолета где-нибудь в темном углу ангара». Одной рукой он придерживал сидящего у него на плечах мальчика, ощущая сквозь жесткое хаки юную недолговечную живую плоть. «Да, разрежь его – и там будет цилиндровое масло; анатомируй его – и окажется, что это не кости, это маленькие клапанные коромысла и шатуны...» Ресторан был переполнен; они не стали тратить время на то, чтобы есть мороженое с блюдца; мальчик взял в руку одну порцию и положил в карман две шоколадки, репортер взял другую, и они стали протискиваться обратно сквозь запруженный людьми проход. Тут ударила бомба, и вновь голос:

– ...четвертый номер: гонка без ограничения объема двигателя на кубок Бона, денежный приз – две тысячи долларов. Вы получите возможность увидеть Мэтта Орда в его знаменитой девяносто второй модели «Орд – Аткинсон», в которой он установил рекорд скорости для самолетов, действующих с сухопутных аэродромов; но мало того – в последний момент благодаря содействию Американской воздухоплавательной ассоциации и администрации аэропорта Фейнмана к числу участников присоединился Роджер Шуман, чей самолет вчера при вынужденной посадке перевернулся через носовую часть. Теперь он летит в специально переоборудованной машине, причем переоборудованной самим Мэттом

Ордом. Два жеребенка из одной конюшни, друзья, и два пилота такого высокого класса, что мы от души радуемся возможности показать жителям Нью-Валуа и штата Франсиана их захватывающую борьбу...

Они с мальчиком посмотрели на взлет и двинулись дальше. Вскоре он увидел ее – коричневая шляпка, пальто, – подошел и встал чуть позади, одной рукой придерживая мальчика у себя на плечах, в другой держа вторую тающую порцию мороженого, а четыре самолета тем временем вернулись после первого витка: впереди красно-белый моноплан, за ним, немного отстав, еще две машины бок о бок, а Шумана он поначалу вообще не увидел. Потом наконец увидел, выше остальных и сильно в стороне, а слышимый ему голос принадлежал теперь какому-то механику и доносился не из репродуктора:

– А Шуман-то, Шуман! Машинка-то у него, видно, резвая; он вдвое в сторону ушел против остальных, – может, конечно, Орд не слишком старается... Черт, почему он так далеко?

Тут голос утонул в реве и рыке: самолеты облетели ближний пилон и, сопровождаемые дружным поворотом словно бы жестко прикрепленных к звуку голов от одного края предангарной площадки к другому, удалились в сторону озера, уменьшились, соблюдая очередность; Шуман, выполнив поворот со скольжением на крыло, но сохранив позицию, все так же летел изрядно в стороне. На подходе ко второму пи-

лону, высившемуся посреди озера, машины сблизилась; выстроившиеся не совсем ровной линией, крохотные теперь из-за дальности – Шуман, соблюдая прежнюю осторожность, держался выше и сбоку, – они, набирая перед поворотом высоту, легко порхнули вверх и обогнули пилон. Репортер опять услышал голос механика:

– Вот, смотрите, ускоряется. Мать честная, он уже второй! Ну дает, чуть не пикирует! Надо же, он на ближнем пилоне будет за Ордом вплотную; значит, просто выжидал, прощупывал...

Шум был теперь слабым и рассеянным; сонный послеполуденный мир был накрыт им, как куполом, и четыре машины, казалось, беззвучно зависли в вакууме, как стрекозы, являя глазу различные смягченные расстоянием пастельные тона на невообразимо голубом фоне; когда солнце блеснуло на каждой из машин и погасло, в этих вспышках было нечто незначительное и случайное, как в четырех музыкальных нотах, взятых кем-то, скажем, на арфе. Наклонившись к женщине, которая не подозревала о его присутствии, репортер закричал:

– Смотрите, смотрите! Нет, но каков летчик! Каков летчик! А Орд не будет выжимать из «девяносто второго»... Второй приз в четверг, и, если Орд не будет... Смотрите, Господи! Смотрите!

Она повернулась к нему: подбородок, бледные глаза, голос, сказанного которым он даже не воспринял:

– Да. Деньги – это всегда хорошо.

Потом он даже перестал на нее смотреть, устремив взгляд вдоль взлетно-посадочной полосы, потому что четыре самолета, теперь отчетливо разбившиеся на две пары, приближались к полю аэродрома, быстро увеличиваясь. Опять раздался голос механика:

– Ну шпарит! Посмотрим, как Орд будет с ним тягаться! Смотрите, Орд ему уступает...

Двое лидеров начали вираж одновременно, идя бок о бок; гулкий рев словно бы опускался и втягивался, как будто машины не производили его сами, а засасывали из неба. Рот репортера был по-прежнему открыт; он знал это по игольчатому покалыванию в больной челюсти. Позднее он вспомнит, как опустил глаза и увидел, что раздавленное мороженое течет меж его пальцев, как поставил мальчика на землю и взял его за руку. Но тогда он этого не сознавал; тогда два самолета бок о бок, Шуман с внешней стороны и чуть выше, пошли на вираж вокруг пилона, будто свинченные воедино, – и вдруг репортер увидел в воздухе над верхушкой пилона некую плывущую невесомую россыпь, похожую на клочки горелой бумаги или на перья. Он смотрел на эти клочки, все еще не закрыв рта, и внезапно услышал чье-то «Аааа!» – и увидел, как Шуман взмывает вверх почти отвесно и как из его машины вылетает целый ворох легкого мусора.

На площадке потом говорили, что он использовал последние секунды управляемости до того, как фюзеляж разломил-

ся надвое, чтобы резко набрать высоту и освободить путь двум летевшим сзади самолетам, глядя при этом вниз на многолюдную сушу и на пустое озеро и делая быстрый выбор, пока хвостовая часть не отвалилась совсем. Но большая часть толков была о том, как повела себя его жена, о том, что она не закричала и не упала в обморок (она стояла близко к комментатору, достаточно близко, чтобы микрофон уловил ее крик), а просто смотрела, не сходя с места, как разламывается фюзеляж, а потом со словами: «Чтоб тебя, Роджер! Чтоб тебя! Чтоб тебя!» – повернулась, схватила мальчика за руку и бросилась к волнолому; мальчик беспомощно мотался на коротеньких ножках между ней и репортером, который, держа его за другую руку, издавая телом легкий стук и шелк, напоминая воронье пугало в бурю, бежал развинченным своим галопом за ярким отчетливым образом любви. Возможно, он тормозил ее движение своей массой, потому что она на бегу обернулась и, метнув в него короткий бледный холодный ужасный взгляд, крикнула:

– Да будь ты проклят! Провались! Сгинь ко всем чертям!

# ПЕСНЬ ЛЮБВИ

## ДЖ. А. ПРУФРОКА<sup>27</sup>

На ракушечном берегу между бульваром и слипом<sup>28</sup> для гидропланов стоял один из грузовиков электрической компании, а приехавшие на нем электрики устанавливали у кромки воды прожектор. Репортер, когда его увидел фотограф по кличке Стопарь, высился у пустого грузовика в окружавшей машину зоне затишья между физиономиями зевак, глядевших из-за полицейского оцепления, и всеми теми – полицейскими, газетчиками, служащими аэропорта и иными личностями, не имеющими ни полномочий, ни ясной цели, которые ухитряются проникать сквозь полицейские кордоны всюду, где произошло прилюдное несчастье, – что толпились вдоль берега. Фотограф подбежал к репортеру вялой, поникшей трусцой, аппарат вихлялся у него на боку.

– Ну дела, Боже ты мой, – сказал он. – Снял я все это, снял. Только вот чуть не вытошнило меня к чертям собачьим прямо туда, в ящик, когда я пластинки менял.

За фигурами тех, кто стоял у воды, и чуть подальше буйев, ограничивающих снаружи бассейн для гидропланов, по-

---

<sup>27</sup> Название стихотворения Т. С. Элиота.

<sup>28</sup> Слип – сооружение в виде наклонной плоскости для подъема на берег небольших судов.



лицейский катер, чтобы к предполагаемому месту падения самолета могла беспрепятственно подойти землечерпалка, разгонял воронью стаю лодчонок, налетевших неким волшебным образом, подобно большинству собравшихся на берегу, неизвестно откуда. Слип для гидропланов, дно около которого было искусственно углублено, защищала от тихого наступления илистого озерного дна подводная баррикада, на сооружение которой пошли отходы городской физиологии (куски старой мостовой, обломки разрушенных стен и даже остовы отслуживших свое автомобилей – всевозможные отбросы двадцатого столетия, извергаемые человеческими скоплениями, достаточно крупными, чтобы платить жалованье мэру), сваленные в озеро. Согласно показаниям трех добытчиков устриц, промышлявших в тот момент в плоскодонке ярдов за двести, самолет упал в воду то ли прямо над этим мусорным барьером, то ли рядом, чуть подальше от берега. Хотя оба крыла всплыли почти тотчас же и сразу были отбуксированы на берег, три версии несколько различались в отношении точного места; один из сборщиков устриц (с поля аэродрома, с предангарной площадки видели, что Шуман пытается открыть люк кабины, словно желая выпрыгнуть, словно надеясь на парашют, несмотря на малую высоту) утверждал, что пилот, то ли сумев выбраться из машины, то ли будучи из нее выброшен, падал отдельно. Однако все трое сходились в том, что и тело, и аэроплан лежат либо на самом подводном завале, от которого полицейский катер те-

перь отгонял маленькие лодки, либо около него.

Солнце только что село. На зеркально-гладкой воде даже поганенькие эти суденышки – выдавшие виды вонючие плоскодонки и ялики устричников и креветочников – казались чем-то волшебным-воздушным и безглубинным, казались бабочками или мотыльками, врассыпную упархивающими от механической сенокосилки – от ладного низенького полицейского катерка защитного цвета, принявшего на борт с одной из лодчонок женщину и мальчика, в которых фотограф узнал жену и сына погибшего летчика. Среди этой плавучей мелкоты землечерпалка выглядела неким впервые выбравшимся на свет Божий допотопным чудищем, которое разбудил, но не встревожил одушевленный или неодушевленный предмет из свето-воздушного царства, внезапно вторгшийся в водную цитадель, где оно спало.

– Мать честная, – сказал фотограф, – почему, спрашивается, я прямо тут не стоял? Хагуду, хочешь не хочешь, пришлось бы меня повесить. Боже праведный, – сказал он хриплым голосом, полным приглушенного и не желающего верить изумления, – а иному недотепе вроде меня даже на роликовых коньках не дано было научиться.

Репортер наконец перевел на него взгляд. Лицо репортера было абсолютно спокойно; повернувшись с осторожностью, как будто он был стеклянный и знал это, он обратил взор на фотографа, легонько сморгнул и произнес безмятежным, сонно-задумчивым голосом, какой можно услышать в

доме, где болен ребенок – болен не день и не два, а так долго, что даже изнурительная тревога успела выродиться в поверхностную привычку:

– Она велела мне провалиться. В смысле – обратиться со всем, в другой город, скажем.

– Убраться? – переспросил фотограф. – В какой город?

– Ты не понял, – сказал репортер тем же безмятежным озадаченным голосом. – Сейчас я тебе объясню.

– Конечно, само собой, – сказал фотограф. – Меня вот тоже до сих пор тошнит. Но надо двигать, везти пластинки в редакцию. А ты, сдаётся мне, ещё даже туда не звонил. Ведь не звонил?

– Что? – спросил репортер. – А... Нет, я звонил. Но послушай. Она не поняла. Она велела мне...

– Пошли, пошли, – сказал фотограф. – Тебе ещё раз надо позвонить, сообщить о развитии событий. Господи, а мне, думаешь, хорошо? Слушай, курни, полегчает. Ещё бы. Я тоже чуть не сблевал. Но собственно, какого черта? Он нам ни сват ни брат. Пошли, чего стоять.

Он достал у репортера из кармана пачку сигарет, вытянул из нее две и чиркнул спичкой. Репортер несколько приободрился; он взял у фотографа горящую спичку и сам поднес ее к обеим сигаретам. Но почти тут же фотограф увидел, как он вновь погружается в былое состояние безмятежной телесной анестезии, медленно утопает словно бы в чистой прозрачной жидкости, обратив к фотографу спокойное, слегка

искаженное лучепреломлением лицо, смаргивая с близурой серьезностью, глядя на него и терпеливо, неторопливо повторяя:

– Нет, ты не понял. Сейчас я тебе...

– Конечно, само собой, – сказал фотограф. – Ты Хагуду лучше объясни, пока мы будем ждать выпивки.

Репортер покорно двинулся следом. Но очень скоро фотограф увидел, что они вновь обрели ту обычную взаимную физическую дополнительность, что была им свойственна, когда они работали в паре: репортер крупно вышагивал впереди, он трусил за ним, стараясь не отстать.

«Вот чем он хорош, пожалуй, – подумал фотограф. – Ему не так-то уж далеко сходить с ума и поэтому не так-то уж далеко возвращаться».

– Точно, – сказал репортер. – Чего тут стоять. Нам надо пива и хлеба, а этим надо чтива и зрелищ. А если вдруг когда-нибудь отменят кровь и прелюбодеяние, где, черт возьми, мы все окажемся?.. Да. Ты дуй в редакцию с тем, что есть; даже если они сейчас его вытащат, снимать все равно уже будет темно. Я останусь, подежурю. Скажи об этом Хагуду.

– Само собой, – сказал фотограф, семена трусцой с мотающимся у бедра аппаратом. – Хлебнем по одной, авось чуток воспрянем. Если подумать, мы ж не заставляли его на этой штуке лететь.

Они еще не добрались до круглого зала, а закатный свет уже померк; пока они шли вдоль предангарной площадки,

зажглись пограничные огни, и вот уже плоский мечеподобный мах маячного луча описал по озеру широкую дугу и на мгновение, пока вращающееся око смотрело им прямо в глаза, исчез в протяженном «Пли!», а потом вновь появился, дополняя озерный полукруг сухопутным. Поле было пусто, как и предангарная площадка, но круглый зал был полон людей и глухих, гулких шепчущих звуков, которые, не спеша пропадать, казалось, мешкотно плавали не у произнесших их губ, а где-то высоко в спокойном подкупольном полумраке. Когда они вошли, подросток-газетчик встретил их криком и взмахнул газетой, заголовком:

ГИБЕЛЬ ПИЛОТА.  
ШУМАН ПАДАЕТ В ОЗЕРО.  
ВТОРАЯ ЖЕРТВА ВОЗДУШНОГО  
ПРАЗДНИКА —

глянуло в упор, как луч маяка, и двинулось дальше. В баре, тоже забитом людьми, было тепло от ламп и человеческих тел. Здесь путь прокладывал фотограф, который, протолкнувшись за перила, дал возможность поместиться рядом и репортеру.

– Ну что, ржаненького? – спросил он, затем громко сказал бармену: – Два ржанных виски.

– Да, ржаного, – сказал репортер. Потом он молча подумал: «Не могу. Куда мне». Это не было отвращение, идущее

изнутри; скорее похоже было на то, что его горло и весь глотательный аппарат претерпели некую бесповоротную смену назначения, не сулившую ему никаких неудобств, однако знаменовавшую замещение прежнего психофизического состояния новым, как при потере девственности. Он ощущал глубокую умиротворенную пустоту внутри, как будто его вырвало, и пустота эта рождала у него во рту, где-то в области нёба, нежный ненасыщенный вкус соли, вполне приятный: не отчаяние, а само Ничто. – Отойду, в редакцию позвоню, – сказал он.

– погоди, – сказал фотограф. – Вот уже нам налили.

– Постереги мою порцию, – сказал репортер. – Я на минутку всего.

Будка была в углу – та самая, из которой он звонил Хагуду вчера. Опуская монету, он закрыл за собой дверь. Автоматически зажегся плафон; он открыл дверь, чтобы свет погас. Он заговорил, не повышая голоса, шепчущим эхом отдававшегося от тесных стен будки, и при необходимости повторяя с терпеливо-лаконичной аккуратностью, словно читал вслух по телефону книгу на иностранном языке:

– ...Да, фю-зе-ляж. Корпус самолета; он переломился у хвостовой части... Нет, у него не было возможности сесть. Видевшие аварию летчики говорят, что он использовал последние секунды управляемости, чтобы дать дорогу другим машинам и направить свой самолет к озеру, а не к трибу... нет, они говорят, что не мог. Он летел слишком низко, чтобы

парашют успел раскрыться, так что даже если бы он сумел выбраться из кабины... Да, землечерпалка как раз подходила к предполагаемому месту, когда я... Говорят – возможно, прямо на этот подводный завал; мог удариться о камни и съехать вниз... Да, если он лежит среди всей этой дряни, землечерпалка ничего не... Да, может быть, завтра водолаз, если за ночь не удастся. К тому времени крабы и прочие водные твари... Да, я здесь останусь, в полночь позвоню.

Когда он вышел из темной будки обратно на свет, он снова заморгал, как будто в глаза нанесло маленько песку, пытаясь поточней припомнить вкус глазной влаги и задаваясь вопросом, как слабосоленая жидкость могла перетечь к нему в рот оттуда, где ей полагалось быть. Фотограф все еще держал для него место за стойкой, и виски ждало, но он не стал пить, только поглядел на фотографа сверху вниз, моргая, почти что улыбаясь.

– Выпей сам, – сказал он. – Я и забыл, что вчера завязал.

Когда они вышли к стоянке такси, было уже темно; фотограф с болтающимся на ремне аппаратом нагнулся и торпливо залез в машину, поворачивая к репортеру лицо, где изумления и усталости было поровну.

– А холодно здесь, – сказал он. – Черт, приеду, дверь за собой запру, лампы красные обе зажгу, кюветку полную нацежу для запаха и просто буду сидеть там, отогреваться. Я скажу Хагуду, что ты остался работать.

Лицо исчезло, машина тронулась, направляясь по дуге к

бульвару – туда, где за ровными шеренгами пальм, которыми он был обсажен, по пасмурному теперь небу разливалось, подступая, казалось, к пальмам вплотную, свечение города, хорошо видимое даже отсюда. По площади перед фасадом все еще слонялись люди, одни входили в круглый зал, другие выходили, и с озера уже набежала обычная ночная хмарь; на ее фоне размеренные, регулярные махи маячного клинка были очень отчетливы, и она, кроме того, принесла с собой ветер; как раз в этот миг он долгим дуновением прокатился поверх здания и через площадь, и пальмы бульвара издали сухой, дикий колотящийся шип. Репортер задышал ветровой холодящей теменью; ему почудился вкус воды, озера, и он начал пыхтеть, полными легкими судорожно втягивая, тут же выталкивая и снова втягивая воздух, как будто был заперт в комнате, где начался пожар, и пытался нашарить ключ, горсть за горстью перекапывая ватную массу, в которой этот ключ был упрятан. Пригнув голову, он торопливо миновал освещенный вход с его многоглазием; его лицо застряло, как застревают плохо смазанная часть механизма, в кривой гримасе, которая словно бы льдистыми иглами наполняла его больную челюсть, так что Орду пришлось дважды его окликнуть, прежде чем репортер повернулся и увидел летчика, выходящего из своего «родстера» и все еще одетого в замшевую куртку и кепку козырьком назад, в которых он летал.

– Я вас искал, – сказал Орд, вынимая из кармана узенькую



бумажонку, опять сложенную так, как она была сложена, когда лежала у репортера в кармашке для часов, прежде чем он дал ее Маршану.

– Погодите, не рвите, – сказал Орд. – Подержите секунду. Репортер взял листок; Орд зажег спичку.

– Так, – сказал он. – Теперь прочтите.

Свободной рукой он развернул вексель, освещая его спичкой, чтобы репортер мог прочесть документ, идентифицировать его; репортеру, стоявшему с векселем в руке, хватило времени пробежать взглядом по строчкам.

– Та бумага? – спросил Орд.

– Та, – сказал репортер.

– Хорошо. Суйте в огонь. Я хочу, чтобы вы самолично...

Бросайте, вы что! Пальцы жарить зачем...

Плывя вниз вместе с листком, пламя словно бы стремилось вывернуться вспять, вскарабкаться вверх по падающей бумажке, взметнуться, исчезая, в пространство; затем обугленный черный клочок, кружась, продолжал падать невесомо, беззвучно, и в конце концов Орд, наступив на него, растер его подошвой.

– Сукин вы сын, – тихо сказал он. – Сукин вы сын.

– Да, конечно, – отозвался репортер таким же негромким голосом. – Завтра изготовлю новый. Там буду я один...

– Да подите вы... Что они сейчас собираются делать?

– Не знаю, – сказал репортер. Затем вдруг он заговорил, как с фотографом, безмятежно-задумчиво-невразумитель-

но: – Дело в том, что она не поняла. Велела мне провалиться. В смысле – совсем. Сейчас я вам об...

Он осекся, тихо подумав: «Стоп, хватит. Не надо этого затевать. А то в другой раз начать начну, а кончить не смогу». Он сказал:

– Они не могут, конечно, знать наверняка, пока землечерпалка не... Я здесь останусь, понаблюдаю.

– Может, вам стоило бы отвезти ее домой. Но лучше сперва сходите глотните чего-нибудь. У вас у самого вид не ахти.

– Наверно, – сказал репортер. – Только вот я вчера завязал. Я тут попал по пьяни в историю и решил, что с меня хватит.

– Вот оно что, – сказал Орд. – Ладно, я еду домой. Все-таки постарайтесь ее найти прямо сейчас. Заберите ее отсюда. Просто посадите ее в машину и дуйте домой. Если он и правда там, где говорят, без водолаза его не вытащить.

Он пошел к своему «родстеру»; репортер тоже двинулся было, направляясь обратно, ко входу в здание, но потом опомнился, остановился; он не мог этого вынести – огней, лиц, пусть даже огни и человеческие выдохи сулили тепло, – и ему думалось: «Господи, войду – утону». Можно было обойти противоположный ангар, миновать предангарную площадку и так добраться до слипа для гидропланов. Но двинулся он не туда, а к первому ангару, к тому, где он, казалось ему, расточил столько усилий, столько непонятного и непредсказуемого исступления, что хватило бы родиться

здесь и вырасти, прочь от огней, звуков и лиц, идя в одиночестве, где отчаяние и раскаяние могли вволю дуть, прокатываться поверх здания, через площадь и дальше, в тонко-жесткий пальмовый лиственный шип, так что ему можно было дышать хотя бы ими и благодаря этому существовать, длиться. Словно бы некое шестое чувство, некий исходящий из глубочайшей рассеянности промысел провел его сквозь слепую дверь и инструментальную в ангар, где в жестком свете потолочных ламп припавшие к полу неподвижные аэропланы, положа друг на друга чудовищные тени, вкушали яростный и лишенный глубины покой, туда, где на выступе тележки для транспортировки деталей сидел Джиггс, выбросив вперед ноги в негибких, безукоризненно начищенных и неистово высвеченных лампами сапогах, мучительно жуя сандвич одной стороной лица и держа наклоненную голову параллельно земле, как собаки во время еды; он вскинул на репортера болезненно-красный неподбитый глаз.

– Ну, и зачем я тебе понадобился? – спросил Джиггс. Репортер моргал на него сверху вниз с тихой и близорукой настоятельностью.

– Дело в том, что она не поняла, – сказал он. – Велела мне провалиться. Оставить ее в покое. И поэтому я не могу...

– Ага, – сказал Джиггс. Он подтянул под себя обутые в сапоги ноги и встал было, но передумал и секунду оставался в этом положении: голова опущена, в руке сандвич, взгляд репортер не успел понять, куда устремлен, потому что зря-

чий глаз тут же уставился на него опять. – Будь другом, пошарь там, в углу, в этой куче, достань мой мешок оттуда, – попросил он.

Репортер отыскал парусиновый мешок, тщательно спрятанный в нагромождении пустых жестянок из-под масла, пустых ящиков и тому подобного; когда он вернулся с ним, Джиггс уже протянул одну ногу.

– Не пособишь? – Репортер взялся за сапог. – Тащи помаленьку.

– Ноги стер, что ли? – спросил репортер.

– Нет. Тащи помаленьку.

Сапоги снялись легче, чем двое суток назад; репортер смотрел, как Джиггс достает из мешка рубашку уже даже не грязную, а грязнущую, аккуратно, с задумчиво-сосредоточенно-отрешенным видом вытирает ею сапоги – носки, подошвы и прочее, – затем заворачивает их в рубашку, убирает в мешок и, вновь обутый в теннисные туфли и самодельные краги, прячет мешок все в том же углу; репортер следовал за ним в угол и обратно как будто теперь настал его черед уподобиться собаке.

– Дело в том, – сказал он (он говорил еще, когда ему показалось, что слова произносит не он, а нечто внутри него, предьявляющее права на его язык), – дело в том, что я тут всем подряд пытаюсь внушить – мол, не поняла она. Да поняла, поняла прекрасно, чего там. Он в озере лежит, и понятнее ничего быть не может. Как по-твоему?

Ворота ангара были уже заперты, так что идти им пришлось через инструментальную – тем же путем, каким репортер попал сюда. Когда они вышли, маячный луч промахнулся у них над головами, в очередной раз создавая иллюзию мощномедленного ускорения.

– Значит, сегодня они предоставили вам ночлег, – сказал репортер.

– Ага, – сказал Джиггс. – Мальца положили спать на полицейском катере. Джек его привел, и койка у них нашлась-таки. Она ложиться не стала, но уехать она отсюда не уедет сейчас. Могу, конечно, попробовать, если хочешь.

– Да, – сказал репортер. – Думаю, ты прав. Я вовсе не хотел заставлять... Я просто хотел...

Он подумал: *вот, вот, ВОТ*, и оно явилось: длинный туманный мечевой мах неуклонно вверх из-за дальнего ангара и, когда почти уже у них над головами, ускорение с иллюзией жуткой мощи и быстроты, которое должно было бы сопровождаться звуком, свистом, но было тихим.

– Ты понимаешь, я же ничего не смыслю в этих делах. Я вот думаю, может, так устроить, чтобы какая-нибудь женщина, другая...

– Ладно, – сказал Джиггс. – Я попытаюсь.

– Просто чтобы она могла позвать, если нужно... если захочет... если... Ей даже не обязательно знать, что я... Но если вдруг она...

– Хорошо. Что смогу – то сделаю.

Они пошли вокруг второго ангара. Теперь они могли видеть половину оборота луча; репортер наблюдал за его широким движением вдоль озера и за тем, как им рельефно высвечивались решетчатый скелет пустых дешевых трибун и парапет с флажками, на которых пурпурно-золотые флажки, теперь казавшиеся черными, жестко реяли в усиливающемся ветре с озера, выхватываемые один за другим в стремительной, ускоряющейся последовательности набегающим, промахивающим над головой и дальше лучом. Они могли видеть и извивы гирлянд, бьющихся и мечущихся, кое-где даже вырванных ветром оттуда, где они были три дня назад аккуратно закреплены, полощущихся бесприютными нескончаемыми лоскутьями, словно, способные мыслить и ощущать, они предчувствовали полуночный звон городских колоколов, который должен был возвестить начало поста.

А сейчас за черным барьером волнолома горел привезенный на грузовике, у которого фотограф нашел репортера, прожектор – неистовый белый наклоненный книзу луч, меньший маячного, но более яркий, – и чуть погодя они увидели еще один прожектор, светивший с землечерпалки. Пока они шли, им казалось, что, когда они достигнут волнолома и посмотрят вниз, их глазам откроется впадина, освещаемая не одним постоянным источником света, а некой рассредоточенной люминесценцией, исходящей словно бы от самих частиц воздуха – люминесценцией, за которой изогнутая береговая линия смутно маячила и мерцала, теряясь во тьме.

Но, добравшись до волнолома, они увидели, что источник этого света – не прожектор на берегу, не прожектор на землечерпалке и не прожектор на медленно крейсирующем полицейском катере, все еще занятом разгоном мелких суденышек, из которых на иных мигали хилые сигнальные электрические огоньки, но большая часть довольствовалась слабосильным и водянистым пламенем керосина, – а шеренга стоящих по краю бульвара бок о бок автомобилей. Протянувшись вдоль берега почти на милю, согласное сияние их направленных на озеро фар, порой перебиваемое блеском пуговиц и блях на кителях полицейских, блеском оружия и краг национальной гвардии, прибывшей в составе одной роты, отражалось от нервно-беспокойной темной воды, которая беспрестанно взбухала и опадала, взбухала и опадала, словно бы вне себя от изумления и гнева.

К берегу подходил ялик с землечерпалки. Пока репортер ждал возвращения Джиггса, ветер, темный, ровный и холодный, налег на него, беспрепятственно проходя сквозь тонкую одежку; казалось, что, пролетая сквозь огни, сквозь слабые людские звуки и движения, он не приобретает от них ничего, никакого тепла и света. Чуть погода репортеру почудилось, что даже на фоне глубокого ровного гудения близкого прожектора он различает слабое свистящее стенание размолотых в порошок устричных раковин у него под ногами. Мимо прошли люди, приплывшие на ялике, Джиггс чуть потстал.

– Как говорили, так и выходит, – сказал он. – Прямо на эти камни. Я спросил одного, выудили они что-нибудь или нет, а он мне говорит – выудишь, как же; они зацепили что-то с первого же заброса и до сих пор тот крюк не могут освободить. Но вторым крюком они выдрали клочок этой треклятой фанерной монококовой обшивки, и он сказал, на ней было масло. – Он посмотрел на репортера. – Из брюха, стало быть.

– А, – сказал репортер.

– То есть он там валяется лапами вверх. Этот, кого я спросил, говорит, мол, они думают, что драндулет застрял в автомобилях ломаных, во всей этой свалке, которую там устроили... Да, – сказал он, хотя репортер только молча посмотрел на него. – Я спросил. Она там, в закусочной, проголо...

Репортер повернулся; как раньше фотографу, Джиггсу теперь пришлось, чтобы не отстать, бежать трусцой вверх по наклонному берегу к шеренге автомобилей, пока он вдруг не ткнулся в спину репортера, приостановившегося в сиянии фар, опустившего голову и поднявшего к лицу локоть.

– Вон там, – сказал Джиггс. – Я вижу.

Он взял репортера под руку и повел его к разрыву в строе машин, где от берега вверх шла лестница, и через этот разрыв туда, где на дальней стороне бульвара на фоне широкого и узкого, тускло освещенного окна виднелись людские головы и плечи. Джиггсу слышно было как репортер дышит, пыхтит, хотя подъем был не особенно крутой. Когда репортер нашел его руку своей слепо тыкающейся рукой, пальцы



показались Джиггсу ледяными.

– Она же совсем без денег, – сказал репортер. – Скорей бы. Скорей.

Джиггс двинулся дальше. Репортер по-прежнему видел их – головы людей, прижавших лица к стеклу (на мгновение он стал одним из них, пока не подошел, протолкавшись сквозь их скопление, к маленькому окошку в торце) и глазеющих снаружи на женщину, которая сидела на одной из табуреток у стойки между полицейским и попадавшимся репортеру в ангаре или поблизости от него механиком. Тренчкот на ней был расстегнут, и по белому платью выше талии шла длинная то ли масляная, то ли просто грязная полоса; она ела сэндвич – жадно вгрызалась в него – и одновременно что-то говорила мужчинам; репортер увидел, как она уронила изо рта на тарелку крошки, вытерла рот рукой, потом взяла массивную кружку с кофе и стала пить, глотая жидкость с той же торопливой жадностью, что и еду, из-за чего по подбородку у нее побежала кофейная струйка. В конце концов Джиггс нашел его там, у маленького окошка, хотя теперь у стойки стало свободно и глазеющих лиц тоже уже не было – их обладатели вернулись на берег.

– Хозяин хотел похерить уже счет, так что я поспел вовремя, – сказал Джиггс. – Да и она обрадовалась; ты был прав, у нее при себе не было ни гроша. Да. Она, как мужчина, на счет того, чтобы не одолжаться у первого встречного. Всегда такая была. Ну, теперь с этим порядок.

Но он все еще смотрел на репортера с неким выражением, которого человек более наблюдательный, чем репортер, как раз и не разглядел бы сейчас в грубо отесанном простецком лице с опухшими, синими губой и подглазьем, не добавлявшими лицу способности вызывать в людях сочувствие и теплоту, а, наоборот, лишь огрублявшими его еще больше. Когда Джиггс вновь заговорил, его речь показалась репортеру не то чтобы бессвязной, но как-то своеобразно встревоженной, словно бы наделенной некой неизбежной и бесповоротной рассеянностью; репортеру пришло в голову сравнение с человеком, старающимся прогнать полдюжины слепых овец через проход чуть более широкий, нежели размах его разведенных в стороны рук. Джиггс между тем держал теперь одну руку в кармане, но репортер этого не заметил.

– В общем, она всю ночь тут хочет пробить, – сказал Джиггс, – на тот случай, если они начнут... А мальчонка, он спит уже, спит, и будить его вроде как незачем, а завтра, может, мы лучше сообразим что и как... Утро вечера, как говорится, мудренее, и мало ли что ты сейчас там плохого думаешь насчет... то есть...

Он осекся. («Не только овец не удержал, даже руки уже в стороны не расставляет», – подумал репортер.) Ладонь Джиггса покинула карман, раскрылась; на задубелой неотмываемой коже тускло блеснул дверной ключ.

– Велела отдать тебе, когда тебя увижу, – сказал Джиггс. – Зайди, поешь чего-нибудь сам.

– Да, – сказал репортер, – раз уж мы сюда явились. К тому же в тепле побыть.

– Конечно, – сказал Джиггс. – Пошли.

В закусочной и вправду было тепло; репортер перестал дрожать еще до того, как дали еду. В какой-то момент, съев немалую часть, он понял, что съест все, хотя почти не чувствовал вкуса и не испытывал особого удовлетворения – в нем лишь нарастала уверенность в неминуемости результата, как при безболезненной пломбировке зубной полости, которая никак особенно не давала о себе знать. Лица отлипли теперь от окна, последовав, ясное дело, за ней на берег или на такое от него расстояние, куда пускали полиция и гвардейцы, и уставившись конечно же на полицейское или другое там какое судно, на которое она опять взошла; так или иначе, они с Джиггсом все еще были окружены этим, наполняли этим, наряду со спертым нагретым воздухом и горячей, прогоркло пахнувшей едой, легкие и желудки – дыханием, выдохами, всевозможными вариациями на тему слов, произнесенных фотографом, – десятью тысячами благодарных, самодовольных, глядящих вспять разновидностей того, что *пусть я разгильдяй и скотина, но я-то здесь, а не там, не в озере*. Но ее он больше не увидел. В течение последующих трех часов, с девяти до полуночи, он не уходил с берега; выстроившиеся шеренгой машины ровно светили фарами вниз, на воду, прожектора гудели, полицейский катер медленно кружил, распугивая лодчонки, которые пятились пе-

ред его носом и, стоило ему повернуться кормой, вновь подтягивались, подобно мелкой рыбешке, плавающей поблизости от вполне безобидного кита-вегетарианца. Размеренно, с неспешной точностью часового механизма с озера набегал длинный резак маяка, исчезая, когда желтое око целило сюда прямой наводкой и словно бы замирало на миг, претворив движение в медленный и жуткий центробежный напор внутри самого воспринимающего глаза, пока с великанским своим, беззвучным *пли!* луч с немислимой силой не выстреливал в темное небо. Но ее он не видел, хотя вскоре к берегу подплыл ялик взять на борт очередную партию левых двадцатипятицентовых пассажиров; с него сошел Джиггс.

– Крюк сидит пока, – сказал он. – Вроде раз им показалось, пошло, но что-то там случилось внизу, и всего-навсего они выбрали маленько троса; даже крюк не освободили. Теперь они говорят, самолет, наверно, упал на один из этих больших блоков бетонных, блок повалился и придавил машину. Когда рассветет, думают спускать водолаза и тогда решат, как быть. Динамитом не хотят, потому что машину-то они, может, и высвободят, но заодно весь завал этот подводный разнесут на куски. Но решать будут завтра. Ну что, ты вроде хотел в двенадцать в газету звонить?

В закускойной на стене висел телефон-автомат. Поскольку не было будки, репортеру приходилось, прижимая трубку к уху, затыкать другое ухо пальцем от шума, и на сей раз он опять-таки по большей части отвечал на вопросы; когда

он повернулся, он увидел, что Джиггс спит, сидя на табуретке и опустив голову на сложенные на стойке руки. В помещении было даже чересчур тепло от непрерывной жарки мяса и от человеческих тел, набившихся в изрядном количестве, несмотря на то, что обычное время закрытия давно прошло. Окно, выходившее на озеро, запотело, так что освещенный пейзаж за ним свелся к ровному рассеянному сиянию, словно пропущенному через пелену снегопада; обратив взгляд в ту сторону, репортер опять задрожал, неспешно и неуклонно, внутри пиджака, под которым явно не было и быть не могло жилетки, в то время как внутри него, в недрах его тела росло первое, насколько он мог вспомнить, действительное ощущение за все время с того момента, как Шуман у него на глазах начал свой последний вираж вокруг пилона, – глубочайшее нежелание выходить наружу, затрагивавшее не столько волю его, сколько самые мышцы. Он направился к стойке; увидев его, хозяин взялся за одну из массивных кружек.

– Кофе?

– Нет, – сказал репортер. – Мне одежда нужна. Пальто. Можете одолжить или дать напрокат за деньги? Я репортер, – добавил он. – Мне надо торчать тут на берегу, пока они не кончат.

– Пальто у меня нет, – сказал хозяин. – Есть брезент, которым я накрываю машину. Можете взять, если обещаете вернуть.

– Конечно, – сказал репортер. Он не стал будить Джигтса; вторично выходя в холод и темноту, он напоминал грязноватую, некрепко и косо поставленную палатку. Брезент был жесткий, его трудно было ухватывать и с ним тяжело было ходить, но, закутавшись в него, он перестал дрожать. Было уже сильно за полночь, и он думал, что машин, стоящих вдоль бульвара по береговой его стороне, поубавилось, – но, оказалось, ошибся. Индивидуально они, возможно, не все были те же, но шеренга как таковая оставалась непрерывной – череда четко высвеченных овальных задних окон с застывшими головами людей, чьи глаза с неподвижным и безропотным терпением смотрели, как и фары машин, вниз, на место событий, хотя как раз сейчас там ровно никаких событий не происходило – землечерпалка бездействовала, присоединенная одинокой стальной пуповиной не к отдельному несчастью, а к ней самой, к беспамятной праматери всех живущих и всех покинутых.

Равномерно и неуклонно длинная единичная спица луча мела озеро, описывая широкую дугу, на мгновение исчезала в прямом ударе желтого ока и, тут же выстреливая в пространство, двигалась дальше, тогда как рассудку, чувству оставался медленный жуткий вакуум, которому надлежало быть заполненным звуками – коротким «*пли!*» и протяженным свистящим «*ссс*», ожидаемыми, но не слышимыми. Ялик, бравший на борт охотников до зрелищ, перестал курсировать, то ли истощив запас желающих, то ли пристру-

ненный блюстителем порядка; лодка, подплывшая к берегу, пришла с самой землечерпалки, и в ней, среди прочих, сидел механик, которого репортер видел в закускойной рядом с женщиной. На сей раз репортер задал вопрос сам, а не через Джиггса.

– Нет, – ответил механик. – Она с час назад, когда решили ждать водолаза, отправилась обратно на аэродром. Я и сам намерен бай-бай. Ты тоже, наверно, отпахал уже свое на сегодня.

– Да, – сказал репортер. – Отпахал.

Вначале он подумал, что ему, видимо, надо зайти в помещение; он шел по сухой, легкой, ненадежной ракушечной пыли, держа грубый жесткий брезент обеими руками, чтобы облегчить его мертвый груз, давивший на шею и плечи; он только и чувствовал, что этот груз, его холодную шершавую силу на пальцах и ладонях. «Надо вернуть сперва, как обещал, – подумал он. – Не сделаю это сейчас – вообще не сделаю». Дорожное полотно бульвара здесь поднималось вверх, так что машины, светя фарами, проезжали у него над головой и он шел теперь в сравнительной темноте, направляясь туда, где волнолом подходил к бульвару под прямым углом. В этом укромном месте было безветренно, и, поскольку он мог сесть на брезент и накрыть им туловище и ноги, вскоре его тело нагрело воздух внутри, как в палатке. Теперь ему не видна была вся дуга, которую описывал, метя озеро, луч маяка; луч, материализуясь, рассекал через равные проме-

жутки времени лишь ту, словно вырезанную ножом из пирога, четверть неба, что ограничивалась прямым углом между волноломом и земляным полотном бульвара. В тепле его разморило; вдруг оказалось, что уже некоторое время он втолковывает Шуману, что она не поняла. Но это, он знал, была фикция; втолковывая свое Шуману, он себе в то же время втолковывал, что это фикция. Его онемевший подбородок приподнялся над двойной костистой коленной вершиной; ступням тоже, по-видимому, было холодно, хотя наверняка знать было нельзя, потому что вначале он не чувствовал их вообще, а потом вдруг они наполнились холодными иглами. Проектор на берегу погас, и только прожектор, установленный на землечерпалке, по-прежнему светил вниз, на воду; полицейский катер не двигался, мелких суденышек в поле зрения не было вообще, и он увидел, что стоящих машин на высоком участке бульвара у него над головой уже почти не осталось, хоть он и был убежден, что столько времени пройти не могло. Однако прошло; размеренное хронометрическое «*ссс – пли! – ссс – ссс – пли! – ссс*» маяка явно чего-то добилось, что-то отсекло, отбросило; когда он поднял глаза, над головой рельефно и резко вырисовался темный волнолом, а затем, увидев сияние словно бы от прожекторов, он услышал сдвиг воздуха, после чего показались навигационные огни транспортного самолета, заходившего на посадку, пересекавшего на малой высоте видимый ему темный небесный сектор. «Значит, пятый час, – подумал он. – Уже, зна-



чит, завтра». Хотя рассвета еще не было; в ожидании рассвета ему еще пришлось, как рукой, оттащить себя, потому что опять он говорил Шуману: «Ты пойми, я не могу иначе, мне кровь из носу кого-то надо найти, объяснить ему, что она...», а затем он дернулся вверх (голова на этот раз даже не лежала на коленях, поэтому вверх, а не назад, назад было некуда) – иглы уже были не иглы, а чистый лед, рот разинут так, словно то ли он был слишком мал для воздуха, которого требовали легкие, то ли легкие были слишком малы для воздуха, которого требовало тело, а длинная рука маяка мела поперек линии его взгляда движением повелительным, безжалостным, неторопливым и уже бледнеющим; но прошло еще некоторое время, прежде чем он понял, что бледнеет не луч маяка, а рассветное небо.

Солнце взошло до того, как водолаз спустился и поднялся, и большая часть машин вернулась к этому времени и выстроилась в протяженный сине-грязно-коричневый боевой порядок. Репортер отдал брезент; освобожденный от его жесткого и удушающего веса, он теперь размеренно дрожал в розовом холоде первого за четверо суток утра, начинавшегося при ясном небе. Но ее он опять не увидел. Народу на берегу было побольше, чем прошлым вечером (день был воскресный, и по озеру теперь курсировало два полицейских катера, и число яликов и плоскодонок утроилось, как будто те, первые, успели за ночь где-то отнереститься), зато ему помогал

утренний свет. Но ее он не увидел. Джигтса видел издали несколько раз, а ее – нет; о том, что она побывала на берегу, он узнал лишь после того, как водолаз всплыл на поверхность и доложил об увиденном, – узнал, когда, поднимаясь по наклонному берегу к бульвару и телефону, был окликнут парашютистом. Парашютист шел не вверх от воды, а вниз, со стороны летного поля, свирепыми рывками волоча поврежденную ногу, на которой он, приземляясь после вчерашнего прыжка, сбил повязку и содрал едва выросший струп.

– Тебя как раз ищу, – сказал он, вынимая из кармана небольшую пачку аккуратно сложенных купюр. – Роджер говорил, ты ему одолжил двадцать два доллара. Было?

– Да, – сказал репортер. Парашютист держал деньги двумя пальцами, перегибая пачку с помощью большого.

– Найдется у тебя время сделать для нас одно дело или будешь занят? – спросил он.

– Занят? – переспросил репортер.

– Да. Занят. Тогда скажи, я еще кого-нибудь попрошу.

– Нет, – сказал репортер. – Я сделаю.

– Уверен? Если нет, лучше сразу скажи. Это не такие уж великие хлопоты; всякий справится. Я только потому о тебе подумал, что, во-первых, ты с нами, как-никак, здорово повязался, а во-вторых, ты здесь живешь.

– Хорошо, – сказал репортер. – Я сделаю.

– Ну, тогда-ладно. Мы сегодня уезжаем. Какой резон тут болтаться. Парой канатов эти придурки, – он мотнул головой

в сторону озера, где на розовой воде темнели суда, – не вытащат его из-под всей этой дряни. Так что мы уезжаем. Я чего хочу: оставить тебе сколько-то денег на случай, если они тут все же потом как-нибудь расстараятся, задницу порвут и выпростают его наконец.

– Да, – сказал репортер. – Понимаю.

Парашютист смотрел на него хмурым своим, напряженно-спокойным взглядом.

– Не думай, что мне приятней тебя просить, чем тебе – меня слушать. Но ты, наверно, сам понимаешь: ни ты нас сюда не звал, ни мы не просили тебя к нам шиться. Хотя это уже дела прошлые; ничего все равно не поправишь.

Другая рука парашютиста двинулась к деньгам; репортер увидел, что пачка была загодя аккуратно разделена на две части и ту из них, которую парашютист протянул ему, две канцелярские скрепки соединяли с полоской бумаги, где ровными печатными буквами был выведен адрес с именем и фамилией; репортер ухватил их взглядом мгновенно, потому что видел их раньше, когда Шуман писал их на векселе.

– Здесь семьдесят пять долларов и адрес. Я не знаю, сколько будет стоить отправить тело. Если хватит и отправить, и тебе взять твои двадцать два, будем считать, что мы квиты. Если остаток будет меньше двадцати двух, все равно отправь и напиши мне. Я тогда пришлю тебе разницу.

Парашютист достал из кармана еще один листок, сложенный.

– Мой адрес. Я нарочно даю их отдельно, чтобы ты не перепутал. Понял меня, да? Отправь его по первому адресу – на том листке, что с деньгами. Если останется меньше двадцати двух, напиши мне по второму адресу, и я дошлю тебе, сколько нужно. Письмо, может, не сразу меня найдет там, где я буду, но рано или поздно его мне перешлют, и ты получишь деньги. Понятно?

– Да, – сказал репортер.

– Хорошо. Я спросил тебя, сделаешь или нет, и ты сказал, сделаешь. Но обещаний никаких я с тебя не брал. Так ведь?

– Я обещаю, – сказал репортер.

– Этого я не прошу тебя обещать. Пообещать ты должен другое. Не думай, что мне очень приятно обо всем этом тебя просить; я уже сказал: просить мне тебя хочется не больше, чем тебе – меня слушать. Пообещать ты должен вот что: не отправляй его наложенным платежом.

– Обещаю, – сказал репортер.

– Хорошо. Считай, если хочешь, свои двадцать два доллара ставкой в игре – но не отправляй наложенным. Может, семьдесят пять и мало будет. Но у нас сейчас только мои вчерашние девятнадцать пятьдесят и призовые от четверга.

Всего сто четыре. Поэтому больше чем семьдесят пять я дать не могу. Так что тебе придется пойти на риск. Если послать его к нему до... по адресу, который я дал, будет стоить больше семидесяти пяти, тогда одно из двух. Либо ты платишь разницу сам, пишешь мне, и я присылаю тебе разницу

плюс твои двадцать два. Либо, если не хочешь риска, не хочешь на меня положиться, похорони его здесь на эти семьдесят пять; должен быть способ, как это сделать, чтобы его могли потом найти, если захотят. Только не посылай наложенным. Заметь, я не прошу тебя доплачивать за его отправку из своего кармана; я только прошу дать обещание, что им не придется выкупать его из товарняка или из транспортного агентства какого-нибудь. Ну?

– Да, – сказал репортер. – Обещаю.

– Хорошо, – сказал парашютист. Он вложил деньги в руку репортера. – Спасибо. Думаю, мы сегодня же и уедем. Так что, наверно, надо прощаться. – Он хмуро посмотрел на репортера, сам тоже осунувшийся от бессонницы, жестко уперший поврежденную ногу в ракушечную пыль. – Она выпила две большие, спит теперь. – Он посмотрел на репортера хмуро-задумчивым взглядом, который казался почти ясно-видческим. – Ты слишком уж сильно не переживай. Заставить его сесть в этот фоб воздушный ты не мог, как не мог бы его от этого удержать, если бы хотел. Никто тебя в этом не упрекнет, а если она тебя в чем упрекает, это тебе без разницы, потому что ты никогда больше ее не увидишь, понятно?

– Да, – сказал репортер. – Твоя правда.

– Вот. Так что когда-нибудь, когда она слегка от всего этого отойдет, я растолкую ей, как ты согласился нам помочь, и она будет тебе благодарна за это, да и за все остальное тоже. Только послушай моего совета: держись теперь ближе к лю-

дям, которые твоего поля ягода.

– Хорошо, – сказал репортер.

– Ладно. – Парашютист двинулся было, поворачиваясь, жестко перемещая негнущуюся большую ногу, затем остановился, оглянулся. – Мой адрес у тебя есть; письмо, может, не сразу меня отыщет. Но деньги свои ты получишь, не сомневайся. Ну... – Он протянул руку – твердую, не холодную, не липкую, просто абсолютно без всякого тепла. – Спасибо, что согласился помочь с этим делом и что пытался нас выручить. Не мучь себя слишком уж.

Свирепо хромая, он ушел. Репортер не смотрел ему вслед; спустя какое-то время один из гвардейцев окликнул его и показал, где пройти.

– Спрятал бы ты это добро в карман, дружище, – посоветовал гвардец. – А то какой-нибудь шустрый малый возьмет да и оттяпает тебе всю кисть.

Машина – такси – ехала спиной к солнцу, однако маленький лучик проникал-таки сквозь заднее окно и блестел на хромированном металле откидного сиденья, и, хотя через некоторое время репортер, оставив попытки сдвинуть сиденье, положил на световое пятнышко шляпу, ему все равно приходилось часто моргать, борясь с ощущением забившегося под веки мелкого невесомого песка. Причем не имело значения, глядел он в окно на несущуюся назад стену мха и виргинских дубов над темными проблесками воды или пытался ограничить поле обзора внутренностью машины. Ес-

ли же он закрывал глаза, он немедленно, вконец изнуренный бессонницей, принимался путать живых людей с мертвецами без всякого уже разбора и беспокойства, глубоко убежденный в полнейшей несущественности этого разбора и этого беспокойства, пытаясь все с тем же бестолково-непоколебимым оптимизмом объяснить кому-то, что она не поняла, и уже не давая себе труда задаваться вопросом, бодрствует он, или что, или спит, или что, и почему.

До Гранльё-стрит ехать не нужно было, поэтому репортер не видел часов, но по положению тени на входной двери от решетки балкона он понял, что сейчас около девяти. В прихожей он не моргал, на лестнице тоже; но, едва он вошел в комнату, где солнце светило в окна на зверски яркие полосы расстеленного на койке одеяла (даже другие одеяла, висевшие на стенах, куда прямые лучи солнца сейчас не попадали, казалось, реквизиrowали прошлый свет для своих режущих глаз красно-бело-черных молний, которые они исподволь высвобождали, распространяли по комнате, как другие какие-нибудь одеяла могли бы впитать, а потом источать запах конского пота), как он опять заморгал все с той же задумчивой ошеломленностью, пытливо-настоятельной и близорукой. Он, казалось, ждал вмешательства какой-то внешней силы; затем наконец сдвинулся с места и закрыл жалюзи. Так было лучше, потому что некоторое время он вообще ничего не видел – просто стоял в некой последней квинт-эссенции неистово-яркого почти тропического дня, не зная

теперь, моргает он еще или уже нет, среди неумолимой инфильтрации, которой даже стены не были помехой, среди вездесущего дыхания рыбы, кофе, фруктов, конопли и заболоченной почвы, отгороженных дамбами от реки, которой они обязаны были существованием, так что их жизненно-дыхательное торговое сообщение шло теперь не между ними, не на их уровне, а выше, как если бы некие заблудившиеся небоскребы выходили в море и заходили в порты. За занавесом, в спальне, света было еще меньше, но не абсолютная тьма. «Как это может быть», – думал он, неподвижно стоя с пиджаком в одной руке, другой уже ослабив галстучный узел и думая о том, что никакое обиталище, где человек прожил не то что два года без малого, но даже всего две недели или два дня, не может быть для него абсолютно темным, если его чувства не заплыли жиром настолько, что он уже, считай, мертвец, даром что ходит и дышит, и все места для него одинаково темны даже при солнечном свете. Тьма была не абсолютной, но как раз достаточной, чтобы последний долгий миг беспредельного комнатного незабвения словно бы тихо втянулся и замер в протяженной неподвижности бегства, в застывшей неминуемости, которую, однако, нельзя было назвать ожиданием и которая не заключала в себе практически ничего от прощания, а лишь медлила, не дыша, без нетерпения и без любопытства, до первого его движения. Его палец уже лежал на выключателе.

Когда снизу, из переулка, его принялся звать Джиггс, он



как раз кончил бриться. Идя к окну открыть жалюзи, он взял по пути с кровати свежую рубашку, которую чуть раньше выложил.

– Дверь не заперта, – сказал он. – Входи.

Когда Джиггс, поднявшись по лестнице, вошел с парусиновым мешком на спине, обутый в теннисные туфли с накладными голенищами, репортер застегивал рубашку.

– Ты, думается, новости знаешь, – сказал Джиггс.

– Знаю. До того, как сюда ехать, я повидался с Холмсом.

Стало быть, вы все уезжаете.

– Да, – сказал Джиггс. – Я – с Артом Джексонем. Он ведь давно хотел меня переманить. У него есть парашюты, а мне показательные-то прыжки не впервой, так что свободные, затяжные раз плюнуть будет освоить... Тогда мы все двадцать пять долларов будем делить между собой. И без гонок без всяких, тихо-спокойно. Хотя, может, я еще и в гонки вернусь, когда...

Он неподвижно стоял посреди комнаты, держа касающийся пола вислый мешок, и его битое, грубо отесанное, опущенное лицо выглядело трезвым и болезненно озадаченным. В какой-то момент репортеру стало ясно, на что именно он смотрит.

– Занятно, – сказал Джиггс. – Я хотел было утром сегодня их надеть, но даже мешок не смог развязать, чтобы их вынуть.

Было примерно десять часов, потому что почти тут же во-

шла негритянка Леонора в пальто и шляпке, с опрятной корзинкой, покрытой опрятной тряпочкой, такой свежей, что были хорошо видны заутюженные складки. Репортер позволил ей поставить корзинку на пол, и только.

– Бутылку древесного спирта и банку средства, которым жирные пятна оттирают с одежды, – сказал он, давая ей деньги; затем Джиггсу: – Чем ты этот шрам собираешься лечить?

– Есть тут у меня кое-что, – сказал Джиггс. – Оттуда принес.

Он вынул из мешка заткнутую скрученной бумагой бутылку из-под кока-колы, в которую был налит аэролак для пропитки крыльев. Негритянка, оставив корзинку, вышла, затем вернулась с бутылкой и банкой, сварила кофе и поставила на стол кофейник, чашки и сахар. После этого она еще раз окинула взглядом нетронутые комнаты, где никто не ночевал, взяла корзинку и, прежде чем уйти окончательно, некоторое время постояла, глядя с чопорной и суровой непроницаемостью на них, на то, чем они были заняты. Репортер в свою очередь, сидя на койке и тихо дую в свою кофейную чашку, смотрел на Джиггса, в туго облегающей грязной одежде и теннисных туфлях с приподнятыми теперь пятками, сидевшего на корточках перед сияющей парой сапог, и думал, что никогда раньше не видывал, чтобы резиновые подошвы протирались насквозь.

– Потому что на кой мне хрен новые сапоги, если, может, через месяц у меня штанов не останется, чтобы в них засо-

вывать, – сказал Джиггс.

Было уже около одиннадцати. К полудню на глазах у репортера, все еще державшего между ладонями холодную застойную чашку, Джиггс убрал с сапог весь обувной крем сначала спиртом – репортер смотрел, как холодное темное пятно жидкости движется, сразу истаявая, вверх вдоль каждого сапога подобно скользящей по шоссе тени облака, – затем тупой стороной ножевого лезвия, так что в конце концов сапоги вернулись к исходному состоянию, превратившись в подобие неотлакированных ружейных лож, продаваемых стрелкам-любителям. Он наблюдал, как Джиггс, сидя теперь на койке, расстелив на коленях грязную рубашку и зажав между ними перевернутый сапог, тщательно счищает с подошвы наждачной бумагой все признаки соприкосновения с землей и как напоследок, сосредоточенный, с невероятной для тупых своих, задубелых, неотмываемых рук легкой и бережной точностью заполняет лаком для пропитки крыльев след от каблука на подъеме правого сапога, так что вскоре этот след стал невидим для поверхностного глаза всякого человека, не знающего, что он там был.

– Чудеса, – сказал Джиггс. – Если бы еще я в них не ходил, если бы не эти складки на щиколотках... Может, конечно, когда разотру, выглажу...

Когда часы на башне собора пробили час, цель была еще далека. Растирка и выглаживание лишь сделали кожу безжизненной; репортер предложил воск для пола, вышел, ку-

пил, но воск пришлось удалить.

– Погоди, – сказал он, глядя на Джиггса; исхудалое его, испитое от бессонницы и усталости лицо выражало обессиленно-непоколебимое долготерпение человека, действующего под гипнозом. – Послушай. В журнале в этом, где на картинках показано, во что тебе надо обрядить твоих белых американских слуг, чтобы ты мог принять их за английских дворецких, и во что тебе надо обрядиться самому, чтобы лошадь твоя могла подумать, что она в Англии, вот только лисица куда-то делась, за щит, что ли, забежала, на котором выставлен журнал... Насчет того, что лисий хвост – единственное средство...<sup>29</sup> – Он тарачился на Джиггса, который тарачился на него в ответ, весь моргающее одноглазое внимание. – Погоди. Нет. Лошадиная кость. Не лисий хвост; лошадиная берцовая кость. Вот что нам нужно.

– Лошадиная берцовая?

– Для сапог. Вот чем их полагаются.

– Ясно. Но где...

– Я знаю где. Можно прихватить по дороге, когда поедем к Хагуду. Мы возьмем напрокат машину.

Чтобы взять машину, им пришлось дойти до Гранльё-стрит.

– Давай я поведу, – сказал Джиггс.

– Умеешь?

---

<sup>29</sup> Намек на лисью охоту – излюбленное времяпрепровождение английских помещиков в старину.

– Конечно.

– Тогда тебе сам Бог велел, – сказал репортер. – Потому что я не умею.

День был светлый, мягко-солнечный, вполне теплый, и вокруг веяло неким еле уловимым воздыханием, наводившим репортера на органно-колокольные мысли, на мысли об умерщвлении плоти, об умиротворенности, о сумеречном преклонении колен, хотя он не слышал ни органа, ни колоколов. На улицах было многолюдно, но по-тихому многолюдно, причиной чему была не только обычная воскресная благопристойность, но еще и некая опустошенная вялость, как будто сами камни и кирпичи едва оправились от лихорадки. Когда центр города остался позади, репортер время от времени стал замечать у стен и в канавах с подветренной стороны небольшие наносы свалывшегося и грязного конфетти, походившего уже на опилки пополам с пылью или даже на сухую мертвую листву. Раз или два он увидел потрепанные петли пурпурно-золотых гирлянд, а однажды на перекрестке маленький мальчик чуть не под колеса к ним метнулся с развевающимся куском такой же гирлянды за спиной. Потом город опять рассосался, сменившись заболоченными пустошами; вскоре дорога пошла посреди обширного солончака, разделенного надвое ярко отсвечивающей, выбеленной солнцем дамбой канала; затем среди солончаковой травы показалось изрытое колеями ответвление. «Сюда», – сказал репортер. Машина повернула, и они поехали мимо свалки, безмятеж-

но высившейся в ярком потоке солнца молчаливым непреходящим монументом: старые кузова автомобилей без колес и моторов, старые колеса и моторы без кузовов, ржавые обломки и узлы разнообразных железных механизмов, стояки и водопропускные трубы, торчащие вверх из обесцвеченной солнцем песочно-ракушечной пыли такой белизны, что на ее фоне Джиггс не сразу увидел кости.

– Лошадь от коровы отличить сможешь? – спросил репортер.

– Откуда я знаю, – сказал Джиггс. – И берцовую тоже не знаю, отличу или нет.

– Возьмем всего помаленьку и все перепробуем, – сказал репортер.

Так они и поступили; двигаясь туда-сюда, нагибаясь (репортер опять заморгал, стиснутый между яростным тихим полыханием бесцветного песка и безоблачной непередаваемой синевой неба), они набрали фунтов тридцать костей. У них имелись теперь два полных комплекта передних ног – лошадиных, хотя они этого не знали, – и несколько мультых лопаток, да еще Джиггс нашел цельную грудную клетку, принадлежавшую, по его словам, жеребенку, а на самом деле большой собаке, а репортер выискал нечто оказавшееся на поверку вовсе даже не костью животного, а предплечьем статуи.

– Что-нибудь да сработает, – сказал он.

– Да, – сказал Джиггс. – Куда теперь?

Ехать через город не нужно было. Они обогнули его, оставив солончак позади, и без пересечения каких-либо границ и демаркационных линий, без переговоров с охраной въехали в область, где даже солнечный свет казался другим, где он сочился сквозь листву упорядоченно растущих виргинских дубов и нежно ложился на парковые аллеи и поляны, за которыми виднелись дома богатых, беспечных и защищенных, господствующие над подстриженными лужайками и террасами, и казалось, что сам этот свет был в условленное с хозяином время пропущен сторожем сквозь ворота в стене. Вскоре мимо замелькал частокол пальмовых стволов, за которым простиралась подстриженная лужайка для гольфа, пустая, если не считать степенных мужчин и подростков, казавшихся издали вооруженными и двигавшихся малыми группками в одном и том же направлении, что напоминало показательное рассредоточенное наступление войск.

– Еще нет четырех, – сказал репортер. – Можно подождать его здесь, у пятнадцатой.

Через некоторое время Хагуд, подойдя к пятнадцатой лунке в составе четверки игроков, установив мяч и изготовавшись бить, поднял глаза и увидел их, тихо стоящих на самом краю площадки у дороги, на обочине которой ждала машина, и смотрящих на него, – увидел неутомимого и теперь уже вездесущего мертвеца и его спутника-уродца, полупродукт неоконченной метаморфозы, нечто среднее между громилой и лошадыю: простецкое грубо отесанное лицо, ко-

торому синяк под опухшим глазом не добавлял способности будить жалость или сострадание, а, скорее, наоборот, сообщал нечто просто-напросто пиратское, отнюдь не жертвенное. Хагуд сдвинулся с начальной отметки.

– Это из редакции, – сказал он негромко. – Вы начинайте, я вас нагоню. – Он подошел к Джиггсу и репортеру. – Ну, и сколько вы теперь хотите?

– Сколько вы сможете мне уделить, – сказал репортер.

– Ясно, – негромко сказал Хагуд. – Как приперло-то на этот раз.

Репортер не ответил; они смотрели, как Хагуд вынимает из набедренного кармана бумажник и открывает его.

– Этот раз, он последний будет, надеюсь? – спросил Хагуд.

– Да, – сказал репортер. – Сегодня вечером они уезжают.

Хагуд достал из бумажника тоненькую чековую книжку.

– Сумму, значит, не хотите сами назвать, – сказал он. –

Решили психологически на меня действовать.

– Сколько сможете. Вернее, сколько захотите. Я знаю, что уже занял у вас больше, чем сумею вернуть. Но на этот раз, может быть, я смогу...

Он вынул из кармана пиджака и развернул цветную литографированную открытку. Хагуд прочел надпись: «Отель Виста дель Мар, СантаМоника, Калифорния»; на одно из окон указывала стрелка, жирно выведенная гостиничной ручкой.

– Что это? – спросил Хагуд.



– Прочтите, – сказал репортер. – Это от мамы. Они там проводят медовый месяц, она и мистер Хурц. Она пишет, что рассказала ему обо мне, что вроде бы он ко мне благоволит и что, может быть, к первому апреля, когда у меня день рождения...

– А... – сказал Хагуд. – Это будет, конечно, очень мило.

Он достал из кармана рубашки короткую авторучку и огляделся по сторонам; тут впервые заговорил второй персонаж, кентавр из комикса, который до сих пор только ярко и горячо смотрел на Хагуда единственным зрячим глазом.

– Пишите у меня на спине, мистер, если хотите, – сказал он, поворачиваясь и нагибаясь, подставляя Хагуду плечистую и твердую на вид, как бетон, ширь туго натянутой грязной рубашки.

«Лягни давай, лягни меня от души, выбей дурь», – мрачно подумал Хагуд. Он расправил бланк на Джиггсовой спине, выписал чек, помахал, чтобы высохли чернила, сложил и дал репортеру.

– Мне что-нибудь подпи... – начал репортер.

– Нет. Но можно вас кое о чем попросить?

– Да, шеф. Конечно.

– Езжайте в город, возьмите адресную книгу, посмотрите там, где живет доктор Лежандр, и отправляйтесь к нему. По телефону не звоните, отправляйтесь лично, скажите, что я вас к нему направил за таблетками, от которых засыпаешь на двадцать четыре часа; потом идите домой и примите их.

Сделаете?

– Да, шеф, – сказал репортер. – Завтра, когда будете готовить вексель, чтобы я подписал, можете подколоть к нему эту открытку. Законом это не предусмотрено, но все же...

– Хорошо, – сказал Хагуд. – А теперь идите. Пожалуйста.

– Мы идем, шеф, – сказал репортер.

Они уехали. Когда добрались до дому, было почти пять часов. Он выгрузили кости, и теперь оба трудились, каждый над своим сапогом, в быстром темпе. Хотя дело подвигалось медленно, сапоги мало-помалу покрывались патиной, более глубокой и менее блестящей, чем от воска или сапожного крема.

– Чудеса, – сказал Джиггс. – Вот если бы не складки на щиколотках и если бы я сохранил коробку и бумагу...

Потому что он запомнил, что день воскресный. Раньше-то он об этом помнил, и репортер тоже весь день знал, что воскресенье, но теперь оба забыли и не вспоминали до половины шестого, когда Джиггс остановил машину перед витриной, на которую он глядел четыре дня назад и в которой теперь не было ни сапог, ни фотографий. Довольно долго они молча пялились на запертую дверь.

– Зря, выходит, мы спешили, – сказал Джиггс. – Может, конечно, и не получилось бы их надуть. Может, так и так пришлось бы в ломбард... Ну что, машину вернуть бы надо.

– Заедем сперва в газету и получим по чеку наличные, – сказал репортер. Он ни разу еще не взглянул на чек; Джиггс

ждал в машине, пока он вернется. – Чек был на сотню, – сказал он. – Надо же, какой человек хороший. Ей-богу, я от него, кроме добра, ничего не видел.

Он сел в машину.

– Теперь куда? – спросил Джиггс.

– Теперь надо решить. А пока решаем, можно вернуть машину.

Уже горели уличные огни; выйдя из гаража, они двинулись в красно-зелено-белом сиянии и мигании, пересекая течения за устьями театральных и ресторанных дверей, перемещаясь поперек мощного вечернего рыбно-кофейного возрождения.

– Тебе нельзя просто взять и ей вручить, – сказал репортер. – Они всё поймут, у тебя ведь в жизни не было столько.

– Да, – сказал Джиггс. – Самое большее могу рискнуть дать эти самые двадцать. Хотя часть из твоих ста я наверняка смогу пристроить в эту двадцатку. Потому что если удастся из пархатого выколотить хотя бы десять долларов, я щипать себя буду, чтобы проснуться.

– А если мы сунем деньги мальцу, это будет... Постой-ка. – Репортер умолк и взглянул на Джиггса. – Все. Придумал. Пошли.

Теперь он почти бежал, протискиваясь сквозь медленную воскресную вечернюю толпу, Джиггс следом. Они перепробовали пять аптек, прежде чем нашли, что искали, – желто-голубую игрушку, висевшую на веревочке перед враща-

ющим вентилятором, имитируя полет. Игрушка не была предназначена для продажи; чтобы ее снять, Джиггс с репортером притащили из заднего помещения стремянку.

– Ты говорил, поезд в восемь, – сказал репортер. – Потопиться бы.

Когда они свернули с Гранльё-стрит, было полседьмого; дойдя до угла, где Шуман с Джиггсом позапрошлым вечером купили сэндвич, они расстались.

– Уже отсюда вижу шары<sup>30</sup>, – сказал Джиггс. – Тебе со мной идти незачем; что мне за них дадут, я и один донесу, не упарюсь. Возьми на мою долю сэндвич, дверь оставь, не запирай.

Он двинулся дальше, неся под мышкой завернутые в газету сапоги; при каждом шаге он попеременно откидывал назад то одну, то другую ступню, как лошадь откидывает надкопытную часть ноги, и репортеру показалось, что он даже сейчас ухватывает взглядом посреди каждой из бледных подошв кружок потемневшей человеческой кожи размером с монету; так что после того, как он вошел в прихожую, приотворил, не захлопывая, дверь, поднялся по лестнице и зажег свет, он не стал сразу разворачивать сэндвичи. Положив их и самолетик на стол, он прошел за занавес. Вернулся он с галлоновой бутылкой в одной руке (жидкости в ней теперь было пинты три – меньше половины) и с парой ботинок, выглядевших настолько же родными ему, как его волосы или ладони.

---

<sup>30</sup> Три золотых шара – традиционная вывеска ростовщика.

Потом он сидел на раскладушке и курил, поджидая Джиггса, который вошел, неся теперь изрядной величины сверток, более объемистый, чем сапоги, хотя и меньшей длины.

– Пять долларов мне за них дал, – сказал Джиггс. – Я заплатил двадцать два пятьдесят, два разочка их поносил, а он мне отваливает целую пятерку. М-да. Бросается человек деньгами. – Он положил сверток на койку. – Поэтому я решил – ну чего я ей буду такую мелочь давать. И купил просто каждому по подарку.

Он развернул подарочную бумагу. Внутри оказались коробка конфет – точнее, тючок размером с небольшой чемодан, своего рода миниатюрная стилизованная кипа хлопка с выжженной неким способом увесистой надписью: «*В память о Нью-Валуа. Ждем вас опять в гости*», – и три журнала: «Бойз лайф», «Ледис хоум джорнал»<sup>31</sup> и один дешевый из тех, где публикуются военные рассказы про летчиков. Тупыми своими, задубелыми руками Джиггс полистал их и опять положил ровненько; его битое простецкое лицо выражало странную безмятежность.

– Вот и будет им чем заняться в дороге, – сказал он. – Теперь дай-ка я возьму плоскогубцы и разберусь с машинкой.

Тут, повернувшись, он увидел на столе бутыль. Но не пошел к ней; просто замер, глядя на нее, и репортеру видно было, как мгновенно, бессловесно и горячо метнулся его непод-

---

<sup>31</sup> «Бойз лайф» – американский журнал для мальчиков. «Ледис хоум джорнал» – английский журнал для дам.

битый глаз. Но сам он не пошевелился. Репортер – вот кто налил и дал ему первую, потом налил вторую.

– Тебе тоже не повредит, – сказал Джиггс.

– Да, – сказал репортер. – Я сейчас, минутку.

Но он не сразу себе налил, хотя взял один из сэндвичей, когда Джиггс развернул их; затем он смотрел, как Джиггс со вспухшей от здорового куска щекой нагибается, лезет в мешок и достает оттуда коробку из-под сигар, а из нее – плоскогубцы; не начав еще есть свой сэндвич, репортер смотрел, как Джиггс отгибает металлические зажимы, скреплявшие воедино жестяной фюзеляж, и приоткрывает его. Репортер вынул деньги – семьдесят пять от парашютиста и сто от Хагуда, – и Джиггс, засунув купюры в игрушку, вновь скрепил половинки корпуса.

– Найдет, найдет, не волнуйся, – сказал Джиггс. – Со всякой новой игрушкой он возится ровно два дня, потом на части ее распатронивает. Говорит, для ремонта. Это у него, ей-богу, наследственное; у Роджера-то ведь кто папаша? Врач. В маленьком городишке заштатном, где кругом одни шведы-фермеры, и папаша его встает в любом часу ночи и едет двадцать, тридцать миль на санях роды принимать, руки-ноги отпиливать, и многие, что удивительно, даже ему платят; бывает, всего каких-нибудь два-три года проходит – и они приносят ему окорок или там постельное покрывало какое-нибудь, в рассрочку, разумеется, по частям. Ну, и папаша хотел, чтобы Роджер тоже стал врачом, и он все детство

долбил про это Роджеру, смотрел за его отметками в школе и так далее; так что Роджеру пришлось самому рисовать себе отметки в таблице, и папаша свято верил; он видел, как Роджер каждое утро отправляется в город, в школу (они в большом доме жили, в полуфермерском, чуть-чуть за городом, но там никто, Роджер говорил, никогда особенно не фермерствовал, просто его отец держался за этот дом, потому что его отец, Роджеров дед, там обосновался, когда приехал в Америку), и он свято верил, пока в один прекрасный день не оказалось, что за шесть месяцев Роджер не был в школе ни дня: доходил по дороге до того места, где его от дома уже не видно было, там сворачивал и лесом возвращался на старую мельницу, которую построил его дед; там Роджер соорудил себе мотоцикл из деталей старых сенокосилок, сломанных часов и так далее; и, представь себе, он ездил. Это-то Роджера и спасло. Когда папаша увидел, что эта штука ездит, он отступился и уже не приставал к Роджеру насчет медицины; он первый самолет ему купил, «хиссо-стандарт», на деньги, которые откладывал, чтобы послать Роджера учиться на врача, но, когда увидел, что мотоцикл ездит, он, выходит, понял, кто из них двоих взял верх. А потом ночью однажды Роджеру пришлось садиться без огней, вслепую, и он наехал на корову и поломал машину, и старик заплатил за ремонт; Роджер мне говорил, что его папаша, скорее всего, взял деньги под залог фермы и что он собирается отдать их отцу, как только сможет, но я-то думаю, все в порядке и так, потому что

незаложенная ферма – это небось даже и незаконно по нынешним временам. Или может, папаша даже и не закладывал ферму, просто сказал так Роджеру, чтобы Роджер в другой раз выбирал для посадки пустое поле.

Часы на башне собора пробили семь вскоре после того, как Джиггс вошел со своим свертком; с тех пор прошло уже около получаса. Джиггс присел на корточки и взял один ботинок из пары.

– Охо-хо, – сказал он. – Что они мне без надобности, такого я не скажу. Но ты-то?

– Сколько бы пар у меня ни было, ноги у меня одни, – сказал репортер. – Чем рассуждать, давай мерь.

– Подойти-то они подойдут. Есть две вещи, которые подойдут кому угодно: носовой платок, когда насморк, и пара ботинок, когда ходишь босой.

– Верно, – сказал репортер. – Так это что, была та самая машина, на которой они с Лаверной...

– Да. Это, скажу тебе, была пара. Когда он в тот день прилетел на своей машине в ее город, она вся так и загорелась. Она мне маленько об этом рассказывала. Она, понимаешь ли, была сирота; ее старшая сестра замужняя, когда их родители умерли, взяла ее жить к себе. Сестра была старше лет на двадцать, а сестрин муж был на шесть или даже на восемь лет моложе сестры; Лаверне было тогда четырнадцать или пятнадцать, и радости большой со стариком папашей и старухой мамашей она дома не знала, да и с сестрой у них не



особенно была большая дружба при такой-то разнице в возрасте; с мужем, между прочим, сестре тоже, по всему видно, жилось не шибко весело. Так что когда муженек начал учить Лаверну, как улепетывать тихонько из дому, чтобы с ним встречаться, и начал возить ее по другим городишкам миль за сорок – пятьдесят, когда считалось вроде, что он на работе, и угощать ее стаканом содовой, и, может, танцевать с ней в дешевых гостиницах, где он мог быть уверен, что никто из его знакомых их не засечет, она, видать, думала, что это самое развеселое веселье, какое только бывает в жизни, и что, раз он говорит, что для мужчины так от жены гулять – это нормально, обычное дело, то и все остальное, чего он от нее требовал, это тоже нормально, ничего такого особенного. Потому что он, соображай, был хозяин, он платил за то, что она носила, и за то, что ела. Или может, она не думала, что это так уж нормально и хорошо, а думала, что просто-напросто так все в жизни устроено и заведено: либо ты замужем и сатанеешь от домашней работы, а муженек от тебя гуляет, и ты это знаешь, и всего-навсего ты можешь цепляться к нему, когда он не спит, и шарить по его карманам, когда дрыхнет, шпильки там всякие искать, записки и презервативы, а когда его нет дома, плакать и жаловаться на него младшей сестренке; либо с тобой развлекается чужой муж, и, стало быть, выбирай: или грязные тарелки, или содовая по пять центов стакан плюс полчаса танцев под занюханый оркестрик в гостинице, где под настоящей фамилией никто не пи-

шется, а потом тебя мнут на заднем сиденье, а потом везут домой, и ты тихонько пробираешься, как мышка, и врешь сестре, а когда она что-то такое приметит, муженек, чтобы себя не выдать, накинется на тебя с ней на пару и в другой раз, чтоб ты не дулась, купит тебе не один стакан содовой, а два. Или может, в пятнадцать лет она думала, что ничего лучшего ей все равно не видать, потому что сперва она даже не понимала, что хахаль тоже не хочет давать ей воли, что он, смекай, не для того ее прячет по дешевым гостиницам, чтобы их не узнали, а для того, чтобы конкуренции ему не было ни от кого, кроме как от таких же типов, как он сам; чтобы ни она молодых парней в глаза не видела, ни они ее. Только вот конкуренты все равно отыскались; и оказалось, что бывает такая содовая, которая и десять центов стоит, и даже больше, и что не всякая музыка обязательно играет в зашторенной задней комнатухе. А может, просто все дело в нем было, потому что однажды вечером она им прикрылась, и парню, с которым она встречалась в то время, пришлось в конце концов его взгреть, и тогда он пошел домой и нажаловался на нее сестре.

Репортер стремительно встал, подошел к столу и, проливая на стол, нацедил себе в стакан из бутылки.

– Вот это дело, – сказал Джиггс. – Глотни хорошенько.

Репортер поднял стакан и хлебнул, мигом переполнив горло и каскадом устремив излишек вниз по подбородку; Джиггс, в свой черед, вскочил, но репортер метнулся мимо

него на балкон, где Джиггс, кинувшись следом, поймал его за локти, рвущегося наружу, извергающего за перила еле согретое спиртное. Соборные часы пробили середину часа; звук последовал за репортером и Джиггсом обратно в комнату и, казалось, был, подобно свету, поглощен свирепыми, яркими, варварскими цветовыми зигзагами на увешанных одеялами стенах.

– Дай воды тебе принесу, – сказал Джиггс. – Ты сядь, сядь, а я...

– Да ничего со мной такого, – сказал репортер. – Надевай ботинки. Это уже полвосьмого било сейчас.

– Да. Но ты бы...

– Нет. Садись, я стяну с тебя краги твои.

– Ты уверен? Может, лучше тебе не напрягаться?

– Нет, я нормально себя чувствую.

Они сидели теперь на полу лицом к лицу, как в первую ночь, и репортер взялся за приклепанную штрипку правого голенища. Потом он начал смеяться.

– Как все перепуталось, да? – сказал он, смеясь пока что еще не так громко. – Началось как трагедия, как старая добрая итальянская трагедия. Ну, ты знаешь: один флорентиец влюбляется в жену другого флорентийца и три акта тратит на то, чтобы ее сманить, и под занавес третьего акта флорентиец с чужой женой спускается по пожарной лестнице, и ты уже знаешь, что брат второго флорентийца не догонит их до рассвета, и они уснут в постели монаха в монастыре.

Но вдруг все пошло не так. Когда он взобрался по стене к ее окну и сказал ей, что лошади ждут, она не пожелала с ним разговаривать. Из трагедии получилась комедия, понял?

Он смотрел на Джиггса, смеясь – смеясь не громче, просто быстрее.

– Эй, слушай, – сказал Джиггс. – Хватит, а. Кончай.

– Да, – сказал репортер. – Смешного ничего. Я хочу прекратить. Пытаюсь. Но не могу. Смекаешь? Видишь, что не могу?

Он по-прежнему держался за штрипку с перекошенным от смеха лицом, на котором Джиггс, взглянув, внезапно увидел бегущие вниз по трупной гримасе капли жидкости, поначалу принятые им за пот, пока он не перевел взгляд на глаза репортера.

Было уже больше половины восьмого; времени оставалось в обрез. Но такси они поймали быстро, и на Гранльё-стрит их машина сразу, не начав даже сбавлять скорость, попала на зеленый свет, проносясь поперек неоновых огней, мимо пульсирующего электросияния, озарявшего праздную медленную воскресную тротуарную толпу, которая текла от витрины к витрине, от одной группы безукоризненных, немислимых восковых мужчин и женщин, дельфийски-непроницаемо взиравших на прохожих в ответ, к другой. Затем мимо поплыли, убегая, пальмы Сен-Жюль-авеню – корявые чесоточные столбы частокола, травяные разлапистые веники из

воспоминаний о стародавнем сельском Юге; освещенные часы на вокзальном фасаде показывали без шести минут восемь.

– Скорей всего, они уже в вагоне, – сказал Джиггс.

– Да, – сказал репортер. – Но тебя пустят на перрон.

– Ага, – сказал Джиггс, беря игрушечный самолетик и свои подарки, которые он предварительно вновь аккуратно завернул в бумагу. – Сам-то пойдешь?

– Нет, я здесь обожду, – сказал репортер. Он смотрел Джиггсу вслед, пока тот не вошел в зал ожидания и не скрылся из виду. Он услышал, как объявили другой поезд; подойдя ближе к дверям, он увидел, как пассажиры зашевелились, взяли за свои чемоданы и сумки и направились к нумерованным выходам; дожидаться других поездов остались совсем немногие.

«Ждать будут недолго, – подумал репортер. – Потому что им теперь по домам, – думая о названиях всех мест, куда идут, разбегаясь веером от устья Реки по всей Америке, поезда, о холодных февральских названиях – Миннесота, Дакота, Мичиган, – о льдистых речных верховьях, о надежном нетающем снеге. – Да, домой сейчас, зная, что у них теперь почти целый год впереди, прежде чем надо будет опять напиваться и праздновать тот факт, что осталось одиннадцать с лишним месяцев до тех пор, когда надо будет опять носить маски, напиваться и дудеть в рожки».

Теперь на часах было без двух восемь; они, возможно, вы-

шли из вагона поговорить с Джиггсом, стоят, наверно, сейчас на перроне, курят; он мог еще пройти через зал ожидания и наверняка даже увидел бы их у пускающего пар поезда среди мельтешения других пассажиров и носильщиков; она держит конфеты и журналы, а мальчонка уже вовсю орудует самолетиком, заставляя его делать полубочки и повороты с отвесным креном. «Может, схожу, гляну», – подумал он и стал выжидать, чтобы увидеть, отправится он или нет, пока вдруг ему не стало понятно, что дело сейчас обстоит иначе, чем в спальне, когда он стоял там, еще не включив свет. Потому что это он сейчас был расплывчатой и тихой шушерой, отбросом прикосновения, дыхания и опыта без видимых шрамов, недышащим ожиданием без любопытства и без нетерпения, и другое нечто, не он, должно было на сей раз сделать движение. На часах была еще одна стрелка – паутинно-тонкая тень; он смотрел теперь на ее перемещение, слишком быстрое для глаза, если не считать промежутков мгновенной неподвижности, когда она застывала на циферблате, как проведенная пером по линейке, – 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, и готово; пошел двадцать первый час суток, только-то. Никакого звука, как будто не поезд отошел от станции две секунды назад, а тень поезда исчезла с экрана волшебного фонаря, повинувшись движению вынужденной диапозитив неумной и беспечной детской руки.

– Ну вот, – сказал Джиггс. – Ты, наверно, не прочь махнуть домой и завалиться спать.

– Да, – сказал репортер, – пора, что нам тут делать еще.

Они сели в машину; парусиновый мешок Джиггс теперь поднял с пола и положил себе на колени.

– Да, – сказал он. – Найдет, найдет, не волнуйся. Он уже шмякнул его пару раз о платформу – штопором закручивал... Ты сказал ему, чтобы высадил меня на главной улице?

– Я тебя в отель отвезу, – сказал репортер.

– Нет, я на главной ихней выскочу. Мать честная, как все-таки здорово, что я здесь не живу; я бы никогда до дому не мог добраться без проводника. Я бы упомянуть не мог название улицы, где живу, чтобы спрашивать дорогу, хоть бы даже и выучился его выговаривать.

– У Гранльё-стрит остановите, – сказал репортер. – Давай все же в отель...

Машина замедлила ход у перекрестка и встала; Джиггс подхватил свой мешок и открыл дверь.

– Нормально. Восемь пятнадцать всего; а с Артом у меня встреча в девять. Прошвырнусь немного по улице, воздухом подышу.

– Может, все-таки... Или, хочешь, ночуй у меня...

– Нет, ты езжай домой и ложись. Сколько из-за нас не спал.

Он наклонился к окну машины – сдвинутая набок кепчонка, грубо отесанное посиневшее лицо, неистовый глаз цвета налитой сливы; вдруг зажегся зеленый, в уши ударил пронзительный уличный звонок. Джиггс протянул руку; на секун-

ду горячая жесткая расслабленная грубая ладонь потно соприкоснулась с ладонью репортера, как будто репортер дотронулся до промасленного приводного ремня механизма.

– Благодарствую. И спасибо за выпивку. Ну, счастливо, увидимся.

Машина тронулась; Джиггс захлопнул дверь; его лицо поплыло назад в рамке окна; зеленые, красные и белые огни, пульсируя, потускнели и тоже скрылись из глаз репортера, следившего сквозь заднее окно за Джиггсом, который, перекинув через плечо обмякший теперь грязный мешок, повернул и исчез в толпе. Репортер наклонился вперед и постучал по стеклу.

– В аэропорт, – сказал он.

– В аэропорт? – переспросил шофер. – Вроде тот, второй, сказал, что вам надо на Нуайяд-стрит.

– Нет, в аэропорт, – сказал репортер.

Шофер опять стал смотреть вперед; мимо мелькали стрелки одностороннего движения по узким улицам старого, стесненного города, а он, казалось, все устраивался, все располагал поудобнее конечности для долгого пути. Но вскоре старый квартал сменился расползающимися и неказистыми окраинами, по большей части не освещенными сейчас, и такси поехало быстрее; вскоре улица распрямилась и превратилась в ленточно-прямую дорогу, проложенную по земноводной равнине, и машина уже мчалась очень быстро, и теперь возникла иллюзия, ощущение подвешенности в маленьком



воздухонепроницаемом стеклянном ящичке, стремительно влекомом парой слабеньких световых тяжей сквозь безмолвно и глухо несущуюся безмерность пространства. Оглядываясь, репортер по-прежнему мог видеть город, сияние его, все на том же расстоянии; с какой бы ужасающей скоростью и в каком бы одиночестве он ни перемещался, город параллельно ему перемещался тоже. Вырваться было нельзя; символический и всеобъемлющий, город ширью своей превосходил все измеряемые галлонами бензина расстояния, охватывая все часами ли, солнцем ли обусловленные пункты назначения. Он пребудет вовеки – неизбывный запах кофейно-сахарно-конопляно потеющих медленных железных посудин поверх вилкообразно ветвящейся неспешной бурой воды, и отсечена, отсечена, отсечена вся предельная синь широт и горизонтов; полноводные от горячего дождя канавы, косами заплетающие головы съеденных креветок; десять тысяч неотвратимых утр, когда десять тысяч качающихся эпифитов пунктирно подпирают мягкое гнилостное парение потеющего кирпича и десять тысяч пар коричневых, носками наружу, наемных Леонориных ступней тигрово расчерчены перемирием с непобедимым солнцем при посредничестве жалюзи; жидкий черный кофе, несметная тушеная рыба в океане масла – завтра, завтра, завтра; не только не надеяться – даже не ждать; просто существовать, терпеть.

# МУСОРИЩИКИ

В полночь – один из группы газетчиков на берегу уверял, что помощник капитана землечерпалки и сержант с полицейского катера у него на глазах пятнадцать минут кряду стояли и светили фонариками на свои наручные хронометры, – землечерпалка снялась с якоря, развернулась кормой к берегу и ушла; полицейский катер, более быстрый, белая кость, успел, пока она маневрировала, махнуть чуть ли не за волнолом. После этого пятеро газетчиков – четверо из них в пальто с поднятыми воротниками – тоже повернулись и пошли вверх по наклонному берегу туда, где шеренга стоявших бок о бок и полыхавших фарами машин начала уже редеть, тогда как полицейские – их теперь было значительно меньше – пытались предупредить неизбежную пробку. В эту ночь не было ни ветра, ни хмари. Благодаря расстоянию и прозрачности воздуха ожерелье неярких и ясных береговых огней, изгибом уходившее вдаль, создавало, как и пограничные огни вдоль волнолома, обычную иллюзию колыхания и трепета, напоминая цепочку светящихся домашних птиц, не вполне еще угомонившихся на насесте; ровные и размеренные махи маячного луча казались теперь не столько движением, сколько шелестом бегущей по густо усеянной тусклыми звездами воде мягкой передней лапы ветра. Они поднялись по склону туда, где полицейский, который четко вы-

рисовывался не только на подвижном скрещивающемся фоне, создаваемом фарами отъезжающих машин, но и на звуковом фоне криков и гудков, стоял, подбочась, и, казалось, созерцал в абсолютно бесстрастном раздумье завершение и итог вот уже двадцатичасового поминального бдения, чьим участником он был.

– А с нами, сержант, тоже не хотите поговорить? – спросил первый газетчик.

Оглянувшись через плечо, полицейский косо посмотрел на них сверху вниз из-под козырька сдвинутой набок фуражки.

– Кто такие? – спросил он.

– Мы – представители прессы, – ответил газетчик искусственным издевательским голосом.

– Пошли, пошли, – сказал второй у него из-за спины. – Скорей бы с холода под крышу куда-нибудь.

Полицейский уже опять повернулся к машинам, ко взрывающимся моторам, к гудкам и крикам.

– Ну что вы, сержант, – сказал первый. – Что вы, что вы, что вы, что вы. Может, вы и нас заодно отправите в город? – Полицейский даже не стал оглядываться. – Ладно, может, вы хотя бы моей жене позвоните и скажете, что не пустили меня домой в таком виде, потому что облечены в темно-синий цвет чести, неподкупности и чистоты...

Полицейский перебил его, не поворачивая головы:

– Вы дежурство ваше кончайте по-хорошему, а не то при-

дется кончать его в машине с решеткой.

– Вот и-мен-но. Наконец-то вы уловили суть. Ребята, он, оказывается, вполне...

– Да ну его, пошли, – сказал второй. – Пусть купит потом газету и почитает.

Они двинулись дальше, репортер (он-то и был без пальто) последним, пробираясь среди криков и гудков, среди тарахтения и скрежета, в сиянии поворачивающихся и скрещивающихся снопов фарного света; они пересекли бульвар и подошли к закусочной. Возглавлял компанию первый газетчик в шляпе с мятыми с одного бока полями, с торчащей из кармана неправильно застегнутого, смещенного на одну пуговицу пальто бутылкой. Хозяин посмотрел на них без особенной радости, потому что собирался уже закрываться.

– Из-за этого утопленника вашего я всю прошлую ночь, считай, не спал, сил уже никаких, – сказал он.

– Можно подумать, мы не представители прессы, пытающиеся уговорить его принять от нас долю нашего скромного жалованья, а люди из окружной прокуратуры, явившиеся, чтобы его закрыть, – сказал первый газетчик. – Вы рискуете пропустить грандиозный спектакль на рассвете, не говоря уже о наплыве сельской публики, которая узнала обо всем только после полудня, когда поезд привез газеты.

– Идите тогда в заднюю комнату, а я входную дверь запру и свет тут выключу, – сказал хозяин. – Годится?

– Конечно, – ответили они.

Он запер дверь, погасил свет, провел их на кухню, где стояли печка и оцинкованный стол, покрытый рыбно-мясными наслоениями от бесчисленных уик-энд, и, снабдив их стаканами, бутылками кока-колы, колодой карт, ящиками из-под пива, чтобы сидеть, и днищем бочки, чтобы соорудить стол, отправился спать.

– Если будут стучать в дверь, просто сидите тихо, – сказал он напоследок. – А перед тем, как утром начнут, стукните мне в стенку, я проснусь.

– Договорились, – сказали они.

Он вышел. Первый откупорил бутылку и начал разливать на пятерых. Репортер придержал его руку:

– Я не буду. Больше не пью.

– Что? – спросил первый. Он аккуратно поставил бутылку, вынул из кармана платок и не спеша разыграл всю пантомиму: снял очки, протер, надел обратно и уставился на репортера; однако четвертый газетчик, пока он все это проделывал, успел взять бутылку и довершить разливание.

– Ты больше не... что? – проговорил первый. – Что прозвучало в ушах моих – человеческая речь или голос слепой, безумной надежды?

– Да, – сказал репортер; на его лице была написана та ослабевшая, усталая болезненность, какую можно увидеть на лице папаши под конец демонстрации новорожденного. – Я на какое-то время завязал.

– Велика, Господи, милость Твоя, – с придыханием про-

изнес первый, после чего, повернувшись, заорал на того, кто держал теперь бутылку, в спонтанном шутовском гневном отчаянии записного паяца-любителя. Но тут же прекратил, и затем они вчетвером (репортер и тут не проявил солидарности) уселись вокруг бочечного днища, и четвертый начал сдавать для игры в очко. Репортер не участвовал. Он отодвинул свой пивной ящик в сторону, и первый газетчик – заядлый импровизатор, готовый обыграть всякое нечаянное затруднение, всякую неловкость, – мигом приметил, что ящик он поставил у холодной теперь печки.

– Сам не стал, дай тогда хоть печке горячительного, – сказал он.

– Я сейчас начну согреваться, – сказал репортер.

Они начали играть; поверх негромкого шлепанья карт голоса их звучали тихо-бодро-безлично.

– Вот уж действительно нашел себе место на веки вечные, – сказал четвертый.

– О чем, интересно, он думал, когда сидел в этой своей кабине и ждал встречи с водичкой? – спросил первый.

– Да ни о чем, – отрезал второй. – Если бы он был из думающих, он не сидел бы там вообще.

– А имел бы хорошую работу в газете – ты это хочешь сказать? – спросил первый.

– Да, – сказал второй, – именно это.

Репортер бесшумно встал. Чуть отвернувшись от них, зажег сигарету, спичку аккуратно бросил в холодную печь и

опять сел. Из остальных никто, кажется, этого не заметил.

– Раз уж мы взялись предполагать, – сказал четвертый, – о чем, по-вашему, его жена думала?

– Ну, это-то просто, – сказал первый. – Она думала: «Как хорошо, что я прихватила в дорогу запасное колесо».

Они не засмеялись; репортер, по крайней мере, смеха не услышал; он сидел на своем пивном ящике тихо и неподвижно, в то время как дым сигареты в стоячем безветренном воздухе тек вверх, раздваиваясь вокруг его лица, а голоса игроков летали туда-сюда, как карты, с мертвенно-бодрым шлепаньем.

– Думаете, они действительно оба с ней спали? – спросил третий.

– А как же; тоже мне, новость, – сказал первый. – Но как вам нравится, что Шуману все было известно? Механики, какие знакомы с ними подольше, говорят, что они даже не знали, чей ребенок.

– Может, обоих, – сказал четвертый. – Един в двух лицах; этакий летающий Джекилл-Хайд, ведет машину и прыгает с парашютом одновременно.

– Причем сам никогда не знает, кто из двоих сейчас, Джекилл или Хайд, всунулся в машину, – сказал третий.

– Ну, это-то не страшно, – сказал первый. – Важно чтобы всунулся, а кто – машине нет большой разницы.

Репортер не пошевелился – только поднял к губам, не смешая упертого в колено локтя, руку с сигаретой и вновь за-

мер в неподвижности, втягивая дым, обликом выражая напряженную, задумчивую сосредоточенность, на вид не только совершенно не обеспокоенный из-за своей тихой и ровной дрожи, но даже не замечающий ее, как человек, который издавна страдает дрожательным параличом; казалось, голоса и впрямь были для него неотличимы от шлепанья карт или, скажем, от пролетающей мимо сухой листвы.

– Сволочи вы, – сказал второй. – Похабники и сволочи. Оставили бы лучше человека в покое. И всех бы их в покое оставили. Они делали то, что им довелось делать, используя то, чем располагали, как и мы все, только, может, чуточку получше, чем мы. По крайней мере, без визга и без нытья.

– Точно, – сказал первый. – Ты самую суть ухватил. Делали то, что могли, используя то, чем располагали; об этом-то мы и рассуждали, когда ты назвал нас похабниками и охальниками.

– Да, – сказал третий, – Грейди прав. Надо оставить его в покое; она, кажется, так и поступила. Но, если вдуматься, какого черта: пусть даже она добилась бы, чтобы его вытащили, отправлять-то его куда? Скорей всего, некуда. Так что оставаться ей еще или ехать сейчас – это было без разницы, только лишние траты. Кстати, куда, по-вашему, они подались?

– Ну, куда такие люди подаются? – сказал второй. – Куда подаются мулы и циркачи? Ты видишь в канаве сломанный фургон или в ломбарде одноколесный велосипед, у которого седло в четырнадцати футах от земли. Но разве ты задаешь-



ся вопросом, что случилось с теми существами, что приводили фургон и велосипед в движение?

– Ты думаешь, она потому смоталась, что не хотела платить за похороны, если бы его подняли? – спросил четвертый.

– А что, почему нет? – сказал второй. – У людей такого сорта обычно нет денег на покойников, а нет их потому, что они не пользуются деньгами вовсе. Ведь чтобы жить, денег много не надо; когда умираешь – дело другое, на тот случай у тебя или у кого-нибудь еще должно быть что-то припасено в кубышке. Человек может полгода питаться, спать и не давать официальным блюстителям чистоты повода на себя коситься на ту же сумму, какую тебе назовут в похоронном бюро и убедят тебя при этом, что сыграть в ящик и хотя бы цент против этой суммы сэкономить – значит полностью потерять уважение к себе. Так что, пусть бы даже им было что хоронить, – на какие шиши это делать?

– Ты говоришь так, будто он не за двумя тысячами долларов гнался, когда убился, – сказал третий.

– Верно. Деньги, кстати, были бы его, точно вам говорю. Но не из-за них он сел в эту машину. Он бы участвовал хоть на велосипеде, лишь бы только этот велосипед мог оторваться от земли. Но не из-за денег. Они ведь не могут иначе, не могут не летать, как иные бабы не могут не шлюховать. Они не имеют над собой власти. Орд знал, что машина опасная, и Шуман наверняка знал про это не хуже – помните, как дале-

ко он держался на первом витке? Можно было подумать, что он вообще не в той гонке летит, ну, а потом он забылся, приблизился и попытался обойти Орда. Если бы это просто были деньги, получается, что сперва он так на них позарился, что решил рискнуть жизнью и сесть в заведомо неисправную машину, а потом, выходит, запомнил про них на целый виток гонки, когда летел себе не спеша, так что до пилонов ему было вдвое дальше, чем судьям. Ты думай головой.

– Сам думай головой, – сказал первый. – Деньги, деньги это были. Они любят их не меньше, чем мы с тобой. Ты спросишь, что бы они стали делать с двумя тысячами? Господи, да то же самое, что любые другие три человека. Она накопила бы себе всяких тряпок, они переехали бы оттуда, где обретались, в отель, погуляли бы пару деньков и просадили бы из них немалую часть. Вот как бы они распорядились деньгами. Но они их не получили, и, видит Бог, ты прав: она поступила очень даже умно. Если твоя затея лопнула, ты, чем сидеть дальше на кошельке, который сделал кукиш у тебя под задницей, и лить слезы, наверно, встанешь на ноги, постараешься где-нибудь что-нибудь опять наскрести и затеешь новую комбинацию – авось на этот раз выгорит. Да. Денег им хочется, и еще как, причем не для того, чтобы отложить на черный день, и не для того, чтобы в могилу с собой унести. Так что я, конечно, знаю не больше вашего, но, если бы кто-нибудь мне сказал, что у Шумана есть родня, а потом назвал город, до которого она себе и ребенку купила билеты, я бы

сообщил вам, где Шуман жил. А потом я поспорил бы на двадцать пять центов, что, когда вы в следующий раз их увидите, мальчика с ними не будет. Почему? Да потому, что так я сам поступил бы на ее месте. И любой бы из вас тоже.

– Нет, – сказал второй.

– Что – нет? Ты не стал бы или она не станет так поступать? – спросил первый. Репортер сидел неподвижно, безветренный сигаретный дым, струясь, раздваивался вокруг его подбородка.

– Да, – сказал первый. – Очень может быть, они и правда не знают, чей ребенок, но раньше, на фоне всей этой каши, в которой они жили, не так уж и важно было, кто его настоящий отец, нарекли его Шуманом – и дело с концом. Но теперь-то Шумана нет; тут кто-то из вас спросил, о чем она думала, пока он сидел в кабине и дожидался плюха в озеро. Я вам скажу, о чем и она, и тот, второй, думали вместе: что теперь, когда Шумана не будет, им уже никогда от него не избавиться. Может, они спали с ней через раз – не знаю. Но теперь его из комнаты на минуту даже попробуй вытури; туши свет сколько хочешь – без толку, и все время, пока они бодрствуют, он будет туточки, будет пялиться на них из-под смешанного имени – Джек Шуман, и нашим и вашим. Раньше у молодца был один соперник, а теперь ему соперничать с каждым вдохом и выдохом пацана, и рога ему будет наставлять каждый призрак, который ходит и отказывается себя назвать. Так что если вы мне скажете, что у Шу-

мана в таком-то городе есть родня, то я вам скажу, куда она с мальцом...

Репортер не шевелился. Голос говорившего пресекся на резко сдвинутой, переходной ноте, а репортер сидел неподвижно, слушая возникшие из альтерированной тишины голоса, обращенные к нему, и глаза, обращенные к нему, – сидел, сохраняя прежнее положение застывшего тела и глядя, как рука рассчитанным движением аккуратно стряхивает с сигареты пепел.

– Ты все время возле них крутился, – сказал первый. – Хоть раз кто-нибудь из них помянул ее или Шумана родственников?

Репортер не двигался; он дал голосу возможность повторить вопрос; даже поднял опять сигарету и опять стряхнул пепел, воображаемый теперь, потому что настоящий он стряхнул несколько секунд назад. Затем он шевельнулся; сел прямо, глядя на них со встревоженно-вопросительным видом.

– Что? – спросил он. – Что ты сказал? Я прослушал.

– Родичей Шумана упоминал кто-нибудь из них? – спросил первый. – Мать там, отца и так далее.

Лицо репортера не изменилось.

– Нет, – сказал он. – Я не слышал. Кажется, механик его говорил, что он сирота.

Тогда было два часа ночи, но такси ехало быстро и до оте-

ля «Тербон» репортер добрался в полтретьего с небольшим; в вестибюле он обратился к дежурному администратору, наклонив к его окошку исхудалое свое, отчаянное лицо.

– Вы ведь, кажется, называете себя штабквартирой Американской воздухоплавательной ассоциации, – сказал он. – Вы что, никак не регистрируете участников? Что, комитет просто позволяет им разбежаться к чертям собачьим по всему Нью-Валуа?

– Кого вы ищете? – спросил администратор.

– Арта Джексона. Он летчик-трюкач.

– Сейчас посмотрю, есть ли на него что-нибудь. Воздушный праздник вчера окончился.

Администратор отошел. Репортер наклонился к самому окошку, чуть не вдвинул в него голову, но дышал ровно, просто стоял до возвращения администратора совершенно неподвижно.

– Тут значится некий Артур Джексон, на вчерашний день проживал в отеле «Бьенвиль». Но где он сейчас...

Репортер, однако, уже удалялся, двигался к выходу не бегом, но быстрыми шагами; уборщик, подметавший пол щеткой с длинной рукояткой, едва успел отдернуть свое орудие перед репортером, который, казалось, готов был идти сквозь рукоятку, порвать ее, как рвут паутину. Таксист не знал точно, где находится отель «Бьенвиль», но в конце концов они его отыскивали – боковая улочка, вывеска, где львиную долю места занимали слова «Турецкая баня», узкая вход-

ная дверь, тускло освещенный вестибюль с несколькими стульями, несколькими пальмами, плевательницами в большем, чем то и другое, количестве и столом, за которым сидел спящий негр без униформы, – заведение сомнительное, сильно отдающее горячими субботними ночками, редко принимающее постояльцев с багажом, прорезанное полутемными истоптанными коридорами, за поворотами которых чудится мельтешенье кимоно, кричаще-ярких и вечных, чудится оптимистически-ностальгический сбор всей продажной женской плоти, что когда-либо цвела и увядала. Негр проснулся; лифта не было; репортеру, описавшему внешность Джиггса, было сказано, куда идти, и он постучался пониже двух цифровых призраков, прибитых к двери четырьмя призраками гвоздей; наконец дверь открылась, и Джиггс, на котором была теперь только рубашка, замигал на него и здоровым своим, и подбитым глазом. Репортер держал в руке клочок бумаги, который получил от парашютиста вместе с деньгами. Сам-то он как раз не мигал – просто таращился на Джиггса с отчаянной настоятельностью.

– Билеты, – сказал он. – Куда...

– А, – сказал Джиггс. – Майрон, Огайо. Да, то самое, что здесь написано. К Роджерову папаше. Хотят оставить у него пацана. Я думал, ты знаешь. Ты же сказал, что виделся с Джеком на... Эй, друг, ты что! – Он открыл дверь шире и протянул руку, но репортер уже ухватился за дверную стойку. – Слушай, зайди, присядь...

– Майрон, Огайо, – повторил репортер. На лице его появилась прежняя слабая искривленная тихая гримаса, а свободной рукой он все еще отводил руку Джиггса, хотя тот уже не пытался его поддержать. Он начал извиняться перед Джиггсом за причиненное ему беспокойство, говоря сквозь тот тонкий налет на изможденном исхудалом лице, что за неимением лучшего слова можно было бы назвать улыбкой.

– Все в порядке, друг, – сказал Джиггс, все еще мигая, глядя на него грубо-пиратски-заботливо. – Мать честная, ты что, еще не ложился? Слушай, иди, брат, сюда, мы с Артом как-нибудь потеснимся...

– Нет, я пойду. – Чувствуя на себе взгляд Джиггса, он осторожно оттолкнулся от двери, как будто, прежде чем ее отпустить, ему нужно было восстановить равновесие. – Я просто завернул попрощаться.

Он смотрел на мигающего Джиггса из-под все той же слабенькой неподвижной гримасы.

– Пока, друг. Только лучше бы ты...

– Удачи тебе. Или... Можно пожелать парашютисту счастливых приземлений?

– Ну ты спросишь, – сказал Джиггс. – Можно, наверно.

– Тогда счастливых приземлений.

– Ага. Спасибо. И тебе, друг, того же.

Репортер повернулся. Джиггс смотрел, как он шел по коридору, двигаясь все с той же странноватой малозаметной негнущейся опаской, и, завернув за угол, исчез. Лестница

была освещена еще тусклее, чем коридор, однако латунные полосы, прижимавшие к ступеням резиновое покрытие, ярко и тихо блестели посередине, где их день за днем полировали подошвы. Негр уже опять спал на своем стуле и не шевельнулся, когда репортер прошел мимо; выйдя на улицу чуть спотыкающимся шагом, репортер сел в такси.

– Обратно в аэропорт, – сказал он. – Можно не торопиться, рассвет не скоро еще.

На берегу озера он появился до рассвета, хотя, когда его увидели остальные четверо, выйдя из темной закуской и спустившись сквозь выстроившуюся вновь баррикаду машин (хотя теперь их было поменьше по случаю понедельника) к воде, уже рассвело. Тогда-то они и увидели его. Гладкая вода бледно розовела в ответ разгорающемуся востоку, и фигура репортера напоминала на ее фоне собственноручно сплетенный маленькой девочкой рождественский подарок – кружевную аппликацию, долженствующую изображать журавля, который спит стоя.

– Боже, – сказал третий, – неужто он тут торчал все время один?

Но долго рассуждать на эту тему им было некогда, потому что они едва не опоздали; еще не добравшись до берега, они слышали шум взлетающего самолета, а затем увидели, как он делает круг; достигнув, как они подумали, расчетной точки, он некоторое время двигался в тишине, с выключенным мотором, а потом звук возобновился и самолет полетел



дальше – вот и все. Чтобы из него что-то выпало, никто из них не увидел, хотя вдруг неизвестно откуда появились три чайки и начали носиться, кренясь, качая крыльями и громко крича, над неким местом на воде поодаль от берега – их голоса напоминали скрип ржавых ставень на ветру.

– Ну и ладно, – сказал третий. – Поехали в город.

Четвертый вновь произнес фамилию репортера.

– Ждать его будем, нет? – спросил он. Они оглянулись, но репортера уже не было видно.

– Напросился, наверно, в чью-нибудь машину, – сказал третий. – Ладно, все, пошли.

Когда репортер вышел из машины на углу Сен-Жюль-авеню, часы в окне ресторана показывали восемь. Но он не посмотрел на часы; медленно и ровно дрожа, он не смотрел ни на что вообще. Предстоял еще один яркий, ясный, оживленный день; сам солнечный свет, сами улицы и стены были бодро-деловито-трезвыми под стать утру понедельника. Но репортер и этого не заметил, потому что вообще никуда не глядел. Когда к нему вернулся дар зрения, он увидел буквы, начавшие появляться словно бы из затылочной части его черепа, – широкий газетный лист, прижатый ржавой подковой, свойственная понедельничным заголовкам способность рождать благодарное изумление, как если бы ты узнал, что твой дядя, который, как ты думал, сгорел два года назад в уничтоженной пожаром богадельне, умер вчера в Тусоне, Аризона и оставил тебе пятьсот долларов:

## МОГИЛОЙ ЛЕТЧИКУ СТАЛИ ВОДЫ ОЗЕРА

Потом, без малейшего своего движения, он перестал это видеть. Его зрачки сумели бы восстановить страницу в зеркально перевернутой миниатюре, но сейчас он не видел ее вовсе, тихо и ровно дрожа под ярким теплым солнцем, пока наконец не повернулся и не посмотрел на витрину в тихом и задумчивом отчаянии – не-мухи или бывшие мухи, две половинки грейпфрута, названия съестного на выдвигаемых полосках, расположенных одна над другой, как станции в железнодорожном расписании, и вместе образующих некое стоячее подобие семейного портрета, – ощущая не просто глубокое и непоколебимое нежелание, но явственный и абсолютный отказ всего организма.

– Ну ладно, – сказал он, – если не поем, то хоть выпью. Если не сюда, тогда к Джо.

Идти было недалеко – переулок, дверь с решеткой, одно из тех мест, где федеральные власти пятнадцать лет пытались воспрепятствовать торговле спиртным, а теперь год пытаются восстановить эту торговлю. Уборщик, впустив его, налил ему в безлюдном баре и откупорил новую бутылку.

– Дела, – сказал репортер. – Я целые сутки был трезвенником. Веришь, нет?

– Про вас – не верю, – сказал уборщик.

– И я про себя тоже. Я сам себе удивился. Удивился черт

знает как, а потом понял, что это был не я, а другие двое. Смекаешь?

Он и сам засмеялся – негромко; громким его смех не был и позже, когда уборщик держал его, не давая повалиться, называл по фамилии и с «мистером», как Леонора, и говорил.

– Ну-ну-ну, перестаньте, возьмите себя в руки.

– Хорошо, – сказал репортер. – Взял, взял уже. Если ты видел хоть одного еще такого взятого человека, я куплю тебе самолет.

– Я не против, – сказал уборщик. – Но пусть лучше это будет такси, и езжайте на нем домой.

– Домой? Да я же едва-едва из дому. На работу теперь. Со мной все обстоит лучшим образом. Дай мне только еще глотнуть и покажи, где дверь, – вот и порядочек. Порядочек, понимаешь? А потом я совершенно случайно узнал, что это не я, а другие двое...

Но на этот раз он сам себя остановил; он молодцом держался, пока уборщик наливал и подавал ему вторую. Он держался просто отлично; ничего не чувствовал вообще, кроме медленно вступающего в нутро спиртного – огненного, мертвого и холодного. Вскоре он даже перестанет дрожать, вскоре он действительно перестал; идущему теперь в потоке яркой утренней неоскверненности, ему нечем было дрожать.

– Ну что, мне лучше теперь, – сказал он. Потом начал быстро повторять: – О Боже, мне лучше! Мне лучше! Лучше! Лучше! – пока не прекратилось и это, и он тихо, с траги-

чески-пассивным провидением произнес, глядя на знакомую стену, на знакомую двойную дверь, в которую он собирался войти: – Что-то должно со мной произойти. Я слишком вытянулся и слишком истончился, что-то наверняка порвется.

Он поднялся по тихой лестнице; в безлюдном коридоре отпил из бутылки, но теперь жидкость была холодной, и только, и пилаь как вода. Войдя в пустое помещение отдела городских новостей, он подумал, что мог бы хлебнуть и здесь, и сделал это. «Я так редко сюда навещаюсь, – сказал он. – Я не знаю, что принято в здешних кругах, а что нет». Но комната была пуста или сравнительно пуста, потому что он продолжал совершать этот поворот на сто восемьдесят градусов с отвесным креном без руля направления и руля высоты, глядя вниз на людную сушу и пустое озеро и решая – землечерпалка над ним двадцать часов, а потом лежать и смотреть вверх на расплывающийся венчик, на слабое его качание под взорами изумленных чаек, и прочь, и пытаться объяснить, что не знал он.

– Не думал я этого! – воскликнул он. – Думал, просто они все уезжают. Не знал куда, но думал, что все трое вместе, что, может быть, ста семидесяти пяти им хватит перебиться, пока Холмс... и что потом он вырастет большой, и я тоже там окажусь; может, ее увижу первую, и она будет выглядеть как сейчас, хоть он и там, за пилоном, и я тоже не изменюсь, пусть даже мне будет сорок два, а не двадцать восемь, и он вернется после пилонов, и мы подойдем, может, с ней под

руку, и он увидит нас из кабины, и она скажет: «Вот, помнишь, в Нью-Валуа он все кормил тебя мороженым?»»

Потом ему пришлось торопиться, говоря себе: «Постой. Хватит. Прекрати», пока он действительно не прекратил, высокий, немного сгорбленный, со слегка шевелящимися, словно что-то пробующими губами, с глазами то быстро моргающими, то открывающимися на всю ширину век, как у человека, который борется со сном, сидя за рулем машины; и опять вкус, ощущение были всего-навсего как от мертвой ледяной воды, давившей на желудок холодным, тяжелым, безжизненным грузом; двигаясь – снимая пиджак, вешая его на спинку стула, садясь и вставляя в машинку чистый лист желтоватой бумаги, – он мог и слышать ушами, и чувствовать телом эту ленивую мертвенность внутри себя. Пальцев своих на клавишах он тоже не ощущал – только видел, как буквы материализуются из воздуха, черные, четкие и быстрые на ползущей желтизне.

Мальчик проспал прошедшую ночь на сиденье напротив женщины и парашютиста, прижимая к груди игрушечный самолетик; когда рассвело, поезд шел по заснеженной равнине. Когда они пересаживались на другой поезд, под ногами тоже был снег, а когда во второй половине дня проводник объявил город и, посмотрев в окно, женщина прочла название маленькой станции, снежило всюду. Выйдя, они пересекли платформу среди молочных бидонов и клеток с пти-

цей и вошли в зал ожидания, где носильщик подкидывал в печку уголь.

– Можно здесь взять такси? – спросил его парашютист.

– Да, стоит там один у входа, – сказал носильщик. – Пойду, кликну его.

– Спасибо, – сказал парашютист. Он посмотрел на женщину; она запахивала тренчкот. – Я здесь побуду.

– Да, – сказала она. – Хорошо. Но я не знаю, как долго...

– Чем торчать где-то еще, тут и подожду.

– Он не с нами разве? – спросил мальчик. Держа теперь самолетик под мышкой, он смотрел на парашютиста, хотя обращался по-прежнему к женщине. – Он что, не хочет видеть папу Роджера?

– Он не поедет, – сказала женщина. – Ты попрощайся с ним сейчас.

– Попрощайся? – переспросил мальчик. – Он перевел взгляд на нее. – Мы что, не вернемся разве? – Он перевел взгляд обратно. – Лучше ты съезди, а я с ним тут побуду. А папу Роджера как-нибудь в другой раз.

– Нет, – сказала женщина. – Сейчас.

Мальчик смотрел то на него, то на нее. Вдруг парашютист сказал:

– Пока, малыш. Увидимся.

– Ты точно будешь ждать? Ты не уедешь?

– Нет. Буду ждать. А ты поезжай с Лаверной.

Носильщик вернулся.

– Ждет вас, – сказал он.

– Машина ждет, – сказала женщина. – Скажи Джеку: «До свидания».

– Ладно, – сказал мальчик. – Ты подожди нас здесь. Вернемся – перекусим чего-нибудь.

– Да, конечно, – сказал парашютист. Вдруг он поставил чемодан на пол, наклонился и взял мальчика на руки.

– Не надо, – сказала женщина. – Ты здесь подожди, там метет...

Но парашютист пошел с мальчиком к выходу, волоча негнущуюся ногу, женщина за ним – снова под снегопад. Такси оказалось маленьким туристским автомобилем с буквенным знаком на ветровом стекле и попоной на капоте, таксист – немолодым человеком с седоватыми усами. Он открыл перед ними дверцу; парашютист посадил в машину мальчика, отступил, помог сесть женщине и опять наклонился к окошку; если бы кто-нибудь пристально понаблюдал в последние дни за репортером, он сразу узнал бы теперешнее выражение лица парашютиста – слабенькую гримаску (в его случае еще и свирепую), которую лишь за неимением лучшего слова можно назвать улыбкой.

– Ну, счастливо, старина, – сказал он, – будь умницей.

– Ладно, – сказал мальчик. – А ты пока поищи, где тут можно перекусить.

– Хорошо, – сказал парашютист.

– Ну всё, мистер, – сказала женщина. – Поехали. – Маши-

на тронулась и стала, разворачиваясь, отъезжать от вокзала; женщина по-прежнему сидела, наклонившись вперед. – Вы знаете, где тут живет доктор Карл Шуман?

Какое-то мгновение водитель был неподвижен. Машина все еще разворачивалась, набирая скорость, и запас движений, допустимых в этот момент для водителя, так и так был невелик; однако он, казалось, испытал то кратковременное оцепенение, каким поражает человека или зверя, пребывающего во тьме, внезапная вспышка света. Потом это прошло.

– Доктор Шуман? Конечно. Вам к нему?

– Да, – сказала женщина.

Городок был невелик, и ехать было близко; женщине показалось, что машина остановилась почти тотчас же, и, глядя в окно сквозь падающий снег, она увидела некий кенотаф, убогий и лишенный всякого величия, всякого достоинства монумент в честь бесприютно-победоносного запустения – одноэтажный дом, компактное хлипкое месиво крылец, верандочек, тупоугольных фронтонок и оконных выступов, которому не было и пяти лет от роду, строение, возведенное в том раскрашенно-грязно-проволочно-сетчатом стиле, какой сработанные в Калифорнии фильмы распространили по всей Северной Америке, точно болезнь, чьи возбудители живут на целлулоидной пленке. Дому не было и пяти лет от роду, однако на нем уже стояла печать ветхости и гниения, развившихся так яростно и так быстро, словно немедленный распад был включен в архитектурные кальки и



неотъемлемой составной частью присутствовал в древесине, штукатурке и песке его грибного роста. Тут она почувствовала, что водитель на нее смотрит.

– Вот, приехали, – сказал он. – Вы, может, его старый дом думали увидеть? Или вы не так хорошо с ним знакомы?

– Все в порядке, – сказала женщина. – Нам сюда.

Он не протянул руки, чтобы открыть дверь; просто сидел, полуобернувшись, и смотрел, как она борется с защелкой.

– У него был большой старый дом за городом, но несколько лет назад он его потерял. Сын его подался в авиацию, и он заложил дом, чтобы купить сыну аэроплан, а сын потом этот аэроплан разбил, и, чтобы его починить, доктору пришлось занять еще денег под залог все того же дома. Я думаю, парень хотел вернуть ему долг, но, видно, не получилось. Так что доктор тот дом потерял и взамен построил этот. Хотя, может, здесь ему и не хуже; женщинам-то обычно сподручнее жить поближе к городу...

Она наконец справилась с дверью, и они с мальчиком вышли.

– Можете подождать? – спросила она. – Только вот я не знаю, сколько пробуду. Я оплачу вам время.

– Подожду, конечно, – сказал он. – Это же работа моя. Наняли машину – значит, сами решаете что и когда.

Он смотрел, как они входят в ворота и идут по узкой бетонной дорожке, окруженной снегом.

«Значит, вот она она, – думал он. – Посмотришь, однако,

не скажешь, что вдова. Хотя и женой-то, говорили, она была ему хорошо если наполовину». Рядом с ним, на другом переднем сиденье, лежала еще одна попона, служившая ему покрывалом. Он закутался в нее, и не зря, потому что уже стемнело и в расширяющемся книзу конусе света от уличного фонаря падающий снег несло и кружило ветром; потом дверь в доме открылась, и в светлом прямоугольнике он увидел силуэты сперва женщины в тренчкоте, а следом доктора Шумана – они вышли, и дверь за ними захлопнулась. Водитель скинул покрывало и завел мотор, но некоторое время спустя опять его заглушил и опять завернулся в попону, хотя два человека, стоящие на крыльце перед дверью, не были ему видны из-за темноты и густо, быстро падающего снега.

– Вы, значит, прямо так вот хотите его оставить, – сказал доктор Шуман. – Оставить спящим и уехать.

– Вы знаете способ, как это лучше сделать? – спросила она.

– Нет. Вы правы. – Он говорил громко, слишком громко. – Давайте пойдем друг друга до конца. Вы оставляете его здесь по доброй воле; мы обеспечиваем ему кров и стол, пока мы живы; это между нами решено.

– Да. Мы еще в доме об этом сговорились, – сказала она терпеливо.

– Да, но давайте пойдем до конца. Я... – Он говорил с некой странной, громкой, дикой, рвущейся торопливостью, как будто она все еще удалялась и уже отошла на изрядное

расстояние. – Мы старики; вам этого не понять, вам не понять, что когда-нибудь и вы, возможно, достигнете возраста, в котором способны будете нести только такой-то груз и не больше; и никакой добавочный груз уже не стоит того, чтобы его нести; и вы мало того, что не можете, вы не хотите; и ничто уже ничего не стоит, кроме покоя, покоя, покоя, пусть даже с утратой, с горем, – ничто! Ничто! Но мы на этот рубеж вышли. Когда вы приехали сюда с Роджером перед рождением мальчика, мы с вами говорили, и я говорил иначе. Я тогда был другой; я искренне вам ответил, когда вы сказали, что не знаете, кто отец вашего будущего ребенка, Роджер или нет, и никогда не будете знать, а я вам ответил помните как? Я сказал: «Сделайте тогда Роджера его отцом с этого дня». И вы не стали лукавить, сказали мне правду, что не можете ничего обещать, что вы плохая от рождения и не в состоянии этого исправить и не намерены даже пытаться; а я вам сказал, что от рождения никто никаким не бывает, ни плохим, ни хорошим, помоги нам Господи, и что никто ничего не в состоянии сделать помимо того, что он должен, – помните? Я искренен был тогда. Но я был моложе. А теперь я старик. И я не могу теперь... не могу... я...

– Я понимаю. Если я оставлю его у вас, я не должна пытаться его увидеть, пока вы оба не умрете.

– Да. Так надо; я не могу иначе. Мне нужен покой, ничего больше теперь. Мы не так уж долго еще проживем, и тогда...

Она усмехнулась – коротко, безрадостно, неподвижно.

– И тогда он уже помнить меня не будет.

– Это ваш риск. Потому что не забывайте, – воскликнул он, – не забывайте! Я не прошу вас об этом. Я не просил вас его здесь оставлять, не просил привозить его к нам. Вы можете сейчас войти, разбудить его и забрать с собой. Но если вы этого не сделаете, если оставите его у нас, повернетесь спиной и уедете... Думайте, думайте. Заберите, если хотите, его на эту ночь в гостиницу или куда угодно и подумайте, соберитесь с мыслями и привезите его завтра сюда или придите сами и скажите, что вы решили.

– Я уже все решила, – сказала она.

– Что вы оставляете его здесь по доброй воле. Что он получает от нас кров, заботу и любовь, на которые он имеет право как малый ребенок и как наш вн... и что взамен вы обязуетесь не пытаться увидеть его и общаться с ним, пока мы живы. Готовы ли вы на это пойти? Подумайте хорошенько.

– Да, – сказала она. – Мне приходится так поступить.

– Вовсе нет. Вы можете сейчас забрать его с собой; мы можем считать, что вы сегодня не приезжали. Вы его мать; я по-прежнему думаю, что мать, какая бы она ни была, лучше, чем... чем... Почему вам приходится?

– Потому что я не знаю, хватит ли у меня денег, чтобы он не голодал, не мерз и лечился, если захворает, – сказала она. – Понимаете?

– Я понимаю, что этот... ваш... другой мужчина зараба-

тывает еще меньше, чем Роджер. Но вы говорили мне, что заработков Роджера тоже не всегда хватало для четверых; тем не менее, пока Роджер был жив, у вас не возникало желания подкинуть нам мальчика. И вот теперь, когда у вас одним ртом меньше, вы уверяете меня, что...

– Я вам объясню, дайте мне слово сказать, – перебила его она. – У меня будет еще один ребенок.

Теперь он молчал; его неоконченная фраза, казалось, повисла между ними. Они стояли лицом к лицу, но не видели друг друга – каждый имел перед глазами только смутную фигуру, размываемую падающим между ними и на них снегом, хотя она, стоя спиной к уличному фонарю, видела его все же лучше, чем он ее. Через некоторое время он тихо сказал:

– Понимаю. Да. И на этот раз вы знаете, что будущий ребенок не... не от...

– Не от Роджера. Да. Мы с Роджером... Ладно, не важно. Про этого ребенка я знаю. И Роджер знал. Так что нам нужны будут деньги, и Роджер пытался выжать из этого воздушного праздника все, что можно. Машина, на которой он в первый раз выиграл приз, была медленная, устаревшая. Но другой у нас не было, и он их переиграл, обошел их за счет пилонов, делал такие близкие виражи, каких другие не рисковали делать ради этих маленьких денег. Потом в субботу он получил возможность полететь на опасной машине, которая давала шанс выиграть две тысячи долларов. Это бы нас обеспечило. Но машина развалилась в воздухе. Может, я и

сумела бы его остановить. Не знаю. Может, и сумела бы. Но не остановила. И не пыталась даже. Так что денег этих мы не получили, а из того, что он в первый день выиграл, мы большую часть оставили, чтобы его тело переправили сюда, когда поднимут из озера.

– А, – сказал доктор Шуман. – Понимаю. Да. Итак, вы дадите нам шанс... возможность... – Вдруг он закричал: – Если бы я только был уверен, что это сын Роджера! Если бы я только был уверен. Ну скажите же мне что-нибудь! Знак подайте какой-нибудь, маленький знак. Любой, крошечный хотя бы...

Она не шевелилась. Фонарь светил сквозь снегопад поверх ее плеча, и она хоть и смутно, но видела его – малорослого худого мужчину со встрепанными жидкими серо-стальными волосами, на которые, шелестя, падали снежинки, отвернувшего от нее лицо и державшего ладонь поднятой руки не прямо перед собой, а между ее лицом и своим. Помолчав, она сказала:

– Может быть, вам какое-то время понадобится, чтобы подумать. Чтобы решить.

Теперь она не видела его лица – только поднятую ладонь; казалось, она обращается к этой ладони:

– Давайте я подожду до завтра в гостинице, а вы...

Ладонь шевельнулась, слабо дернулась в ее сторону выше неподвижного запястья, словно пытаясь отогнать ее голос. Но она повторила, как будто для протокола:

– Значит, вы не хотите, чтобы я подождала?

Ответила ей только ладонь, дернувшаяся еще раз; женщина тихо повернулась и спустилась с крыльца, ища ногой под снегом каждую ступень, затем пошла по дорожке, не быстро, истаивая в дремотной пантомиме снегопада. Она не оглядывалась. Доктор Шуман не смотрел на нее. Он услышал, как заводится мотор такси, но сам тем временем уже поворачивался и входил в дом, чуть замешкавшись перед закрытой дверью прежде, чем отыскал ручку, – пожилой мужчина в одной рубашке с усыпанными снегом волосами и плечами. Он двинулся по коридору; его жена, сидевшая в темной комнате у кровати, где спал мальчик, услышала, как он наткнулся на что-то в коридоре, а потом увидела его в освещенном из коридора прямоугольнике двери, держащегося за косяк, с блестками тающего снега в растрепанных волосах.

– Хоть маленький знак бы иметь, – сказал он. Входя, он опять споткнулся. Она встала и двинулась к нему, но он отстранил ее. – Оставь меня с ним, – сказал он.

– Тсс, – сказала она. – Не буди его. Иди, поужинай.

– Оставь меня, сказал, – повторил он, отстраняя рукой теперь уже пустой воздух, потому что она стояла поодаль, глядя, как он подходит к кровати, неловко нащупывает изножье. Но голос его был вполне спокойным.

– Выйди, – сказал он. – Оставь меня с ним. Выйди и оставь меня с ним.

– Тебе поужинать надо и лечь.

– Уйди, тебе говорят. Я хорошо себя чувствую.

Она повиновалась; он стоял, держась за изножье кровати и слушая, как ее шаги медленно шелестят по коридору и затихают. Потом он зашевелился, с трудом нащупал электрический шнур, лампу, зажег свет. Мальчик ворохнулся, отворачивая от света лицо. Ночной рубашкой ему служила старомодная мужская сорочка с некогда сатинированной грудью, мягкой теперь от множества стирок, заколотая у горла золотой брошью, с недавно обрезанными на уровне запястий рукавами. На другой подушке рядом с головой мальчика лежал игрушечный самолетик. Внезапно доктор Шуман наклонился и стал трясти мальчика за плечо. Самолетик съехал с подушки; не переставая трясти мальчика, доктор другой рукой смахнул игрушку на пол.

– Роджер, – сказал он, – проснись. Проснись, Роджер.

Мальчик проснулся; моргая, не шевелясь, он смотрел на склонившееся над ним мужское лицо.

– Лаверна, – позвал он. – Джек. Где Лаверна? Где это я?

– Лаверна ушла, – сказал доктор Шуман, все еще тряся мальчика, как будто он забыл приказать мышцам остановиться. – Ты дома, но Лаверна ушла. Ты понял меня? Ушла. Что, будешь плакать? А?

Мальчик смотрел на него, моргая, потом повернулся и провел рукой по другой подушке.

– Где мой новый? – спросил он. – Где мой самолет?

– Твой самолет, говоришь? – сказал доктор Шуман. – Твой



самолет?

Он нагнулся, подобрал игрушку, подержал ее на уровне глаз, лицо его искривилось в гримасе карличьей ярости, и он на глазах у мальчика с размаху швырнул самолетик о стену, а затем, подбежав к нему, принялся топтать его в припадке слепой маниакальной злобы. Мальчик издал лишь один отрывистый звук; затем, приподнявшись на локте, молча, с глазами чуть расширенными словно бы от любопытства, и только, он смотрел, как всклокоченный старик в потрепанной одежде маниакально и смехотворно скачет над бесформенной и бесполезной массой желто-голубой жести. Потом мальчик увидел, как он остановился, наклонился, взял загубленную игрушку и, можно было подумать, попытался разорвать ее руками на части. Его жена, сидевшая в гостиной у печи, тоже слышала сквозь хлипкие стены его топот, тоже чувствовала, как трясется пол; потом услышала, как он идет по коридору – теперь быстрыми шагами. Маленькая увядшая женщина с увядшими глазами и тихим увядшим лицом, она сидела в душевной комнате, где стояли полысевший диван, стулья из мореного дуба, вращающийся книжный шкаф из того же мореного дуба с аккуратными рядами потрепанных медицинских книг, с чьих переплетов давно уже сошла золотая краска тисненых названий, и стол, заваленный медицинскими журналами, поверх которых на нем лежали сейчас теплая кепка с наушниками, пара рукавиц и маленькая потертая черная сумка. Она не двигалась – просто сидела и

смотрела на дверь, на входящего доктора Шумана, который протянул вперед одну руку; даже теперь она не шевельнулась, только молча смотрела на пачку денег.

– Они лежали в самолетике! – сказал он. – Ему даже пришлось спрятать от нее деньги!

– Нет, – сказала его жена. – Это она их от него спрятала.

– Нет! – завопил он. – Он от нее. Для мальчика. Разве женщина способна спрятать деньги или что-либо еще и потом по забывчивости оставить? И где, спрашивается, она могла раздобыть сто семьдесят пять долларов?

– Да, – сказала его жена, чьи увядшие глаза наполнились неизмеримым и неумолимым непощением, – где она могла раздобыть сто семьдесят пять долларов, которые надо было прятать от них обоих в детской игрушке?

Он довольно долго на нее смотрел.

– А, – сказал он. Он тихо это сказал: – Да. Понимаю. – Потом закричал: – Но какая разница! Какая сейчас разница!

Он нагнулся, рывком распахнул дверцу печки и затем вновь ее захлопнул; сидевшая неподвижно, его жена не шевельнулась, даже когда поверх его склоненной фигуры увидела в дверном проеме глядящего на них мальчика в мужской рубашке, одной рукой прижимающего к груди раздавленное месиво игрушки, другой – ком своей одежды. Кепка уже была на нем. Доктор Шуман его не видел; он выпрямился у печи; это был, конечно, сквозняк из-за открывшейся и закрывшейся двери, но на миг почудилось, будто сами день-

ги, взвиваясь в небытие по печной трубе в языках огня, глухо и негромко взревели, в то время как доктор Шуман, выпрямившись, смотрел на жену сверху вниз.

– Это наш мальчик, – сказал он; потом прокричал: – Говорю тебе, это наш мальчик!

Тут он обмяк и мгновенно, хотя и безболезненно из-за мелкости телосложения, рухнул на колени подле ее стула и, уткнувшись головой в подол ее платья, заплакал.

Когда вечером в отдел городских новостей начали приходиться сотрудники, один юный рассыльный заметил около стола репортера опрокинутую корзину для бумаг и поразительное количество зверски исчерканной и порванной бумаги, раскиданной рядом по полу. Рассыльный учился в выпускном классе школы и был, что называется, светлая голова; он был не только честолюбив, но и мечтателен. Он собрал с пола все листы, как целые, так и разорванные, выгреб всё из мусорной корзины и, сев за стол репортера, начал сортировать фрагменты, отбрасывать, сопоставлять и напоследок прибег к помощи клея; затем расширенными от волнения, восторга и, наконец, подлинного триумфа глазами он прочел то, что спас, чему вернул порядок и связность, – фразы, абзацы, являвшие собой, по его убеждению, не только новости, но и начатки литературы:

В четверг Роджер Шуман соревновался с четырьмя

соперниками и победил. В субботу у него был только один соперник. Но соперником этим была сама Смерть, и Роджер Шуман потерпел поражение. И вот сегодня на крыльях рассвета над озером пролетел одинокий самолет и, сделав круг над местом, где Роджер Шуман получил Последнюю Финишную Отмашку, растворился в утренней заре, из которой он явился.

Так попрощались с летчиком двое друзей. Двое друзей, они же двое соперников, с которыми он честно боролся и которых опередил в одиноком небе, откуда он упал, бросили в воду скромный венок, отмечая место, где ныне незримо высится его Последний Пилон.

Здесь текст обрывался, но рассыльный не успокоился.

«Боже мой! – прошептал он. – Может быть, Хагуд разрешит мне окончить!» – уже двигаясь к столу, где теперь сидел Хагуд, чьего появления рассыльный не заметил. Хагуд только-только уселся; рассыльный, уже открыв рот, чуть помедлил у него за спиной. И тут он стал еще большим рабом изумления, чем обычно, потому что на столе у Хагуда, аккуратно придавленная пустой бутылкой из-под виски, лежала еще одна страница желтоватой бумаги, которую Хагуд и рассыльный прочли вместе:

В минувшую полночь поискам тела Роджера Шумана, воздушного гонщика, упавшего в озеро в субботу во второй половине дня, был положен

конец полетом трехместного, с мотором примерно в восемьдесят лошадиных сил, биплана, который ухитрился сделать над водой круг и вернуться, не развалившись на куски, и вдобавок кинуть в озеро венок из цветов, упавший в воду приблизительно в трех четвертях мили от предполагаемого местонахождения тела Шумана, – ведь самолет вели асы бомбометания, которые никак не могли промахнуться мимо озера. Миссис Шуман с мужем и детьми отбыла в Огайо, где, как предполагается, их шестилетний сын неопределенно долго пробудет у деда и бабушки по одной из линий и куда мы покорнейше просим переслать останки Роджера Шумана любого, кому удастся их отыскать.

А ниже свирепым карандашом было приписано:

Полагаю ты этого хотел сука такая а теперь я отправляюсь на Амбуаз-стрит слегка надраться, а ежели ты не знаешь где Амбуаз-стрит спроси своего сынка и он тебе скажет а ежели тебе невдомек что такое надраться езжай и глянь на меня да денегат не забудь прихватить потому что я гуляю в кредит.